

С. Шенбрунн ДЕКАБРЬСКИЕ СНЫ

# Светлана Шенбрунн

ДЕКАБРЬСКИЕ  
СНЫ



*Светлана  
Шенбрунн*

**ДЕКАБРЬСКИЕ  
СНЫ**

*Повесть  
и рассказы*



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1991

ББК 84Р6  
Ш 47

Оформление художника  
Н. Костиной

Ш 4701000000-334 КБ-31-33-1991  
028(01)-91

ISBN 5-280-02374-4

© Светлана Шенбрунн, 1991 г.



# *Рассказы*





---

## БРАТ МОЙ

Я была уже взрослой женщиной и матерью двух детей, когда вдруг превратилась в архара.

Архарами нас прозвали люди. Сами летающие называют себя гранциминами — по имени своего учителя доктора Гранциминиуса. Но какая, собственно, разница — архар так архар...

В Москве была весна. Поздняя весна. Трава зеленела, на деревьях лопнули почки и выпустили наружу малюсенькие листики. Возможно, завтра началось бы лето.

Мы шли через пустырь к метро — я и две поэтессы, одна уже известная, другая начинающая, первая — курсница моего мужа, вторая — жена его друга. Было тепло, пахло землей, и над головой стояли звезды.

— Слушай! — сказала известная поэтесса. — Как ты можешь ходить на таких огромных каблуках? Я бы падала на каждом шагу.

— Я с тринадцати лет хожу на таких каблуках, — скромно, но с чувством своей правоты ответила начинающая.

— Ты могла бы ходить на таких каблуках? — обратилась ко мне за помощью известная поэтесса (начинающая была на восемь лет моложе ее и на шесть лет моложе меня).

Я ничего не ответила.

— Я сегодня заходила в «Юность», — продолжала старшая поэтесса, но тут впереди, метрах в двадцати от нас, вспыхнул прожектор.

Огромная машина загораживала проезд. Мы отступили в сторону. Прожектор метался, свет то проглаживал стену дома, то упирался в небо.

— Ловят архара, — наставительно сказала та поэтесса, что с тринадцати лет не падала на своих высоких каблуках.

Я тоже догадалась, что ловят архара, хоть мне и не случилось прежде видеть, как это делается.

Впервые они появились во Франции. В «Вечерке» под рубрикой «Их нравы» была помещена заметка: один из так называемых западных ученых, человек с весьма сомнительной репутацией и темной биографией, случайно открыл новый вид наркотика, в результате употребления которого сто двадцать семь молодых французов вообразили себя летающими и получили серьезные телесные повреждения. Девять человек покончили с собой, остальные доставлены в больницу. Удалось ли вылечить пострадавших, «Вечерка» не сообщала.

Но этим дело не ограничилось. Прошло месяца три или четыре, и вдруг разные газеты и журналы наперебой стали описывать, как этот безумец, этот шарлатан, доктор так называемый Гранциминиус (имечко-то одно чего стоит — без пол-литра не выговоришь!), не имеющий даже отдаленного представления о медицине, но пользующийся тем, что люди в капиталистическом обществе доведены до отчаянья, берется делать своим пациентам операции на мозге, в результате которых несчастные хотя и приобретают способность передвигаться по воздуху без всяких технических приспособлений (что само по себе заслуживает изучения со стороны специальных наук), но зато совершенно теряют человеческий облик и становятся весьма опасны для общества.

Поползли слухи. «Переодетые китайцы! — зазвенело в очередях и троллейбусах. — Семьсот миллионов! Взлетят все, как саранча, голыми руками передушат...»

Знакомый сослуживца нашего соседа сам лично видел человека, который летел по воздуху и при этом даже руками не взмахивал. «Скоро они нас всех!..» И слово возникло: архары. «Молодой коммунист» выступил со статьей «Новое бремя на плечи трудящихся Америки». «Литературной газете» пришлось прекратить дискуссию на тему: «Перенаселенность — главная проблема современного мира» и авторитетно, в два голоса (доктора экономических наук Б. Бобровского и кандидата демографических наук У. Урбаниса), заявить: архарство нам ни к чему, у нас не тесно. Итак, архары оказались вне закона. Впрочем, я мало о них думала, у меня хватало своих забот.

Грузовик с прожектором продолжал ползти, столб света шарил по сторонам и вдруг выхватил из темноты человеческую фигуру. С машины начали стрелять.

Не знаю, стало мне страшно за того, кто плыл в небе, или за себя, или стыдно за тех, кто стрелял, но только все во мне как-то сжалось, и я увидела себя выше обеих поэтесс. Я глянула вниз, постаралась присесть, пока мои спутницы ничего не заметили, но не тут-то было — земля меня не держала. Поэтессы стояли внизу. Старшая радужно улыбнулась, показав свои ровные белые зубы, и даже подмигнула мне. Младшая смотрела хмуро и придерживала рукой очки.

Я подымалась все выше. Наверно, тому архару, на которого охотились с грузовика, удалось улепетнуть. Столб света снова лихорадочно заметался и поймал в свою струю меня. Стали стрелять. Я лежала в нем, как в ванне, и дрожала от страха. Мне все казалось, что кто-то там, в комнате, подходит к двери, что она вот-вот распахнется и меня обнаружат. Сверху затарахтел вертолет. К счастью, меня прикрывал выступ крыши.

В конце концов, помотавшись по небу, вертолет удалился, и прожектор погас.

Ночь продолжалась. Город перестал шуметь, только где-то далеко свистел паровоз. Я выглянула наружу. Внизу никого не было. Начинался рассвет. Я приподнялась и полетела. Улицы были совершенно пустыми, даже дворники еще не выползли мести тротуары. В одном окне горел свет, я заглянула в него. Не старая еще, но весьма неприятная женщина сидела на письменном столе, перед ней на коленях стоял мой отец и целовал ей ноги. А может, это был и не мой отец, просто кто-то на него похожий... Я поднялась повыше.

Я летела и все боялась, как бы не потерять туфли — мне ведь теперь и ночевать придется на улице, а во сне так легко простудиться. Город кончился, я летела все дальше и дальше и не чувствовала никакой усталости, но вдруг поняла, что мне хочется есть. Ничего не поделаешь, архар не ангел, как всякой живой твари ему нужно питаться. Весь день меня в моем поднебесье преследовали запахи — то жареной картошки, то пшенной каши... Едва дождавшись ночи, я спустилась к человеческому жилью и, покружив немного перед домом, скользнула в открытое окошко. Нужно было проплыть мимо спящих хозяев, попасть в кухню, открыть холодильник, схватить первое, что попадется под руку, и тем же путем вернуться к спасительному окну. В любую секунду дверь за моей спиной могла захлопнуться. К счастью, все обошлось благополучно, и я выбралась наружу с добычей — куском довольно черствого сыра и бутылкой кефира.

Потом я много раз проникала в чужие кухни и однажды действительно едва не попала в беду. Только я открыла холодильник и стала принохиваться, чем бы тут полакомиться, как откуда ни возьмись на меня кинулась старушка в байковом халатике с кухонным ножом в руке. Я взлетела на подоконник, но старуха вцепилась в мой подол и повисла на нем. Я попыталась утащить ее в окно — ничего не вышло. Она так орала: «На помощь! На помощь! Архар!» — как будто это я ее старалась ударить ножом, а не она меня. Нож я у нее отобрала, но в доме уже забегали. Совсем рядом, за дверью, слышались шаги, я взмахнула ножом, старуха шарахнулась и отпустила меня.

Наверно, именно этот случай и дал пищу многочисленным рассказам о кровожадности архаров. Жуткие подробности многократным эхом докатывались до моего слуха.

— Вы слышали, на прошлой неделе убили женщину?

— Какой ужас!

— Да, представьте себе, — какие негодяи! — хотели ограбить квартиру, верно, думали, хозяев никого нет, а она, значит, помешала, позвала на помощь, так они ее зарезали кухонным ножом.

Я сразу догадалась, что речь идет о моей отважной старушке. Но если она и скончалась, то уж точно не от ран, разве что от досады — не удалось ей, бедняжке, меня поймать.

— Говорят, они необычайно сильны физически.

Однажды запах жареной индейки привел меня к распахнутой балконной двери. Индейка стояла на столе, освещенная яркой люстрой. Я пристроилась на балконной оgrade, хотя надежды полакомиться, конечно, не было никакой. За столом сидело шесть человек. Меня они не замечали, поскольку на улице было темно. Они жевали и разговаривали.

— Знаете, я даже боюсь оставаться одна, — сказала полная дама.

— Потому что мы всегда так! — подхватил ее сосед. — Вместо того, чтобы пресечь с самого начала, только языками чешем — гуманно-негуманно, справедливо-несправедливо. И попомните мое слово, получится как со всякими черномазыми — нянчились-нянчились, а теперь вот они нам на голову и сели. А с этими еще хуже будет, увидите!

Я всплыла в распахнутую дверь и сказала им:

— Руки вверх, вы окружены!

Мужчины первыми поторопились исполнить приказание — жир потек с растопыренных пальцев за обшлага; дамы сначала взвизгнули, но потом тоже потянули вверх дрожащие наманикюренные пальчики. Я приблизилась к столу, забрала оставшийся на блюде кусок индейки и не спеша удалилась.

Горожане принялись затягивать окна и балконы стальными сетями и затравленно отсиживались в своих зарешеченных жилищах. А мне принадлежала вся планета, со всеми северными и южными сияниями — для архара не существует границ, и виз ему не требуется, и зимы не страшны — может выбирать себе климат по вкусу, и напрасно люди воображают, что их так уж много, — иногда я по целым неделям не видела никого из них. Впрочем, и дни, и недели тоже смешались, мне незачем было вести им счет. Где-то очень далеко затерялся город, в котором я родилась и прожила все двадцать пять своих земных лет. Я забыла и о нем, и обо всех, кто в нем остался, и даже о своих детях, дорожке которых для меня прежде ничего не было в жизни. Я ни о чем не вспоминала, ни о чем не сожалела. Весь мир принадлежал мне. Я могла лететь куда угодно. Могла часами любоваться закатом или морским прибоем. Мне нравилось слушать шум водопадов, нравилось нырять в огромные океанские волны, а потом сушиться на солнце. Иногда птицы присаживались на меня отдохнуть, и тогда я старалась не шевелиться, чтобы не спугнуть их. Но когда они подымались и уносились прочь, я забывала и о них. Я любила нырнуть под облако и ворваться в ливень — прохладные струи забирались под одежду, словно жаждали моего тепла, словно хотели остудить меня, проникнуть внутрь, под кожу, но я только дразнила их и всегда оставалась горячей, несмотря на их ледяные прикосновения...

Время от времени голод по-прежнему приводил меня к человеческому жилью. Притаившись где-нибудь в укромном местечке, я слушала чужие разговоры и постепенно, как-то незаметно для себя самой, научилась понимать речь турок и греков, англичан и французов, испанцев и арабов и даже японцев. Наверно, это было нетрудно, потому что все они одинаково ненавидели и боялись архаров. Матери пугали детишек: «Вот будешь



не слушаться, прилетит архар и заберет тебя!», а мужчины подбадривали друг друга: «Ничего, переловят голубчиков. Говорят, уже придумали, как их обратно в людей превращать. Так что недолго им осталось...»

Однажды я устроилась на ночлег в ветвях большого дерева и вдруг услышала внизу шепот. Парень и девушка обменивались нежными словами. Он уверял, что никому ее не уступит, а она смеялась. И тут подо мной хрустнула ветка. Парень вскочил, вытащил карманный фонарик и принялся освещать крону дерева. С самого первого дня моего архарства луч электрического света действует мне на нервы. Однако я решила зажмуриться и терпеть — может, они еще не заметят меня. Уж очень мне не хотелось портить этот вечер — и себе, и им. Но парень не успокоился, пока не нащупал меня и не заорал, как сумасшедший:

— Архар!!!

— Ну и что, что архар? — пыталась я образумить его. — Почему ты меня боишься? Разве мы кусаемся?

Но он, видно, ничего не слышал и не соображал, только все вопил, как резаный:

— Архар! Архар!

Девчонка тоже принялась визжать.

Пришлось подняться и улететь.

Однако нельзя сказать, что все люди до единого боялись нас. Были и такие, что не боялись. Как-то раз, пролетая летней прозрачной ночью над большим городом, я увидела не защищенное сеткой окно и очень удивилась. Сначала мне показалось это подозрительным, потом я все-таки решила вернуться и поглядеть. За окном оказалась кухонька, тесная и неприбранная. На столе я обнаружила кастрюлю и в ней на доннышке капельку супу. Я разогрела его и стала есть, но тут порыв ветра захлопнул окно. Путь к отступлению всегда должен быть свободен — я поднялась и распахнула створки. Прислушалась — как будто все тихо. Я хотела уже снова взяться за ложку и вдруг увидела в дверях женщину лет тридцати. Она явно еще не проснулась как следует. Я метнулась к окну, но она махнула рукой и сказала:

— Доедай, чего уж... Все равно я после тебя не стану есть.

Я подумала и вернулась к столу.

— Значит, ты и есть этот самый архар? — спросила она.

— Как видишь,— ответила я.

— Черт его знает, иной раз думаешь, может, и в самом деле вам лучше... Небось, не приходится голову ломать, где трешку одолжить? А тут крутишься-крутишься... Опять же аборт, небось, не делаете. Я так уже одиннадцать штук сделала... Или двенадцать, не помню... Сейчас вот опять надо идти.

Я доела суп и поблагодарила ее.

— На здоровье,— сказала она.— Только больше угощать нечем. Водки хочешь?

Я призналась, что не употребляю. Она покачала головой.

— Что ж это за жизнь, без водки?

Я не нашлась, что ей ответить.

— А насчет мужиков как?

— Никак...

— Да...— Она внимательно посмотрела на меня.— Вам, пожалуй, еще хуже, чем нам. А у меня тут выставка была, пойдем покажу.— И она повела меня в комнату.

Все стены были завешаны картинами. Мне они не понравились — какие-то странные, похожие на огурцы лица с буграми на щеках.

— Одну даже купили,— похвасталась женщина.— Вот вроде этой. Я их быстро рисую. Если бы покупали... А так я бюстгальтеры шью. Хорошо, что хоть шить умею. Это мой сын.— Она указала на картину, висевшую в углу. У сына бугров на щеках не было.— Ужасно талантливый парень, в пятом классе учится, в английском интернате. А я так и не пойму, надо мне рисовать или не надо... Как ты думаешь?

Я ничего не смогла ей посоветовать.

Вторым человеком, который не испугался, увидев меня, был старичок, тоже горожанин. Я проникла в квартиру через открытую балконную дверь и только начала осматриваться, как кто-то вцепился в меня. Я рванулась и выскочила на улицу, но мое пальто осталось в чужих руках. Такое замечательное пальто — легкое, мягкое, пушистое... Такое теплое. И я так к нему привыкла!..

Сокрушаясь по поводу своей потери, я вдруг услышала голос. Человек стоял на балконе и громким шепотом звал меня:

— Пойдите! Подождите! Извините, ради Бога! Извините, я вас напугал...

Я слегка приблизилась.

— Я не хотел, поверьте! — шептал старик. — Я так боялся упустить случай. Столько лет ждал кого-нибудь из вас. Я ведь специально оставляю дверь открытой. Говорят, вы любите забираться в квартиры, вот я и ждал. Может, вы чего-нибудь хотите? Хотите есть? Пожалуйста, заходите. Заходите, я сейчас что-нибудь приготовлю. На скорую руку...

Честно сказать, мне уже как-то расхотелось быть его гостем, но он продолжал прижимать к груди мое пальто, а я жаждала заполучить его обратно.

— Вы не представляете, как я вас ждал. Каждую ночь, честное слово! Скажите, вы можете взять меня с собой?

Я удивилась.

— Если хотите... Конечно...

— А что для этого нужно сделать? — Он весь дрожал от волнения.

— Ничего. Просто подымайтесь вверх.

— Просто так? — Он не поверил мне. — Но как же?.. Я не могу... У меня... не получается... Ради всего святого, помогите мне!

— Я не знаю... Вы попробуйте.

— Разве нет никакого средства? Я согласен, даже если опасно! Пожалуйста, делайте со мной все, что хотите! В газетах писали, что существуют подпольные пункты. Скажите только, где это...

Я ничем не могла ему помочь.

— Вы должны сами. Постарайтесь...

— Но как же?! — воскликнул он в отчаянье. — Разве человек может вдруг ни с того ни с сего взлететь в воздух? Это невозможно! Как же так? Ведь я столько ждал... Неужели ничего нельзя сделать?

Я молчала.

— Я понимаю, — сказал он. — Я должен был догадаться... Конечно, где уж мне! Бесполезно... Ничего никогда не мог, ничего не сделал, ничего не добился... Вы знаете, это какой-то рок — мне никогда ничего не удавалось. Это был мой последний шанс, последняя надежда... Последнее, о чем я мечтал.

Старик заплакал — громко, в голос, не стыдясь моего присутствия и не опасаясь, что его услышат соседи.

Я почувствовала, что мне пора покинуть это место.

— Простите, — сказала я, — мне очень жаль, но я не в состоянии вам помочь. Прощайте...

— Должен был догадаться! — твердил он, рыдая, и вдруг, на секунду утихнув, прибавил нормальным голосом: — Ваше пальто...

Я забрала у него пальто.

— Прилетайте! — закричал он мне вслед. — Прилетайте, по крайней мере! Прошу вас!.. Я буду ждать...

Я, разумеется, не исполнила его просьбы. Архар тем и отличается от человека, что никогда не возвращается туда, где однажды побывал. Разве что случайно...

Время шло, и я стала дичать. Пища, приготовленная людьми, уже не казалась мне такой вкусной. Теперь я предпочитала питаться плодами, которые свободно росли на деревьях. Если мне случалось пролетать над городом, запахи жареного мяса уже не манили меня, а наоборот, вызывали отвращение. Я старалась избегать людей и порой совершенно забывала о том, что они еще живут где-то там внизу. Весь мир принадлежал мне, и я была в нем совсем одна. Ночь мне стала нравиться больше, чем день. Я ложилась на теплый поток воздуха, как на перину, и он нес меня над лесами, над ущельями, над озерами... Я смотрела на огни городов внизу и на звезды в высоте и, случалось, незаметно задремывала. Я понимала, что это не совсем безопасно — можно наткнуться на что-нибудь, скажем, на скалу или на дерево. Но обычно теплый воздух мягко огибает препятствия, да и скорость у него небольшая.

И вот однажды привычка спать на лету чуть не погубила меня. Я летела невысоко над землей, изредка приоткрывая глаза, чтобы глянуть вниз. Местность была ничем не примечательная — пологие холмы, поросшие редким кустарником, а то и вовсе голая равнина. Неожиданно в лицо мне ударил свет. Сбоку что-то защелкало. Сердце у меня упало: ловушка! Светились фотоэлементы, трещали какие-то приборы. Людей я не заметила, но они, безусловно, находились где-то рядом. Я заметалась в поисках выхода. Какое-нибудь окошко, щель! Страшное помещение было закупорено со всех сторон. Вдруг в самом углу под потолком я заметила круглое отверстие, какой-то лаз. Я тут же кинулась туда, мне даже удалось втиснуться целиком, но выхода наружу не было. Я уткнулась во что-то мягкое.

— Марья Степановна, где же он? — защебетал внизу женский голос, показавшийся мне ужасно знакомым.

— Да где же ему быть! — ответил другой голос, постарше и поглубже. — Небось там же, в вентиляторе. Один еще с обеда там сидит. Который день Ваське говорю, чтобы решетку приладил — сорвали черти проклятые, все вырваться норовят! А мы, значит, лазай, как мартышки какие, выковыривай их оттуда. Чтоб они все передохли!.. Давай, Дуся, пускай в пятый сектор усыпляющий. После уж заодно обоих и вытащим...

Я поняла, что мне пришел конец. Даже если не анатомируют в научных целях, так посадят в сумасшедший дом и будут превращать в человека. Нет! Уж лучше умереть, чем попасть им в руки! Я билась изо всех сил и толкала лежащего рядом архара. Газ уже начинал дурманить голову. В отчаянье я уперлась ногами в стену, надавила на преграду плечом, и вдруг — о чудо! — что-то треснуло, и мой товарищ по несчастью пробкой вылетел наружу.

То ли усыпляющий подействовал на него сильнее, то ли от страха он лишился чувств, но теперь он камнем падал на землю. Я рванулась за ним, схватила за одежду, но удержать не могла — как видно, моей подъемной силы не хватало на двоих. Теперь мы падали вместе, правда, не так стремительно. К счастью, у самой земли он пришел в себя. Мы повисли в воздухе, и в следующую секунду он метнулся в сторону. Я не хотела потерять его — ведь он был такой же, как я, мы могли бы подружиться и летать вместе, нас было бы двое...

— Брат мой, остановись, подожди! — кричала я, пытаясь догнать его.

Но он не остановился, даже не обернулся.

То ли он был одиночкой по убеждению, то ли одурел от усыпляющего и принял меня за человека, не знаю. Я не стала преследовать его. Пусть летит... Разве я не привыкла к своему одиночеству?..

Кругом была ночь и тишина. Только яркие звезды в высоте, где-то там, куда архару не подняться...

Я дала себе слово никогда больше не спать на лету, но привычка оказалась сильнее страха — нет-нет да и задремлешь. И однажды, вот так нечаянно забывшись, я попала в тот странный город. Был день. Я открыла глаза, увидела здания и испугалась — вдруг меня уже заметили? Но людей нигде не было видно. К ближайшему зданию вела широкая лестница, но начиналась она

почему-то отвесной стеной и только потом шли ступени. Я никак не могла понять, почему лестницу не довели до земли,— чтобы сделать здание неприступным? Но тогда стена должна была бы опоясывать его кругом... Я коснулась рукой холодного гладкого мрамора. И этот дом, и все остальные были сложены из белого камня, только на одном здании в конце улицы высилась темно-красная башня.

Я двинулась вдоль холма и увидела реку — узкую и неподвижную. Может, это был канал. Вода стояла вровень с берегами, покрытыми свежей травой. Город был так чист, словно кто-то оберегал его от тлена и разрушения. Прозрачные беседки возвышались на другом берегу. Я подумала: «Зачем мне покидать это место? Разве я найду что-нибудь лучше?» В зеленой траве, не дрімятой ничьими ногами, у самой воды лежала серая каменная плита, а на ней была высечена змея. Каменная змея извивалась, пытаясь дотянуться до тонкой каменной руки, почти касавшейся раздвоенного жала.

Я заглянула в одну из беседок. Пол был застелен пушистым узорчатым ковром, на ковре стоял тяжелый стол, а на столе лежали книги в тяжелых переплетах. Одна была открыта. Я повисла над ней и принялась листать страницы. Странные квадратные знаки... Странные книги... Но ведь кто-то писал их и кто-то понимал написанное. Должен же быть хозяин у этого города. Я вернулась к лежащей на берегу плите и разглядела надпись: «Когда ты будешь стоять передо мной, наяда...». Фраза обрывалась, будто на плите не хватило места продолжить ее. «Какая чепуха,» — подумала я, прочла еще раз и вдруг поняла, что надпись сделана теми самыми буквами, которыми когда-то учила меня мама. И тут я увидела ее. Я смотрела на нее снизу, потому что была маленькой девочкой. Она держала меня за руку, мы вместе прошли по залам белого здания и стали спускаться по мраморной лестнице. Но тут ступени оборвались — дальше не было ничего. Мне сделалось страшно, я хотела закричать. «Какой идиот это выдумал!» — сказала мама. Мы обогнули дом и спустились по другой лестнице. Потом мы прошли вдоль всей улицы и возле здания с красной башней спустились к реке. Мама остановилась — стой тут! — а сама зашла в беседку. Я стояла и ждала. Но она не возвращалась. Я заглянула внутрь — беседка была пуста. Я ждала — мое единственное спасение было в том, что она все-таки появится

и снова возьмет меня за руку. Но время шло, и слишком тихо было вокруг. Тогда я опять подумала — как в тот раз, давным-давно, — что она бросила меня и уже не вернется. Но к чему мне это воспоминание? Разве я не покинула все, что было прежде?..

Каменная плита лежала передо мной, неподвижная змея на ее плоскости извивалась, пытаясь дотянуться до тонкой белой руки. «Когда ты будешь стоять передо мной...» Откуда-то налетел ветер, подхватил меня и понес. Я взглянула в последний раз на прекрасный город и закрыла глаза. А когда открыла снова, уже ничего не смогла различить в темноте. Да и было ли что-нибудь? Или просто сон, бред обезумевшего архара?

Тоска овладела мной. Дожди сделались слишком холодными, солнце светило чересчур ярко, самые спелые дыни и бананы казались безвкусными. Единственное, чего мне хотелось, — найти хоть кого-нибудь из себе подобных. Но видно, легче было отыскать иголку в стоге сена...

И все-таки в конце концов я их встретила. Они сидели целой стайкой в ветвях могучего дерева и как дети болтали ногами. Я не решилась сразу приблизиться и сначала смотрела на них издали — до меня долетали их голоса и смех. Наконец я не выдержала и рванулась туда.

— Смотрите, смотрите! — закричали они все сразу. — Еще один гранцимин-самоучка! — И потеснились, чтобы я могла сесть.

Со всех сторон посыпались вопросы — кто я, откуда, давно ли летаю? Как будто я все это помнила или делила свою жизнь на месяцы и годы... Тогда они принялись рассказывать о себе. Оказалось, что я попала к тем самым гранциминам, ученикам доктора Гранциминиуса, о которых так сокрушались когда-то печатные органы. Многие архары прибились к ним позднее, но теперь они тоже гордо именовали себя гранциминами. Я увидела свою бывшую одноклассницу Иру Марьясину. Мы учились вместе всего один год, во втором классе, но она тоже узнала меня. Очень скоро я подружилась с ними со всеми. Тут все любили друг друга, беседовали и смеялись, летали под самыми облаками, нежились в солнечных лучах, пели и были счастливы.

Однажды гранцимины решили устроить праздник — как будто вся наша жизнь не была сплошным праздником! —

нашли в горах заброшенный полуразрушенный храм, освободили просторный зал от накопившейся в нем пыли и грязи, украсили цветами колонны и потолок, а потом принялись наряжаться сами. Тогда и я догадалась взглянуть на себя. Ноги мои были босы, я даже не заметила, где и когда потеряла туфли. Пальто, которым я так дорожила когда-то, свисало лохмотьями. Я скинула ветхие вылинявшие тряпки и сделала себе роскошный наряд из листьев и цветов. Черная девушка с гладкой блестящей кожей помогла мне убрать волосы и, сияя белозубой улыбкой, поманила за собой.

С возвышения в углу свисало шелковое полотнище, на нем был вышит портрет: тонкое лицо, большие глаза, горбатый нос. Когда они успели его вышить? И откуда взялся шелк, нитки?

— Доктор Гранциминиус,— шепнула моя прекрасная подруга.— Он завтра тоже будет здесь.

Ночь прошла в радостном ожидании; чуть свет гранцимины собрались на террасе перед храмом и, едва сверкнул первый солнечный луч, запели. Восторженные звуки дивного гимна потекли по горам. Золотой краешек солнца набухал, делался шире; и вдруг в его лучах засияла фигура летящего архара. Доктор Гранциминиус, как обещал, прибыл на праздник. Голоса поющих зазвучали еще чище, еще нежнее, и было уже непонятно, кому предназначен гимн — восходящему светилу или приближающемуся учителю. Гранциминиус сделал широкий круг над террасой и присоединился к поющим. Сердце мое разрывалось от восторга и счастья — я так любила их всех!.. Горы наполнялись нашими голосами, казалось, звуки рождаются где-то там, вдали, в поднебесье, сами по себе, а мы только вторим звучанию мира... Наконец гимн стих, голоса смолкли, эхо улеглось. Гранцимины шевельнулись и не спеша двинулись в зал, где на широких листьях было разложено угощение: ароматные плоды и сочные стебли. Совсем близко от себя я увидела уже знакомое по портрету лицо — тонкое и вдохновенное. Доктор Гранциминиус. Он, казалось, не замечал никого, взор его был устремлен вдалеку. Я отчего-то смутилась и отодвинулась в сторону. Сияющие взгляды учеников блуждали по залу и то и дело останавливались на учителе. Никто не решался нарушить молчание, все ждали, что скажет он. И вот он заговорил.

— Друзья мои,— сказал он.— Много лет мы наслаждаемся свободой и обществом друг друга.— Голос его был



так же прекрасен, как весь облик. Гранцимины застыли недвижно.— Дети мои,— сказал наставник,— мы почти забыли о тех, что остались там, на земле. Я знаю, что вы скажете — они ненавидят нас, они охотятся на нас, как на диких зверей, они стреляют в нас из автоматов. Все это я знаю...— Голос зазвучал печально и глухо.— И все-таки... Мы не должны их презирать. Мы не вправе их покинуть — если мы поможем им освободиться от страха, они перестанут быть жестокими. Только мы можем указать им путь к счастью. Пусть они станут такими же свободными, как мы, и пусть их жизнь станет такой же разумной, как наша.— Он замолк на секунду.— Гранцимины! Я обращаюсь к вам, дети мои, братья мои! Откажемся на время от своего блаженства, спустимся к ним, к этим несчастным злым людям. Я прошу вас об этом...— Он опустил глаза, ожидая ответа.

— Если ты думаешь, что так нужно,— сказал какой-то парень,— мы пойдем. Ты научил нас летать, и мы пойдем, куда ты скажешь.

— Хоть сейчас,— выдохнули несколько голосов сразу.— Да, да, мы пойдем!

Я молчала. Самая мысль о том, чтобы снова ступить на землю, вызывала у меня ужас и отвращение.

— Почему ты молчишь? — спросил Гранциминиус.

Я подняла голову и увидела, что он обращается ко мне.

— Ты недавно с нами? Я прежде не видел тебя.

Я чувствовала, что должна что-то ответить, но все мои мысли спутались и разбежались под этим настойчивым взглядом. Наконец я все же открыла рот и спросила:

— Ты хочешь всех людей превратить в архаров?

— В гранциминов,— поправил он как бы машинально.— Не всех, конечно. Тех, кто способен понять нас и последовать за нами. Мы должны помочь тем, кто жаждет оторваться от земли, но не знает, как это сделать. Мы обязаны вспомнить о них.— Он говорил уже не мне. Взоры его снова были устремлены вдаль.— Многие люди живут не так, как хотели бы жить. Разве мы были счастливы, пока не поднялись в воздух? И разве сделать другого счастливым не есть высшая радость?

— Но если наше счастье не подходит им? — сказала я, заливаясь жаром от собственной смелости.— Если они не такие, как мы?

Гранцимины неодобрительно зашумели, но учитель продолжал спокойно:

— Каждый человек в глубине своей души стремится к свободе и братству. Нужно только открыть ему глаза. Нужно заставить его понять, какую жалкую и ничтожную жизнь он ведет. Это наш долг — прийти ему на помощь.

Все тут же принялись обсуждать план поголовного обращения людей в гранциминов. Я была уверена, что этого не следует делать, но как я могла остановить их? Мне сделалось грустно и страшно. Я выбралась потихоньку на террасу, уселась на разрушенном парапете и стала глядеть на горы. Шапки снега на вершинах казались отсюда какими-то ненастоящими, будто кто-то нарочно, дурачась, выкрасил их белой краской.

— Что же ты решила? — услышала я за своей спиной приветливый спокойный голос, обернулась и увидела доктора Гранциминиуса. — Не пойдешь с нами?

— Нет, — ответила я, не удержавшись от вздоха.

Он продолжал смотреть на меня, как будто ждал объяснений.

— Я думаю, люди довольны собой и своей жизнью, — сказала я. — Если бы они жаждали перемен, то сумели бы осуществить их и без нашей помощи. И вообще я не собираюсь возвращаться туда.

— Странно... — произнес он задумчиво.

— Что странно?

— Странно, что ты сумела взлететь... Ты слишком эгоистична для гранцимина.

— Для архара, ты хочешь сказать, — поправила я не без удовольствия.

Он усмехнулся.

— Если у людей и есть желания, то чисто земные. И потом, чем будет питаться такое огромное количество летунов? Тебя это не смущает?

— Я надеюсь, мы сумеем решить эту проблему. В свое время. После того, как нам удастся принять решение более важное. — Он не отрываясь смотрел мне в глаза. — Ты понимаешь, о чем я говорю. И я хочу, чтобы ты была с нами.

— Перестань, — сказала я. — Я такой же архар, как и ты. Неужели тебе не стыдно?

— Стыдно? — повторил он, будто с удивлением. — Чего же я должен стыдиться?

— Ты думаешь, я не понимаю, зачем тебе нужно как можно больше людей превратить в архаров? Чтобы в следующий раз тебя приветствовала целая толпа!

— Вот как? — Голос его стал ледяным. — Значит, мною движут низменные побуждения? — он снова усмехнулся и, не пожелав продолжать далее разговор, удалился — величественный и прекрасный.

Глядя ему вслед, я почувствовала некоторое раскаянье — в самом деле, разве я смогла бы оторваться от земли, если бы идеи доктора Гранциминиуса не витали в тот вечер в московском весеннем воздухе?..

Ира Марьясина опустилась рядом со мной, оглянувшись на всякий случай — не смотрит ли кто на нас — и мягко коснулась моей руки.

— Ну что ты, — сказала она. В голосе ее прозвучало страдание. — Ну ведь правда — мы должны помочь им...

Бедняжка! Ей так хотелось, чтобы все было хорошо. Чтобы всем было хорошо — и гранциминам, и людям, и мне, и возлюбленному наставнику. Зачем упрямитесь, нарушать доброе согласие и вносить смуту в наше прекрасное братство?

— Пойдем, — прибавила она ласково и слегка поднялась, призывая меня вернуться в зал. — Ведь ничего плохого от этого не будет...

Мне припомнился старичок, который не спал из ночи в ночь, лелея надежду когда-нибудь взмыть в небеса, я даже услышала его просительный, умоляющий шепот. Может, и в самом деле я веду себя некрасиво?..

Я вздохнула и последовала за Ирой:

Гранцимины готовились к десанту. На землю решено было опускаться маленькими группами, в разных местах. Моим спутником оказался спокойный задумчивый архар. Однако прежде чем предстать перед людьми, нужно было позаботиться об одежде — наряд из цветов и листьев не годился для участия в той операции, которую задумал доктор Гранциминиус. Когда-то я без особенных угрызений совести забиралась в чужие кухни, но сейчас мысль о предстоящей краже была мне неприятна. Наверное, мой спутник чувствовал то же самое.

В конце концов мы все же приглядели маленький пустой дворик — на веревке, протянутой между домом и сараем, сушилось белье. Я нырнула вниз и сдернула

еще влажное платье. Две прищепки подпрыгнули, злобно щелкнули зубами и беспомощно упали на землю. С мужским костюмом было сложнее — пришлось забраться в чью-то спальню. Там же мы прихватили по паре туфель. Кое-как облачившись, мы стали выбирать место для приземления. Нам казалось, что лучше всего сразу же отправиться в большой город — там никому нет дела до других, хоть горшок на голову надень, никто не обратит внимания. А в деревне или в маленьком поселке все друг друга знают, и каждый новый человек невольно вызывает подозрение.

Мы выбрали город покрупнее и поярче, дождались ночи и, взявшись за руки, стали спускаться. Но едва наши ноги коснулись асфальта, нам сделалось так жутко, что мы, не сговариваясь, рванулись вверх.

— Знаешь, — сказал мой товарищ, — давай попробуем вон там, у реки. Там, наверное, будет легче.

Высокая мокрая трава облепила наши ноги. Вцепившись друг в друга, мы сделали первые шаги. Не шаги, а какие-то нелепые прыжки, будто мы ступали не по земле, а по пружинному матрацу.

— Хорошо бы башмаки со свинцовой подметкой, — вздохнул мой спутник.

Я подумала, что хорошо бы просто подняться в небо и не мучить себя. Но теперь уже поздно было отступать. До самого рассвета мы учились ходить. Все тело ломило, голова разболелась. Я чувствовала, что все равно никогда не смогу шагать по-человечески, скорей уж разучусь летать.

— Давай отдохнем, — предложила я, падая на траву.

Когда мы проснулись, солнце уже клонилось к горизонту. Земля вокруг просохла и дышала теплом. Мой товарищ сел и огляделся по сторонам.

— Как это место напоминает то... — сказал он.

— Какое — то?

— То, откуда я взлетел... Там тоже была река и лес на другом берегу.

— Ты жил в деревне?

Я спрашивала, лишь бы протянуть время и не вставать.

— Нет, в городе. У меня была хорошенькая жена, ну, и как всякая молодая хорошенькая женщина, она любила одеваться, а зарабатывать я не особенно... Стал брать

лишнюю работу, чтобы она могла что-нибудь купить себе, возвращался обычно поздно... Ну и вот... Иду однажды с работы — мимо кафе проходил, случайно глянул в окно и вижу — она. Танцует с каким-то парнем. Большое такое окно, а занавесочка нейлоновая, прозрачная, все видно. Я их вижу, а они на меня даже внимания не обращают... В общем, банальная история, конечно... Но я тогда почувствовал — не могу идти домой... Сел на какой-то автобус или троллейбус, не помню, потом на электричке ехал... Утром очнулся — вот так же — река, лес... И как-то мне все безразлично сделалось. Ничего не хочется... — Он помолчал, потом сказал: — Интересно, зачем это я вдруг рассказываю тебе про это? В самом деле, что ли, в человека превращаюсь? — Он засмеялся и покачал головой. — Нет, просто место похожее...

Какой-то мужчина с удочками подошел к реке и уселся на берегу неподалеку от нас.

— Ну что, давай попробуем? — предложила я. — По крайней мере, посмотрим, какое впечатление мы на него произведем.

Мы поднялись и кое-как доковыляли до рыболова. Он глядел только на свои удочки, не удостоивая нас ни малейшим вниманием.

— Здравствуйте, — сказал мой товарищ.

Мужчина чуть приподнял голову, но ничего не ответил.

— Клюет? — спросила я.

— Да я только сел, — пробурчал он недовольно.

Мы еще немного постояли за его спиной, обменялись несколькими многозначительными взглядами и жестами, но так и не придумали, как сагитировать этого человека превратиться в гранцимина. Пришлось оставить его в покое — хотя бы на время. Между тем начало темнеть. Тут мы вспомнили, что со вчерашнего дня ничего не ели.

— Может, пока что полетаем немного? — произнесла я несколько смущенно. — Заодно раздобудем что-нибудь съестное...

— Нет. — Мой сообщник помотал головой. — Так у нас никогда ничего не выйдет. Надо с чего-то начать... Пойдем к тому дому. Поглядим, что там творится.

Мы подошли к какой-то развалюхе, постучали в дверь и попросились переночевать. Хозяйкой оказалась одинокая старуха. Мы рассказали ей сложную историю об украденных билетах и потерянных деньгах. Я не

сомневалась, что она тут же выгонит нас вон, но она почему-то сжалась над нами и даже накормила.

— Уж что Бог послал, не обессудьте,— сказала добрая старушка.— Неоткуда мне взять. Что добуду, то и кушаю.

— Да...— протянула я 'многозначительно.— Теперь всем нелегко.

— Не знаю, кому как, а мне нелегко, это верно.— Старуха стояла у стола, сложив тощие руки на животе, и смотрела, как мы уминаем ее скудные припасы.— Все свою доченьку благодарю... Бросила мать, да еще опозорила вдобавок. Соседи никто не здороваются, шарахаются, как от заразной. Все ей спасибо...

— А что такое? — спросила я.

Старуха охотно принялась рассказывать.

— В самое воскресенье дело было. Гулянье у нас тут устроили, из города сколько машин понаехало,— так она что? — взяла и полетела! При всем-то народе... Мать ей всю жизнь отдала, все здоровье на нее положила, так она вот как отблагодарила.— Старуха принялась промокать глаза передником.— Правильно люди говорят, лучше бы в люльке ее, поганую, удавила...

— А если вам тоже?... — начала я осторожно.

— Что — тоже? — не поняла старуха.

— Ну, тоже полететь... Вы ведь сами говорите, что нету у вас тут никого,— добавила я поспешно, заметив, как наша хозяйка переменилась в лице.

— Ну нет уж! — отрезала старуха сурово.— Это вы нынче все себе позволяете, а мы нет, мы от вас — небо и земля. Вот уж приберет меня Господь, тогда и налетаюсь, сколько мне положено.

Утром мы вышли из домика и увидели на берегу того же самого человека.

— Клюет? — спросила я.

— Только сел,— пробурчал рыбак неприветливо.

— А вчера много наловили?

— Вчера-то? — Он оживился.— Семь штук! Одна вот такая была, щучка!

— И как, вкусная?

— Что вы! — Мужчина засмеялся.— Она же вся воющая. У нас ее даже кошки не едят. Я их после обратно в реку выкидываю.

— Надо идти в город,— сказал мой товарищ угрюмо.

Не знаю, как мы дотащились до города. Я чувствовала себя совершенно больной и разбитой, ноги у меня распухли, по коже словно муравьи бегали, во рту пересохло. Мы шли по тротуару, нас беспрерывно толкали то справа, то слева, я боялась, что упаду или закричу от ужаса. Потом мы вышли в сквер и в полном изнеможении уселись на лавочку. Рядом сидела какая-то женщина. Мой спутник попытался заговорить с ней, она бросила на нас подозрительный взгляд, поднялась и пересела на другое место.

— Мы все не так делаем,— сказал мой друг.— Наверно, у нас просто нет таланта. Гранциминиус нашел бы к ним подход...

Мы немного отдохнули и пошли дальше — непонятно куда и неизвестно зачем.

— Что же нам все-таки теперь делать? — произнес мой товарищ задумчиво, когда мы остановились на перекрестке.

Мимо мчались машины, потом вспыхнул зеленый свет, машины встали, продолжая реветь моторами, и тотчас с тротуаров на мостовую хлынули люди. Мы замешкались, кто-то толкнул нас в спину, мой товарищ подлетел и на секунду повис в воздухе. Он поднялся не больше, чем на метр, но вместо того, чтобы лететь прочь с этого места, да побыстрее, взял и опустился обратно. В то же мгновение на него накинулись со всех сторон. Люди с остервенением отпихивали друг друга, чтобы ворваться в центр этого страшного клубка.

— Пустите! — кричала я. — Пустите! Что он вам сделал?! Не смейте!..

Никто не слышал меня. Толпа ревела, люди лезли друг на друга. В отчаянье я взмыла вверх и повисла над ними.

— Еще один! — закричал кто-то.

— Еще один! — взвыли остальные. — Ловите! Ловите его!..

Последнее, что я увидела, подымаясь ввысь, была кровь. Красная кровь архара...

Мне никогда больше не попадался ни полуразрушенный храм в горах, ни ученики доктора Гранциминиуса, ни он сам.

Я вернулась к своей прежней жизни — лечу, куда захочется, играю с водопадами, люблюсь закатами и рас-

светами. Подо мной проплывает земля, надо мной светят звезды... Говорят, люди уже научились летать на Луну и скоро отправятся на Марс. Нам, архарам, никогда не видать чужих миров — мы слишком привязаны к своей Земле. К ее воздуху и теплу. Впрочем, мы и не тоскуем по другим мирам, с нас достаточно нашего солнца, наших морей, наших пустынь... Иногда — редко — я встречаю такого же, как я, архара-одиночку. Мы проводим вместе несколько часов или дней, лакомимся плодами, нежیمся под ласковым ветерком... Потом мы прощаемся. И никогда не назначаем новых встреч...

1965



## АНЯ

— Поживите пока,— сказала женщина в райсовете.— Все равно эти дома скоро пойдут на снос, получите отдельную квартиру.

Я взяла смотровой ордер и поехала по адресу. Улица шла вдоль железной дороги. По одной стороне, за низенькими заборчиками палисадников, стояли дома, по другой тянулась высокая крутая насыпь, и, пока я искала нужный номер, колеса бесконечного товарного состава грохотали у меня над головой. Дом оказался двухэтажный, деревянный, почерневший и покосившийся, с двумя крыльчками. Я поднялась на одно крыльцо, постучала, подождала, но никто не вышел. Тогда я перешла на другое крыльцо и снова принялась колотить в дверь, но и тут не было слышно никакого движения. Я уже подумала с досадой, что попусту тащилась в такую даль, как внутри в доме что-то заскрипело, застонало, и старичок в валенках с отогнутыми голенищами впустил меня сначала в сени, потом в кухню — светлую, холодную, похожую на застекленную террасу. Я увидела печку, в углу, за печкой, железную кровать, застеленную какой-то тряпичей, водопроводный кран над маленькой круглой раковиной, газовую плиту и рядом баллон; на покрытой клеенкой узкой больничной тумбочке несколько эмалированных мисок, под раковиной ведро. Из кухни мы попали в полутемное помещение со множеством дверей и единственным узким окошком. Почти от самого окошка начиналась лестница, длинная, одним пролетом ведущая на второй этаж. Под лестницей был втиснут громадный буфет, у противоположной стены, между двумя дверьми, поместился диван, обитый черной кожей, и перед ним обеденный стол на четырех крепких ногах. Старик не торопился,

давая мне время осмотреться. Потом он отворил дверь в углу под лестницей, и мы очутились в других сенях, из которых наверх шла еще одна лестница. В крохотное квадратное оконце проникал свет с улицы. На полу, у стены, стояли две кадушки, может, с капустой, а может, пустые.

— Если пожелаешь, можно эту дверь открыть,— сказал старик,— прямо с улицы и попадешь. Ключи-то есть.— Действительно, на гвозде, вбитом в косяк наружной двери, висела связка крупных проржавевших ключей.— Только на кухню-то и так через залу ходить.

Мы стали подниматься по лестнице. Ступеньки прогибались под ногами, пищали и мяукали. Старик толкнул дверь, и моим глазам предстала комната. Сначала мне показалось, что стены покрыты плесенью, но потом я поняла, что это иней. Запах старого дерева и пыли смешивался с сырым запахом мороза. По правую руку стоял крашенный коричневой краской гардероб и за ним полуторная железная кровать, заваленная каким-то барахлом, по левую — комод, над ним точно градом побитое, все в черных оспинах, зеркало, в углу этажерка, задернутая пожелтевшей кружевной занавеской, под окном маленький шаткий столик и три стула разной высоты. Кажется, я тоскливо вздохнула. Старик поспешил успокоить:

— Ты, дочка, не смотри, что холод. Тут, если натопить, хорошо!

— Сейчас, наверно, и дров нигде не купишь...

— А зачем дрова-то? У нас уголек есть. При железной дороге живем. Я как-никак сорок семь лет на дороге отработал. Только в прошлый год на пенсию вышел. Сколько надо, бери, не бойся. Хоть весь день топи. Еще увидишь — жарко будет. Помещение хорошее, места много,— принялся он нахваливать, словно ему позарез нужен был в доме чужой человек.

— А кто тут раньше жил? — спросила я.

— Здесь-то? Клавка в этой комнате жила. А теперь — что ж? — вниз перебралась, в материну. В том году мать похоронили. Да уж ей восемьдесят стукнуло, матери-то. Пожила уже...

— А вещи... — начала я.

— Вещей много! — обрадовался старик. — Людей, вишь, вовсе не осталось — я да Клавка, а вещи все тут. Чего надо, бери, пользуйся. Если, конечно, пожелаешь,— прибавил он, догадавшись о моем замешательстве. — А

если не требуются, мы с Клавкой вытащим. Вон, в сарай снесем, да и ладно. Как скажешь. А может, и пригодится чего — гляди, как пожелаешь...

Я стала спускаться вниз, старик шел следом и продолжал объяснять:

— Клавка говорит: буду в материной комнате жить, тяжело, говорит, наверх лазать. Ноги у ней болят. А я ничего — пока не чувствую. На восемь лет ее старше, а ничего. Я с этой лестницы хожу, — сказал он, когда мы снова очутились в «зале», и кивнул на лестницу. — А комната с тобой по соседству, только дверь заделали. Раньше была дверь, а после заделали.

Я направилась к выходу.

— Ну так как, ждать или как? — спросил он тревожно.

Я пожала плечами.

— Не знаю даже...

— Четвертый человек приходит, все смотрят, а ехать никто не желает, — пожаловался старик.

— Ну, вам же спокойней.

— Уж куда спокойней... А ты погляди, сад у нас, — снова оживился он и потянул меня к окошку. — Сейчас-то, конечно, снег один кругом, а летом хорошо! Анька раньше за ним ухаживала, за садом-то, клубнику разводила. Клавка, она ленивая, запустила. Все лежит да лежит, книжку читает. Мать, бывало, ругается, а ей все равно. Так если придешь, я топить стану, чтобы прогрелось...

Я ничего ему не ответила, но решила, что ни за что не поеду. Уж лучше платить 30 рублей за комнату в более приличном месте.

Знакомые все-таки уговорили меня ехать.

— Годик помучаешься, а там снесут всю эту рухлядь — получишь квартиру.

Я оставила в комнате все, как было, только сняла со стены зеркало, да вынесла в залу стулья. Николай Харитонович (так звали старика) не обманул и натопил так жарко, что хоть окно открывай. Всю первую ночь я не могла заснуть из-за грохота проползавших по насыпи железнодорожных составов. Утром, чтобы умыться, пришлось бежать на холодную кухню. Над раковиной висела картинка. Кто-то нарисовал акварельными красками далекий голубоватый лес, а перед ним три громадные трубы, из которых по всему небу расплзался дым — из одной почти черный, а из двух других молочно-серый.

Я вскипятила чайник, зажарила яичницу и собиралась тащить сковородку к себе в комнату, но Клавдия увидела и возмутилась:

— Что это ты взад-вперед носишься? Здесь, что ли, места мало? Давай, садись с нами!

Я послушалась, и мы уселись за стол втроем.

Утром мы вместе завтракали, а по вечерам пили чай. Харитоныч заводил разговоры — о погоде, о хозяйстве. Клавдия молчала и вроде бы даже не слушала, что он там себе болтает. Иногда только замечала:

— Ешь ты лучше...

Потом мы расходились — каждый в свой угол. Дом и по ночам продолжал кряхтеть и постанывать. Казалось, будто кто-то бродит по комнатам и по чердаку. Вначале я думала, что это Харитоныч бодрствует за стенкой, но потом догадалась, что дряхлые доски и балки сами по себе отзываются на перестук колес. Я уже привыкла к этому стуку, к свисткам паровозов и, если и просыпалась от них, не злилась, а только думала: как странно, что кто-то не спит в такую глухую морозную ночь, а ведет куда-то какие-то поезда. Становилось жалко этого человека и сладко оттого, что у меня в комнате так тепло и спокойно. Брат моей бабушки тоже был машинистом, значит, и он по ночам водил составы, а ночи тогда были еще холоднее и глуше... Однажды, еще до моего рождения, он напился пьяный и попал под маневровый паровоз.

В доме на всех стенах висели картинки — и в кухне, и в зале, и на лестнице, и в моей комнате. Все они были взяты под стекло и аккуратно оклеены бумагой. Чем больше я их разглядывала, тем больше они мне нравились. Ничего особенного в них не было: кусок серого забора и еще более серый, корявый ствол старой яблони; крыша и торчащая над ней березка — листьев нет, зима; и снова та же крыша и просвечивающее сквозь облако узкое, вытянувшееся столбиком солнце. Я не сразу догадалась, что крыша — это крыша соседнего дома, а яблоня — та самая, что растет в углу нашего сада. Только лес и трубы, что висели в кухне над раковиной, были нездешние.

Особенно мне нравилась «Весна» (это я ее так назвала, ни на самих рисунках, ни на обороте мне не удалось найти никаких надписей). На картинке была нарисована дорога, снег уже серый, разбитый колесами, колеи наполнены чистой талой водой, но сугробы по сторонам еще высокие, белые. Солнца нет, все тихо и так грустно, будто это самая последняя весна.

Кроме рисунков, в доме была еще одна вещь, которая меня заинтересовала. В зале под лестницей, рядом с буфетом, стояли часы — старинные, в большом футляре из хорошего дерева. Часы молчали. Однажды, оставшись одна, я подошла и открыла дверцу. Под неподвижным маятником теснились какие-то пузырьки, давно пустые, валялись пожелтевшие, покрытые слоем пыли бумажки и лоскутки — один лоскут был шерстяной, клетчатый, побольше остальных. Я подумала, что, верно, не будет убытка, если выкинуть весь этот мусор, но тут в зале появился Николай Харитонович и неторопливо уселся на стул.

— Часы глядишь? Не ходят они, сломанные.

— А вдруг пойдут? Бывает, отдохнут и пойдут. — Я подтянула гирю и тронула маятник.

— Не пойдут, — сказал старик. — Как Анька умерла, в тот день они и встали.

— Может, отдать их в починку? Хорошие часы.

— Не починят! Раз уж встали — все. Прямо в тот самый день в аккурат и встали.

Я вспомнила, что Анька любила сад и разводила клубнику. Маятник между тем качался — так, так! — и чуть поблескивали три красных стеклышка, вправленные в диск.

— Видите, пошли, — сказала я Харитонычу.

— Встанут. Ни грамма они не пойдут — встанут, — ответил он убежденно.

Я взяла стул и тоже села. Маятник качался.

— Я эти часы знаю, — сказал Харитоныч. — Всю жизнь с ними. Я когда на Аньке женился, мне девятнадцать годов было. Вот дурак-то!.. Я, конечно, больше женился, чтобы из общежития уйти, — не нравилось мне это общежитие. А кому, к примеру, оно понравится? Грязь одна, мужики пьют, драка. Но сюда попал — тоже... — Он хмыкнул и покачал головой. — У Аньки-то четыре брата — старший Славка, после Витька, мне ровесник, после Колька — я Колька и он Колька! После Мишка, ему четырнадцать годов всего было, но крупный

парень, рослый. Куда мы, туда и он. И чего только ни делали — и водку пили, и по девкам ходили, и по чужим огородам лазали... Нас тут вся улица боялась — ей-Богу, дочка, как выйдем — пять человек! И навсегда вместе, будто они мои братья, а не Анькины. Смех... А про Аньку я и не думал вовсе. Чего мне было-то — девятнадцать лет. Дурачок...

Маятник перестал тикать, еще с минуту покачался бесшумно и замер.

— Говорил — остановятся! — обрадовался Харитоныч. — Нет, не будут они ходить...

Клава вышла из своей комнаты и стала надевать пальто. Харитоныч заерзал на стуле, шмыгнул носом.

— Клаша, ты в магазин? Ты мне папирос купи...

— Папирос... — проворчала Клавдия. — И так, смотри, кашель совсем забил...

— Прямо уж, кашель, — возразил Харитоныч. — Вот врачи, к примеру, говорят: вредно курить. А кто проверит? Допустим, ты мне скажи: вот ты, к примеру, Петров, станешь курить — семьдесят лет проживешь, а не станешь — семьдесят пять. И чтоб я после проверить мог!

Клава посмотрела на него, как на дурного, и вздохнула.

— Ну ладно, пусть хоть другие, как помру, узнают: вот правда, курил человек и своего не дожил. А может, я в самый срок и скovyрнусь, как мне положено, а? Как проверишь? Никак невозможно проверить!

Клавдия взяла сумку и вышла. Харитоныч мотнул ей вслед головой и проговорил восхищенно:

— Клавка!.. — Поерзал на стуле и добавил: — Старая, глядеть не на что... А как я ее, дочка, любил — сказать невозможно!.. Сперва-то, конечно, я на нее не глядел, ей одиннадцать годов всего было, как я на Аньке женился. А после, как стало ей шестнадцать-семнадцать, — будто с ума сошел. Полюбил, хоть умри. И гулять забыл, и ребят забыл, приду с работы и на нее гляжу. Веришь, восемь лет как тень ходил. И так, и эдак к ней, и по-хорошему, и по-плохому — молчит! Сделаю, говорю, что-нибудь с собой. Молчит. Нет, думаю, вперед подкараулю ее где-нибудь. Точно, так и думал, пускай, думаю, после хоть засудят, хоть что...

— А жена?

— Анька-то?

— Не выгнала?

— А чего ей...— Харитоныч махнул рукой и усмехнулся.— А тут как раз и война началась. Всех нас пятерых забрали, а вернулся, видишь, я один. Ушли пятеро, а воротился, значит, один... Я только чего боялся — чтобы без меня замуж не вышла.

— А если бы вышла?

— Убил бы. Точно. И мужика убил бы, и ее. Не веришь? Не смейся, дочка, это я на вид веселый, а вообще-то я злой. Ну, однако, вернулся, вижу, все по-старому: отец с матерью, Анька да Клавка, так и живут. После отец в сорок седьмом скончался, остался я с бабами. А после и Анька померла. И часы эти в тот день встали... Видишь, не курила, а раньше меня ушла.

Харитоныч принялся кашлять, я попыталась снова запустить часы, они опять потикали и опять встали. Даже скорей, чем в первый раз.

Ночью, лежа на старой провисшей кровати, я слушала кашель за стенкой и представляла, как раньше тут спала Клавка.

Потом наступила весна — точно такая, как на картинке: солнца не было, но воздух вдруг стал прозрачным, неподвижным и светлым.

Я вышла на крыльцо, остановилась и долго смотрела. По сторонам дороги еще стояли пушистые белые сугробы, но колеи, выбитые в снегу грузовиками, уже наполнились талой водой. Размякший снег лежал в прозрачной стылой воде. Было так тихо и неподвижно кругом, ничто и не думало гудеть, сверкать, звенеть. Скорее наоборот, все тут хотело застыть — и навсегда. Как на рисунке, что висел у меня в комнате.

Я уже догадывалась, кто нарисовал эти сугробы и холодную чистую воду, но однажды все-таки спросила Харитоныча:

— Кто это у вас рисовал?

— Это-то? — повторил он. — Анька... Она любила...

— А почему все такое голое — снег да снег?

— Чего, дочка?

— Почему везде зима?

— Так она зимой и рисовала. А летом ей некогда было — чуть рассветет, бывало, глядишь — уже в саду. Клубника, она много работы требует. А Клавдия совсем запустила. Теперь не то что на продажу, самим-то поесть нечего. Ленивая она, Клавка...

Мне вдруг тоже захотелось вставать на рассвете, пропалывать грядки, трогать и холить каждый кустик, а потом собирать крупные красные ягоды.

Едва сошел снег, я принялась за дело — разыскала в сарае грабли, лопаты, расчистила грядки, сгребла в кучу и сожгла прошлогодние листья. В глубине сада оказалась старая кирпичная кладка, будто дом сперва хотели ставить здесь, а потом передумали, и остался ненужный фундамент. Заметив, что я тружусь, Харитоныч выходил, усаживался на кирпичи и принимался рушить мои надежды:

— Зазря, дочка, без толку работаешь! — объявлял он решительно. — Клубнику, ее каждые три года пересаживать надо, а эта старая, как после Аньки осталась, так никто и не трогал. С нее ягод не будет. Ежели вот теперь осенью пересадить, так через год жди тогда урожай. Только по всему видать, снесут нас нынешний год, — заявлял он бодро и затягивался папироской. — Хватит, пожили...

Клава тоже почти каждый день появлялась в саду, смотрела на расчищенные зелененькие грядки и расспрашивала меня — откуда я? А где мои родители? А чего не замужем? Услышав ответ, она надолго задумывалась, а потом говорила:

— Цветы бы тут насадить...

Однажды к забору подползла соседка, похожая на старую жирную утку, обутую в белые шерстяные носки и мужские полуботинки. Она радостно закивала мне тяжелой головой и заговорила участливо:

— Все работаете, все работаете, я гляжу. Вам бы, вроде, чего стараться — все равно чужое, а смотреть жалко, верно? Мне-то и то жалко — до чего запущено. Анна Федоровна, бедная, бывало, день-деньской спину гнула, а у этих все прахом пошло! Что ж... Что с них взять, одно слово: бесстыжие. Как вы с ними живете-то! Говорят, жена еще жива была, а они уже это... — Тут она запнулась, наверно, никакое приличное слово не приходило на ум. — Между собой... снюхались, значит. Теперь уж, небось, и не таятся, в одной комнате, небось, живут?

Нет, в разных, — ответила я спокойно. — Клава внизу, а Николай Харитонович со мной рядом.

«Со мной рядом» озадачило ее, но она все же нашлась:

— Вас, значит, стесняются. — И быстро закивала своей желтой головой.



Лето оказалось жарким, будто кто подтапливал его даровым угольком. Клубника поспела, но, как и предсказывал Харитоныч, ее было мало. Я собирала урожай в эмалированную миску и несла к столу. Харитоныч брал одну ягоду, долго смаковал ее, точно впервые в жизни пробовал клубнику, и наконец говорил:

— Ишь ты — ничего!..

Но от второй всегда отказывался. Клавдия степенно — вроде бы из вежливости — съедала несколько ягод и хвалила:

— Вкусные... Прямо как у Ани.

По вечерам я поливала сад. Соседки со всего переулка собирались на углу и толковали о том, как нынче жарко. Клава тоже иногда выходила и останавливалась с ними.

Однажды, когда я уже кончила поливать и уселась на теплые кирпичи отдохнуть, из-за ворот выскочил Харитоныч, замахал руками и заорал через забор:

— К тебе!

Я удивилась — кто ж это может быть? Все женщины повернулись в одну сторону и с любопытством разглядывали мужчину в дорогом сером костюме. Он пополнил, но был все такой же красивый. Я обрадовалась, что он не забыл меня, и побежала ему навстречу. Мы пошли рядышком, я подняла к нему голову и подставила губы, он поцеловал, но как-то скованно, будто что-то его смущало. Может, глазевшее на нас общество? А может, мой вид — босые ноги и старенький ситцевый сарафан? Мы поднялись на крыльцо, вошли в кухню, затем в залу. Я видела, что лицо моего спутника вытягивается все больше. Лестница заныла и затрещала всеми своими досочками, как только мы на нее ступили. «Надо бы хоть дорожку здесь постелить,» — подумала я стыдливо, хотя, конечно, никакая дорожка не спасла бы. Мы вошли в комнату, и тут оказалось, что даже сесть не на что — прежние стулья я вынесла в залу, а новыми не обзавелась. Гость боязливо опустил на край кровати, которая тут же просела под ним чуть ли не до полу. Сама я уселась с ногами на узенький подоконник и уперлась босыми подошвами в серую растрескавшуюся раму.

— Да-а... — сказал мой знакомый. — Ничего себе домик. Честно говоря, я представлял это несколько иначе. Как же ты тут живешь?

— Живем помаленьку, — ответила я как можно беспечней.

В это время в комнату заглянула Клава.

— Пойдемте чай пить,— сказала она приветливо.

— Нет, спасибо, спасибо,— принялся торопливо отнекиваться гость.

— Харитоныч ждет,— добавила Клава.

— Спасибо, я недавно обедал.

— А теперь уж вечер,— напонила Клава.

На этот раз он промолчал. Клава постояла и вышла.

— Она что, всегда входит без стука? — спросил он.

— Она у себя дома.

— Н-да... Надеюсь, это все скоро снесут?

Я пожала плечами.

— Ну а вообще, какие новости?

— Никаких.

— Пишешь что-нибудь?

Я протянула ему несколько листков со стихами. Он прочитал одно, глянул на второе и молча отложил в сторону. Тут снова вошла Клавдия и, пригладив на заднюю юбку, уселась на кровати. Мой приятель встал и отошел на середину комнаты. Решив, что он разглядывает рисунки, Клава сказала:

— Это наша Аня рисовала.

Он обвел рисунки равнодушным, кислым взглядом — нет, видно, не нравились ему ни наши стихи, ни наши картины. Мне тоже стало скучно, и я отвернулась к окошку. Он подошел к этажерке, вытащил томик Толстого и принялся зачитывать вслух отдельные фразы:

— «На другой день он проснулся поздно... *La femme est la compagne de l'homme...*» — Тут гость вдруг развеселился, даже засмеялся. — Женщина — друг человека. Оказывается, это было известно уже во времена классика!

Я спрыгнула с подоконника, подошла к двери и позвала:

— Клава...

Он продолжал глядеть в книгу, очевидно, воображая, что я таким образом выпроваживаю Клавдию. Но я взяла ее за руку и вместе с ней спустилась по лестнице. Потом мы прошли через залу и оказались на крыльце.

— Бежим? — предложила я.

И мы, держась за руки и хихикая, помчались через пыльную улицу, как будто нам обоим было по одиннадцать лет. Обогнули кучу угля и по теплой деревянной лесенке взобрались на насыпь. И тут я увидела три трубы, застилавшие небо серым дымом. Заходящее сол-

нце подсвечивало и золотило его, а на горизонте синей полоской лежал лес. Из проходной выходили рабочие и длинной цепочкой тянулись к платформе электрички. Один был в красной рубахе, и я долго следила за ним взглядом. Мне вдруг захотелось тоже оказаться среди этих людей, идти вместе с ними через зеленую ложбину, подняться на платформу и сесть в поезд. А потом из окна вагона взглянуть на наш дом и сад.

Просто взглянуть мельком из окна...

1973

---

## УТРО

Дом покачнулся и хрустнул, как зуб в щипцах. Распахнулась дверь, из окон брызнули осколки стекол, стены сдвинулись с мест, все вещи заездили, заплясали, и жуткий гул, рев, грохот ворвались в квартиру.

«Атомная бомба!» Так долго — всю жизнь — мы ждали этого, что я не удивилась, не испугалась, не закричала, только замерла — вот сейчас, все, конец... Постепенно я сообразила, что если уж не убило сразу, значит, жизнь продолжается. Мы получили отсрочку, может, недолгую, но все же... Я перевела дыхание и поднялась с полу — из постели меня вышвырнуло первым толчком. За окном было темно — ни ложного солнца, ни зловещего гриба. Небо прошила молния, другая, третья — они засверкали, задержались со всех сторон. Дом вздрагивал — мелко и часто. Я кинулась к двери и налетела на Елизавету Николаевну. В коридоре было темно, но я догадалась, что это она. Держась друг за дружку, мы пробрались в прихожую, наткнулись здесь на кого-то еще и всей кучей вывалились на лестницу. Молнии снаружи слились в сплошное сверкание. Мне показалось, что дом стал как-то ниже. Я пригляделась и увидела воду — ни первого, ни второго этажа не было, тяжелые тягучие волны бились в окна третьего этажа. Мы стояли и смотрели. Дом больше не был домом, он превратился в скалу, вздымающуюся из морской пучины. Кто-то крикнул мне в ухо:

— Наводнение!

Мы стояли и не верили своим глазам. Вдруг я вспомнила о нижних жильцах — а что же с ними? Мы так долго жили в этом доме все вместе... Я стала спускаться по лестнице. Кто-то шел впереди меня. Ни одна лампочка не горела. Дойдя до четвертого этажа, я остановилась.

Дом наполнялся водой. Она захватывала ступеньку за ступенькой, и в окна, лишившиеся стекол, с каждой волной вливались широкие потоки. Молнии освещали темную пучившуюся воду и бледные фигуры промокших людей. В мерцающем голубоватом свете они казались обледеневшими.

Открылась дверь девятой квартиры, и на площадку выбралась тетя Вера. Она поддерживала Антонину Михайловну. Бредя по колено в воде, они уже приближались к лестнице, когда ворвавшийся в окно поток хлестнул их по ногам и повалил обеих. Кто-то бросился им на помощь, я тоже оказалась в воде. Мы успели подхватить их и подтащить к перилам, прежде чем обрушилась новая волна.

По телу стекали холодные струйки. Вода подымалась, приходилось отступать все выше и выше.

Я вернулась к себе. В квартире собралось человек сорок — те, что успели выбраться с третьего этажа, и те, что жили на четвертом и пятом. Со второго не было никого.

Тетю Веру с Антониной Михайловной я затащила к себе в комнату и усадила на постель. Антонина Михайловна дрожала и плакала. Мы укутали ее одеялом, тетя Вера что-то говорила, я видела, как шевелятся ее губы, но ни слова не слышала и даже не пыталась разобрать. Я оставила их сидеть на тахте, а сама подошла к окну. Внизу не было ни улицы, ни деревьев, ни арки ворот. Дом напротив начинался сразу с четвертого этажа. В окнах не осталось стекол, и от этого здание казалось пустым, необитаемым — то ли разрушенным, то ли недостроенным. При вспышке молнии я заметила, что там тоже кто-то стоит у окна и смотрит в нашу сторону. Между нами лежала вода. Я чувствовала, как ее плотная масса давит на дом и раскачивает его.

В пустую раму врывался ветер. Я отошла от окна, сбросила мокрую пижаму, порылась в шкафу, нашла полотенце и стала растираться. Дверь комнаты была распахнута, кто-то заглядывал в нее, но мне было все равно. Дом беспрерывно вздрагивал и в любую минуту мог развалиться. Я вытащила из шкафа теплую рубашку, свитер, брюки, пуховый платок, натянула все это на себя, сверху надела еще куртку и все равно не могла согреться. Потом я заметила, что тетя Вера сидит босая, в одной до нитки промокшей ночной рубашке. Антонина Михайловна затихла под одеялом, наверно, задремала. Я выта-

шила из нафталина свою шубу и заставила тетю Веру одеться.

Хлынул ливень. Не стало видно ни неба, ни воды внизу. Струи захлестывали в окно, на полу растекалась лужа. Единственное уцелевшее стекло — в квадратике рамы возле форточки — затянула расплывающаяся и извивающаяся пленка воды. В комнате появился Саша Кузьмин, деловито отодвинул шкаф, отодрал фанеру от его задней стенки и принялся заколачивать окно. Стало совсем темно. Покончив с моим окошком, Саша отправился в комнату Елизаветы Николаевны, чтобы и там проделать ту же операцию. Я поплелась за ним следом и, стоя за его спиной, следила, как он вгоняет в рамы один гвоздь за другим. Слабенький свет возник посреди комнаты — это Елизавета Николаевна вытащила откуда-то свечку. Язычок пламени увеличился, и я разглядела Вадика, по-турецки усевшегося на своем диване и безучастно наблюдающего за Сашиними трудами. Несколько женщин, соседок с нижних этажей, тоже стояли и глядели, как Саша орудует молотком. От Елизаветы Николаевны он перешел в кухню и заделал дыры в балконной двери. Кухонному окну почему-то повезло больше остальных — в нем осталось два целехоньких стекла. Саша надумал было заколотить форточку, но потом махнул рукой.

— Оставим для вентиляции! — крикнул он мне в ухо и подмигнул, очень довольный.

Елизавета Николаевна стояла посреди кухни, продолжая держать в руке свечку. Вдруг в темноте коридора сверкнули два огонька. Я вскрикнула. К счастью, никто не расслышал моего вопля. В кухню не торопясь вошла серая кошка и вспрыгнула на шкафчик, а оттуда на полочку с посудой.

Я вернулась к себе в комнату. Какие-то люди, неразличимые в темноте, сидели и лежали на полу. Я тоже уселась на пол и прислонилась спиной к стене. Минуты шли, ливень лил, дом вздрагивал, но все еще не падал. Я стала думать о соседях со второго этажа. Там жила Нина Ильинична. У всех ее детей был абсолютный слух. Старший, Сева, учился в консерватории, Наташа и Юля — в музыкальной школе, только Света не могла заниматься музыкой, потому что у нее был врожденный порок сердца. Еще в их квартире жила старушка с мужем, а в соседней, пятой квартире жили Днепровские — муж, жена и дочь Инна, моя ровесница. Сначала они жили в одной комнате, а вторую занимал одинокий

мужчина, дядя Семен; потом, в сорок девятом году, дядя Семен внезапно исчез, и Инна — мы с ней сидели во дворе на каком-то ящике — говорила мне: «Если нам не отдадут эту комнату, мы напишем товарищу Сталину». Соседки шептали друг дружке потихоньку, что Днепро-вские сами написали донос на дядю Семена, чтобы захватить его площадь. Вообще про них говорили много всяких вещей. Потом Инна вышла замуж за вдовца с ребенком, армянина, и уехала к нему в Ереван, а старики Днепровские взяли к себе дочку зятя, восьмилетнюю девочку с огромными серыми глазами... На втором этаже была еще одна квартира, но сейчас я почему-то никак не могла вспомнить, кто в ней жил. А на первом этаже было домоуправление, и в крайней комнате жила дворник тетя Настя Рудина с сыном Юрой. Юра работал в «Правде» ретушером и однажды пожаловался моей маме, что мечтает рисовать портреты, но никто ему не хочет позировать. Мама предложила ему нарисовать меня. Мне было тогда одиннадцать лет, я приходила к ним и подолгу сидела молча и неподвижно. Юра рисовал и только иногда, заикаясь — он сильно заикался, — просил меня чуть повернуть голову или слегка сдвинуться в сторону. Потом он женился. Тетя Настя плакала — ей не нравилась невестка, почему, не знаю, мне она нравилась — тоненькая, очень светлая блондиночка. У них родился ребенок, потом второй. Они жили уже впятером все в той же комнате — две большие кровати, одна детская, а для старшего ребенка на ночь ставили раскладушку. Юра продолжал урывками работать над моим портретом, но время бесосвестно издевалось над ним — я росла, вместо девочки нужно было рисовать подростка, потом девушку. Он честно пытался следовать за этими изменениями и ни на чем не мог остановиться. Его жена успела возненавидеть меня. Она входила в комнату — уже не стройненькая застенчивая девушка, а дородная краснощекая женщина — и с такой силой отправляла под кровать таз, в котором купала на кухне ребенка, что я видела — ей хочется швырнуть туда не таз, а мой злополучный портрет. Мне самой до чертиков надоело сидеть из года в год в одной и той же позе. Я подозревала, что в конечном счете останусь изображенной дряхлой старухой, но почему-то никак не смела отказаться от этих сеансов. Наверное, потому, что, договариваясь со мной о том, когда мне прийти в следующий раз, Юра заикался и очень смущался, и я тоже начинала смущаться...

Ливень барабанил по фанере на окне, я сидела на полу между беженцами с нижних этажей и как-то спокойно думала о тех, кто остался под водой. Постепенно я перестала замечать грохот и вой за стенами и задремала. При каком-нибудь особенно сильном толчке глаза сами открывались, сердце замирало, но тут же я засыпала снова.

— А меньше гудит, правда? — сказала Марина Царева с пятого этажа.

Все слышали ее, подняли головы и проснулись. За стеной, в комнате Кузьминых, плакал ребенок. Я удивилась — откуда он взялся? — у нас в подъезде не было никаких детей, кроме Юриных. Может, к кому-то приехали гости? Нашли время... Мне захотелось пить, я поднялась и пошла на кухню. Окно слегка светилось мутным зеленоватым светом. Я отвернула кран, но там-то как раз и не было воды. Вытекло несколько капель, потом в трубе заурчало и заклекало.

— В чайнике возьми, — сказала Валя.

Она сидела на своем табурете, привалившись к шкафчику, и как будто спала.

— Валька, хватит дрыхнуть! — сказал Саша. — Помирать еще неизвестно когда, а жрать охота.

— Жри, — сказала Валя, продолжая сидеть. — Подавать тебе, что ли?

Саша отодвинул ее вместе с табуретом, пошарил в шкафчике, извлек оттуда что-то и принялся жевать. Я подошла к плите и решила попробовать — не загорится ли газ, и как ни странно, он вспыхнул. В кухне стало светлее и уютнее. Я решила сварить на всех кофе. Собрала остатки воды из чайников и поставила на огонь. Елизавета Николаевна сообщила, что у нее есть батон белого хлеба и полбуханки черного. Я тоже нашла у себя батон. Часть хлеба мы нарезали, а остальное припрятали. Вадик уже не сидел на диване, а лежал, прикрывшись с головой одеялом. Елизавета Николаевна хотела будить его, но я отговорила: «Пусть спит!» Жильцы четвертого и пятого этажей отправились к себе, чтобы принести брошенные в панике продукты да и кой-какие вещи, но половина из них вскоре вернулась с пустыми руками — на четвертом этаже под потолок стояла вода. Известие распространилось по квартире, все помолчали немного, вздохнули и принялись за кофе. Кто-то нарезал колбасу, но, кажется, никому, кроме Саши, кусок не лез в горло. Оставшиеся бутерброды аккуратно сложили и хотели по



привычке сунуть в холодильник, но вспомнили, что он не работает. Елизавета Николаевна полезла в свой сундучок за дверью.

— Пшено! — сказала она обрадованно. — На той неделе десять кило купила, хотела Зине на дачу отвезти. Собиралась, собиралась, да вот, видно, и прособиралась... То Маруся приехала, то бабушка наша заболела... Надо сварить, пока газ есть, а там — наплевать — кашу и холодную съедим, правда? Все лучше, чем сырую крупу жевать... — Она стала вытаскивать один за другим пакеты, потом вдруг остановилась, достала из кармана большой белый платок, закрыла им глаза и заплакала.

Все молчали. Елизавета Николаевна вытерла платком мокрые от слез щеки, промокнула глаза и, глядя на нас, сказала:

— Может, и крикнуть не успели... Ужас какой, правда?

Мы ничего не ответили. Она опять взялась за пакет с пшеном, пересыпала килограмм в кастрюлю и подошла к крану.

— Ой, а воды-то нету...

— Как раз — нету! — обозлилась Валя, выхватила из-под шкафчика таз, залезла на стол, распахнула форточку и стала пихать в нее таз.

Таз — ни так, ни эдак — не лез.

Саша молча наблюдал за ней и наконец сказал с восхищением:

— Вот дура!.. Ни черта ума нету!

— Сам больно умный, — как всегда, огрызнулась Валя, но слезла со стола и взяла вместо таза кастрюлю.

Вода все равно не набиралась.

— Соображать надо, — сказал Саша. — Ветер-то с той стороны.

Валя продолжала стоять, высунув руку с кастрюлей наружу.

— До вечера простоит, балда, — вздохнул Саша и уселся на табурет, но тут же едва не слетел с него на пол, потому что Валя пнула его ногой в бок.

После этого она отправилась в комнату, вошла на подоконник и распахнула форточку. Ливень тотчас обрушился на нее, промочил насквозь и забарабанил по полу. Валя не отступила.

— Простудишься, — заволновалась Елизавета Николаевна. — На-ка, надень! — Она стала совать Вале клеенчатый передник, но та не брала.

— Самодеятельность,— произнес Саша, вытащил из нижнего ящика шкафа клещи и принялся разгибать кофейник.

Через пять минут к форточке был прилажен желоб. Под него подставили одну за другой все имевшиеся в доме кастрюли, ведра, баки, корыта. Заодно уж наполнили и ванну.

— Кто его знает, когда еще водопровод починят,— сказал Елизавета Николаевна.

Саша хмыкнул, но ничего вслух не сказал. Очевидно, из уважения к возрасту. Стали варить кашу. Елизавета Николаевна заглянула в свою комнату и позвала Вадика. Тот не откликнулся и не шелохнулся. Она подошла к дивану и потянула одеяло.

— Вставай поешь! Пока газ есть, хоть каши наварим...

— Какой газ! Какой каши! Сиди спокойно! — заверещал Вадик, выдергивая у нее из рук одеяло и забиваясь поглубже в подушку.

Елизавета Николаевна растерялась.

— Как же так можно? С утра ничего не ел...

— Оставь меня,— простонал Вадик из-под одеяла.

Елизавета Николаевна постояла возле него, вздохнула и вернулась в кухню.

Мы то ели, то выходили на лестницу смотреть, насколько еще поднялась вода. Она поднималась — медленнее, но поднималась. Ливень продолжался. За окном стало совсем темно. Я хотела снова сварить кофе, но вода не успела нагреться — газ пыхнул и погас. Люди разбрелись по комнатам устраиваться на ночлег. Антонина Михайловна и тетя Вера долго извинялись за то, что накануне заняли мою постель, и уверяли, что теперь они прекрасно могут устроиться на полу. Антонина Михайловна даже пообещала постирать белье, поскольку они им пользовались. Я умоляла их остаться на тахте. В конце концов, после долгих вздохов они согласились. Спать мне не хотелось. Я пробовала лежать, но потом не выдержала и встала. Кажется, и остальные не спали.

— Ночью хуже,— пробормотал кто-то. — Все думаешь — уснешь, тут тебя и прихлопнет...

— Дай-то Бог,— откликнулся другой голос. — Может, и не почувствуем.

Покружив без толку по квартире, я снова легла и несколько раз как будто даже задремывала, но тут же

просыпалась. Наконец я зажгла спичку и посмотрела на часы. Половина третьего. Всего лишь... Я-то думала, уже утро. Ради развлечения можно было бы сходить посмотреть, куда поднялась вода. Но я не пошла — какая разница. Теперь я вдруг вспомнила, кто жил в той, последней, квартире на втором этаже. Раиса Львовна по прозвищу Жаба. Она четыре раза была замужем, но все ее мужья отчего-то умирали. Последний умер через два месяца после свадьбы. А еще в этой квартире жили Белкины. Белкина была женщина бодрая и энергичная, а сын у нее был дурачок — не совсем дурак, но с придурью, мальчишки во дворе вечно издевались над ним. Белкина никогда на них не жаловалась, но свою обиду вымещала на старшей дочери — та всегда ходила заплаканная, с громадными синими кругами под глазами. Однажды я случайно увидела ее — она сидела, забившись в уголок, на лестнице, которая вела на чердак, и плакала. Я сделала вид, что не заметила ее, и потихоньку ушла. Что бы ей остаться там, под чердаком... Сидела бы себе и сидела.

За стеной, в комнате Кузьминых, опять заплакал ребенок. Я уже и забыла про него. Ребенок кричал и кричал. Я поднялась и пошла поглядеть на него.

— Ш-ш-ш! Ш-ш-ш!.. — Незнакомая женщина ходила из угла в угол и усердно укачивала орущего младенца, но он и не думал засыпать. — Да что же мне с тобой делать? Будешь ты молчать или нет, горе ты мое! Да что же это мне за наказание такое? Запорю поганца! Измучал тетю, измучал, да что же мне с тобой делать...

— Это племянник ваш? — спросила Клавдия Александровна с четвертого этажа.

— Какой племянник! Чужой... Я ведь из Тикси прилетела. Взяла вот на свое горе. Одна у нас там родила, говорит, ты в Европу едешь, отвези, мол, ребенка матери. А мать ее в Харькове живет, да не в Харькове, а шестьдесят километров под Харьковом. А мне в Ленинград надо. Ну, когда пристала: возьми да возьми! Ты, мол, его только до Москвы подбрось, а в Москве мать тебя встретит. Она матери телеграмму дала, а нас в Красноярске трое суток продержали — погода. А мать в Москве два дня ждала, да обратно в Харьков улетела — у ней там корова на соседку оставлена да еще внук есть, от другой дочери. Вот горе-то мое, горе... Если б не он, я бы с самолета на самолет, да уж три дня как в Ленинграде была бы... А теперь что? Куда его теперь? И молоко

кончилось, и пеленки не сохнут. Ш-ш-ш!.. Ш-ш! Будешь ты молчать или нет? Запорю поганца...

— Он, наверно, от голода кричит,— определила Клавдия Александровна.

— Ясно, от голода,— согласилась женщина.— А что я ему дам? Нечего дать-то... И молоко кончилось, и кефир, а титьку не дашь — пустые титьки у тети, горе ты мое, горюшко...

Все принялись совещаться, чем бы накормить ребеночка: Саша Кузьмин пошел на кухню и из бака для белья соорудил буржуйку. Трубу вывел в форточку, содрал часть паркета в коридоре, наколол лучины и растопил печурку. Под потолком, от одной стены до другой, протянули веревку и развесили пеленки. Елизавета Николаевна отыскала в своем сундучке манку, стала варить кашу и заодно рассказывать:

— А наши как росли? Вадька мой как вырос? Я его второго числа родила, а пятого приходит ко мне Иноземцев. В цеху у нас работал, сволочь такая... Одно название, конечно, что работал,— так, около начальства увивался, морду во какую нажрал! — Она показала размеры этой морды. — «Меня,— говорит,— бригадир к тебе прислал, почему на работу не выходишь». — «Не видишь,— говорю,— почему не выхожу?» — «Если,— говорит,— завтра не выйдешь, под суд пойдешь». А суд у них, известное дело, недолог — чуть что, на лесоповал. Не то что ребенок, а и сама-то до весны не протянешь. Вот так — встала да пошла. В обед домой бегу, пока на шестой этаж влезу — дух вон. В глазах темно, в горле печет, думаешь, все — свалишься, и конец. А куда деваться? О себе уж не думаешь, только бы его перепеленать-накормить. И молока, считай, что и нету. Откуда оно возьмется? Кружку воды выпьешь, вот и весь обед. — Елизавета Николаевна разволновалась, забыла мешать кашу, та выползла из кастрюльки и зашипела на раскаленном железе. — Не успеешь отдышаться, беги обратно — не опоздать бы, не приведи Господь... Так бегала-бегала, пока Настя Рудина, спасибо, не сжалилась. «Перестань ты себя мучить,— говорит,— смотри, на кого похожа — еле ноги волочишь. Снеси его утром ко мне, я присмотрю. А сама,— говорит,— иди в обед в столовую да обедай, а то как померешь, ребенок твой никому будет не нужен». Так и стала Насе носить. Она его и выходила. Достану молока — хорошо, а нет, так хлебушка напарит... — Елизавета Николаевна сняла кашу с печурки и поставила на стол

студить. — Нет детей — плохо, — прибавила она со вздохом. — А есть они — так хоть на рельсы ложись...

Ребеночка накормили, он успокоился и уснул.

К утру ливень прекратился. Я глянула в окно и увидела воду. Волны разбивались под самым подоконником, брызги окатывали стекло.

— Еще поднялась, — сказал кто-то за моей спиной.

— Господи, а волны-то какие — как на море.

— Море и есть...

Валя Кузьмина придвинула стул к окну и разложила на подоконнике какое-то шитье.

— Кроит чего-то, — сказал Саша.

— Чего надо, — огрызнулась Валя. — Смерти тут ждать не собираюсь! Пока крыша на голову свалится да всех прихлопнет.

— Давай работай, — одобрил Саша и принялся вносить какие-то усовершенствования в конструкцию печки.

Валя сшила два небольших мешочка и стала пихать в них всякие вещи: баночку с солью, нитки, иголки, ножницы, кусок хозяйственного мыла, нож, ложку.

— Правильно, Валька, — сказал Саша. — Без своей ложки никуда не двигайся!

Валя не удостоила его ответом. Она тщательно заделала оба мешка, пришила к ним тесемки и привязала себе на грудь:

— Ша нырять будет! — объявил Саша.

— Сам вперед меня нырнешь, — не утерпела Валя.

— Не, я рядом. Держаться за тебя буду.

— Это уж правда, — согласилась Валя. — Как всю жизнь на моей шее сидишь, так и теперь не упустишь.

— Ты у меня баба крепкая, крижистая...

Валя влезла на подоконник и приоткрыла окно. В кухню тотчас ворвались брызги.

— Что делаешь? Закрой! — сказал Саша.

Валя сильнее распахнула раму.

— Кому говорят-то...

Валя выбралась наружу и остановилась на кромке подоконника. Саша подошел, обхватил ее за ноги и втащил обратно.

— Упадешь, дура!

Валя сопротивлялась и отбивалась. Как только Саша отпустил ее, она снова рванулась к окну. Саша наконец разозлился и стукнул ее кулаком по голове. Валя произи-

тельно вскрикнула, упала на стол и зарыдала. Саша закрыл окно, сказал: «Дура, мыло-то в воде тает. Не жалко, что ли!» — и вернулся к печке. Валя продолжала голосить. Я подошла к Елизавете Николаевне. Вадик по-прежнему лежал на диване, спрятав под одеялом голову и выставив наружу свои огромные ступни. Елизавета Николаевна рылась в буфете, вытаскивала какие-то банки и расставляла на столе.

— Варенье, Зина варила,— принялась она объяснять.— Сама не знаю, то ли клубничное, то ли малиновое... Это вроде клубничное... А может, малиновое...

Но тут волна навалилась на окно, выдавила фанеру и залила комнату. Кошка, дремавшая у Вадика под боком, взвилась на шкаф. Вадика обдало холодным душем, он вскочил, затрясся и принялся судорожно обтирать ноги одеялом. Следующая волна вкатила новую порцию воды. Елизавета Николаевна кинулась звать на помощь Сашу, он явился, подхватил уплывшую фанеру и попытался приладить на место. Вадик завернулся в одеяло и зашлепал по воде к двери.

— Ты, гусь! — крикнул Саша ему вдогонку.— Помог бы лучше!

Вадик ничего не ответил. Мы с Елизаветой Николаевной взялись держать с двух сторон фанеру, а Саша приколачивал ее. Но тут отлетела фанера с другой рамы, и нас снова обдало водой.

— ...твою мать... — сказал Саша.

Я взглянула в окно и увидела, что дома на той стороне нет. Он был выше нашего на целый этаж, но теперь на его месте не осталось ничего. Одна-только вода стояла вокруг, какие-то обломки и бревна качались на волнах и, будто таранами, лупили в наши стены.

— А наш стоит,— произнес Саша с уважением.— Что значит — до стахановского движения строили... — Он распахнул обе рамы и стал приколачивать фанеру с внешней стороны.

В комнате было полно воды, она растекалась по коридору, заливала во все двери.

Кто-то сказал:

— На чердак надо перебираться...

Елизавета Николаевна сложила в кошелки оставшиеся у нас продукты — в основном варенье, — и мне пришлось перетаскать их наверх. Сидеть на чердаке было как-то уж очень холодно и неуютно. Мы посоветовались, поглядели на воду и вернулись к себе в квартиру.

Снова наступила ночь и снова день. Волны не то-ропясь подымались и медленно спадали, облизывая последнее уцелевшее стекло. Казалось, в стену вделан аквариум.

— Правда, выше не поднялась? — сказала Елизавета Николаевна. — Валя, погляди! Правда, не поднялась?

— Сами глядите, — пробурчала Валя, не оборачиваясь.

— Может, еще утихнет...

— Утихнет! Жди — утихнет... — пробасил Вадик. — На двести двадцать метров поднялась и вдруг утихнет...

— Почему же на двести двадцать? — изумилась Елизавета Николаевна.

— Потому! — сказал Вадик, покачивая босой ногой. — Москва расположена на двести метров выше уровня океана. Да еще высота дома метров двадцать...

— Откуда же столько воды?! — воскликнула Елизавета Николаевна, пораженная этими вычислениями.

— Так что ты тут, парень, сидишь? — спросил Саша. — Привязывай утюг на шею да прыгай. Раз все равно, говоришь, зальет, так уж один конец.

— Успеется, — буркнул Вадик.

— Нет, товарищи, как хотите, надо подняться на чердак, — настаивал мужчина с третьего этажа. — Пока не поздно.

— Вон еще два этажа имеются, — заметил Саша, кивнув на окошко.

Средняя часть нашего дома была восьмизэтажной. В крайнем случае мы могли бы выбраться на крышу и по ней переползти на седьмой этаж.

— Там, наверно, и без нас народу хватает, — вздохнула Клавдия Александровна.

— В тесноте, да не в обиде, — сказала тетя Вера.

— Только бы дом выдержал, — высказала всеобщую мысль Антонина Михайловна.

Надвинулась еще одна ночь. Не стало видно ни окна, ни упиравшихся в стекло волн. Кто-то зажег свечу. Поскольку на полу плескалась вода, нам пришлось забраться со своими табуретками на столы. Вадик отделился от стены, сунул стул в раковину и полез туда сам.

— С ума сошел, — заволновалась Елизавета Николаевна. — Обломишь! Стенку обломишь и сам разобьешься! Садись здесь...

Однако раковина выдержала. Саша приволок в кухню платяной шкаф, повалил его на бок и улегся. Вадик сидел неподвижно, приоткрыв рот, и от этого его толстая нижняя губа казалась еще шире. Я задремала, и мне снилось, что я несусь по воле волн в засмоленной бочке. От духоты я проснулась. Свеча уже не горела. Придерживаясь за стенку, я перебралась со стола на подоконник и нащупала форточку. Свежий ветерок кинулся мне в лицо. Снаружи шумела вода, шлепалась о стену, но как-то лениво, будто в порту о мол в безветренный день. В углу кто-то вполголоса разговаривал. Потом замяукала кошка.

— Кис-кис-кис...— позвал женский голос, и кошка успокоилась.

Начало светать. Те, кто спал, проснулись.

— Смотрите, светло!— сказала Елизавета Николаевна.— Вадик, смотри, светло...

— Гляди, в самом деле светло,— откликнулся Саша, приподымаясь на шкаф.

Мы увидели, что волны опали и уже не касаются нашего окна. Я добралась до балконной двери, распахнула ее, и вода, собравшаяся в кухне, вылилась наружу. На полу остались только тоненькие лужицы.

— Кончилось,— сказал мужчина с третьего этажа.

— Неужели кончилось?..— повторила тетя Вера.

— Боже мой, четыре ночи...— сказала Клавдия Александровна.

— Четыре?— переспросила Антонина Михайловна.— Мне показалось, сорок...

Кто-то отодрал фанеру с окна. Вадик еще посидел, насупившись, в раковине, но наконец и он слез на пол и стал растирать затекшие ноги.

Я вышла на балкон. Там уже стояли муж с женой из соседней квартиры— у нас с ними общий балкон.

— Доброе утро,— сказала женщина.

— Да, кажется, доброе...— ответила я.

Мужчина показал на воду.

— Потоп... Как в Библии.

Я согласилась, хотя в глаза никогда не видала никакой Библии. Библию теперь найдешь не в каждом доме— даже таком большом, как наш.

Вдруг в просвет между тучами глянуло солнце.

— Солнце!— воскликнули все в один голос.

— Солнце...— сказала за моей спиной тетя Вера и заплакала.



Вода заблестела, заиграла и ослепила нас. Вода, вода, до самого горизонта одна вода...

— Кончилось, — повторил мужской голос.

— Хорошо, картошку не сварили, — сказала Елизавета Николаевна. — На семена пойдет! Я ведь хотела сварить, чуть не сварила...

Дом спас нас. И мы знали теперь, что нам делать дальше. Нужно разобрать крышу, снять стропила, из них можно построить лодку. Нет, не лодку, а плот. Большой плот, чтобы всем хватило места. Чтобы все поместились, и кошка тоже. Поплывем искать какую-нибудь высокую гору. И наверно, найдем. Должны найти. Кто-нибудь да найдет, обязательно найдет.

Потому что все это уже описано в книге, которой никто из нас не читал.

---

## МАЛЬЧИК

В гробу он лежал неподвижный, непохожий, какой-то чужой, и было уже не так страшно.

Не так страшно, как там, на берегу, — она подбежала, а он не поднялся, не вскочил, не шелохнулся, не ответил... Лежал на песке — трусики прилипли к телу, волосы потемнели, склеились. Не открыл глаз, не сказал ничего, как ни кричала, ни звала....

Могилку засыпали и пошли домой. Лето стояло жаркое. В душной испарине тянулся день за днем. И каждый день одни и те же дела — подоить корову, накормить поросят, проводить мужа на работу да на огород — полоть, окучивать, поливать...

Однажды Анна была в доме и не заметила, как собралась гроза. Только когда в окошке потемнело и ветер захлопал калиткой, вспомнила, что во дворе сушится белье, и выскочила забрать. Посреди улицы играли ребятишки. Упали первые капли, детвора кинулась врассыпную, и один побежал к ней. Алешка... Ее Алешка!.. Она тотчас узнала его, еще издали узнала. Он был не в костюме, как его похоронили, а в той зеленой рубашке. В той, в которой ушел тогда на речку. Она стояла, прижав к груди белье, не в силах сдвинуться с места. А он бежал, бежал к ней. Ливень припустил, она видела, как намокли волосики на голове, рубашка прилипла к телу. Он был уже близко, близко, совсем рядом, она выронила белье, протянула к нему руки... Но он словно растаял. Ни зеленой рубахи, ни светлой головки. Только серые частые струи, и она, одна под ливнем, над кучкой намокшего, испачканного белья.

Она никому ничего не сказала. Не поверят. Подумают, сошла с ума.

Но и в другой раз, лишь начался ливень, он бежал к ней. Опять бежал домой, может, хотел спрятаться,

укрыться в избе, уйти от воды. Она бросилась к нему, протянула руки — уберечь, заслонить!.. Но опять только жесткие струи, и ничего — пусто, ничего, кроме дождя...

Она ходила на кладбище. Положила цветы на могилку и, припав к земле, зашептала, заговорила:

— Зачем же ты, Алешенька, зачем мучаешь меня? Ты скажи, скажи. Тебе ножки свело? Или, может, ребята баловались, потянули вниз, а ты и захлебнулся? А? Что же ты молчишь? Алешенька, сынок...

Солнышко светило. На кладбище было тепло, щебетали птички, пахло травой, и она поняла, что ответа не будет. Может, игрушки ему снести, которые остались? Или трактор купить — красный этот, большой... Как у Саньки Тучкова. Он просил...

Она съездила в город, купила трактор, снесла на могилку, но он продолжал бежать к ней. Все бежал и бежал сквозь дожди, а ни разу не удалось ей хотя бы коснуться, хотя бы дотронуться до него. Стоило протянуть руки, как он исчезал, истаявал в струях...

Она стала прятаться. Забивалась в темную спальенку и сидела там, вздрагивая от каждого удара грома.

Но однажды дочка, Маринка, выскочила зачем-то в дождь на крыльцо, и мать услышала ее крик:

— Алешка! Наш Алешка!..

Анна бросилась к ней, обняла за дрожащие плечи.

— Что ты! Что ты! Разве ты боишься его? Не надо, не кричи...

Отец долго ничего не знал, он ведь каждый день рано уходил на работу и возвращался только вечером. Но наконец и он увидел. Он не вскрикнул, ничего не сказал, но по его обезумевшим глазам Анна поняла, что видел.

На другой день он сказал:

— Уедем отсюда.

Она не стала спорить. Может, так будет лучше.

Муж нашел покупателей на дом, корову и поросят, заказал билеты и велел складывать вещи. Только когда уже сидели перед дорогой на чемоданах, Анна спросила:

— Паша, как же мы его оставим?.. А?

Он ничего не ответил. Встал и пошел к двери.

И они уехали. Далеко на север, в Сибирь. В маленький городок, где стояла зима. Устроились работать на завод, а Маринка пошла в школу. Месяцы шли за месяцами, а зима все не кончалась. Март был морозным

и апрель тоже. В мае лежал снег — толстый, блестящий, белый. Но в июне все-таки начало таять. Вскрылась речка, полезла из земли травка. И однажды полил дождик. В стекло ударила капля, другая, третья... Анна подошла к окну. Они еще не снимали ни вторых, ни третьих рам. Но и сквозь три рамы она увидела, как он бежит, бежит — ее Алеша, бежит к дому... Светлая головка, зеленая рубаха. Вот пересек двор, уже почти у самого крыльца. Анна выскочила в сени, распахнула дверь наружу и остановилась, боясь спугнуть его. Он добежал до крыльца, поднял голову, протянул к ней руки... И обратился в серебристые капли, падавшие в зеленую траву.

1968

---

## В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ

Они встретились посреди города, на главной улице. Полина шла из магазина, мать послала ее купить хлеба, пшена и сахару — сколько дадут. Теперь Полина несла две тяжелые матерчатые кошелки, связанные за ручки и перекинутые через плечо, — семь буханок хлеба за спиной, а мешок с пшеном и кило сахару на груди. Одной рукой она придерживала кошелки, а другая была совсем свободна и ловила ветерок, который мягко давил на ладонь и охлаждал между пальцами. Уже целую неделю не было дождя, пыль на дороге сделалась сухой и тонкой и приятно щекотала подошву, особенно ту ямку в подъеме, где кожа была нежнее.

Иван шел с работы. Он проходил тут всякий день, по этой улице — на работу и с работы, но почему-то только сегодня повстречал эту девушку с глубокими серыми глазами и пшеничными бровями, ровными, как два спелых колоска. Иван был нездешний. Где он родился, он не знал. Никто не сумел сказать ему этого. С четырех лет он остался без родителей и воспитывался в детском доме на Украине — пристань Вишенки, хутор Черешенки. Но вот уже шесть лет, как он покинул детский дом и милую Украину и скитался по всей бескрайней стране — побывал и на Севере, и в Сибири, а теперь уже восьмой месяц как попал в этот городишко и жил пока тут.

Каждый день он ходил одной и той же дорогой на работу и с работы, но только сегодня вдруг увидел Полину. Она взглянула на него и прошла мимо. Он остановился, посмотрел ей вслед, а потом повернул и догнал ее.

— Давай помогу, — сказал он и стал ждать, что она ответит.

Полина сразу поняла, что парень нездешний. В их городе она знала всех. Люди жили здесь все белые,

плотные, высокие, а у этого были черные глаза и черные волосы, и сам он был тоненький, словно мальчик, да и глядел чудно — в их городе никто никогда так не глядел.

— Не,— сказала Полина.

Но он все же пошел рядом. И говорил всякие смешные слова. Полина слушала, не перебивая. Так они дошли до ворот ее дома. Ей оставалось только толкнуть калитку и переступить высокий порог двора, но она зачем-то все стояла, пока на улице не вышел ее брат, тот, которого звали Васей. Полина передала ему продукты, велела снести матери, а сама спустилась с Иваном к реке.

День был жаркий. В прозрачной воде у бережка плескались ребятишки. Иван и Полина постояли над обрывом, посмотрели на реку, на лес за рекой и пошли обратно. Иван все говорил, а Полина молчала, и так они опять очутились у ворот ее дома. Прощаясь, Полина испугалась, что вдруг больше не увидит этого смешного парня.

— Приходи завтра,— сказала она.

Он и пришел. Когда она под вечер вышла за калитку, он уже стоял там. Они опять пошли к реке, опять постояли над обрывом, потом отошли в сторонку и присели на мягкую теплую траву. Полине нравились нездешние слова, которые говорил Иван. Они сидели, пока не увидели, что день кончился и в серых сумерках обозначились первые звезды. Иван проводил Полину до дома и сказал:

— Я завтра приду.

— Приходи,— сказала она.

Так они гуляли у реки каждый вечер, пока не наступила осень. Тогда Полина обула ботинки, и под сереньким мелким дождиком они с Иваном пошли в горсовет. Там им написали бумагу, что теперь они муж и жена. Потом они вместе пошли к Полине — сказать родителям, что поженились. Родители не удивились, видно, того и ждали, только по очереди поглядели в бумагу, сначала отец, потом мать. Мать вспомнила, как она венчалась в церкви, и вздохнула за дочку — теперь венчаться не разрешали. Она открыла сундук, достала штуку полотна и отдала Полине — приданое. А отец, глядя в сторону, сказал:

— Живите, однако...

Братья и сестры ничего не сказали, они все были младше Полины. Полина взяла полотно, и они с Иваном пошли. У Ивана была комната с отдельным крыльцом

и сенями в горсоветовском доме. Дом этот раньше был купца Ананьева, а теперь горсоветовский. Взойдя на крыльцо, Иван поднял Полину на руки и перенес через порог. Никто этого не видел.

Утром он ушел на работу, на лесопилку, за два километра от города, а Полина весь день ждала его. К вечеру она обулась и вышла на улицу, туда, где они встретились в первый раз. Она стояла под дождичком и ждала, пока не появился Иван. Взявшись за руки, они прошли к дому, на крыльце Иван снова поднял Полину на руки и снова внес в комнату, как вчера.

Потом наступила зима, стало холодно, Полина перестала ходить встречать Ивана, потому что полушубок у них был один на двоих, но, заслышав его шаги на крыльце, она всякий раз выбегала босая в сени, а он подхватывал ее и нес обратно в комнату.

Весной у них родился сын. Иван вбил в потолок крюк и подвесил на нем люльку. Сына назвали Ваней, так захотела Полина. На другое лето родился еще сын, и его назвали Тихоном, как деда, отца Полины. А потом явились сразу две дочки, Маня и Лиза, да так и качались в люльке вдвоем, пока не родилась еще одна девочка, Таня.

Вместе с ребятами росло у них и хозяйство. Десяток кур гулял по двору, в хлеву стояла коза, каждый год Полина выкармливала поросенка, а по весне у реки сажали картошку. Летом, в жару, Полина ходила под вечер ее поливать и, притомившись, оставляла на берегу ведра и коромысло, а сама купалась в тихой прогретой солнцем воде. Она входила в реку не спеша, точно боясь потревожить воду, два тугих прохладных обруча охватывали ей ноги и с каждым шагом подымались выше, пока не смыкались в одно кольцо вокруг живота, груди, шеи. Тогда Полина отрывала ноги от песчаного дна и плыла, почти не чувствуя своего тела, слившегося с глубокой неспешной водой.

Вечерами она ходила встречать Ивана, но уже не одна, а с ребятами. Завидев их, Иван прибавлял шаг и, подбежав, обнимал Полину, подхватывал, кружил, а она смеялась и тепло дышала ему в шею.

Иногда Полина ходила с ребятами через мост на ту сторону реки по ягоды или по грибы. Лес здесь стоял великий и богатый — только собирай. Из ягод Полина варила варенье, а грибы солила. В конце лета они с Иваном копали картошку, а когда картошка была уже убра-

на и свалена в подпол, выходили иной раз к реке просто так, посидеть над обрывом.

Город был маленький, кривой и тесный, но стоял он на большой, могучей и многоводной реке. Река текла с юга, из теплых мест, и поэтому долго, до самых холодов, вода в ней была словно подогретая. Даже когда наступали морозы, и весь берег уже скрывался под снегом, темная вода оставалась спокойной. Ледяная кромка схватывала мелководе, но дальше продвинуться не могла. Так проходила неделя, другая, и вдруг над рекой вставал туман. Сначала редкий, белесый, слабый, но час от часу все более плотный и высокий. Туман густел и начинал шевелиться, будто стадо лохматых черных овец. Бурные клочья взлетали вверх, кружились и затем не спеша опадали. Но проходил еще день, и туман снижал. Он светлел, тончал и таял, и тут из-под него выступал лед — голый, гладкий, синеватый лед. Потом лед заносило снегом, и уже невозможно было отличить реку от берега. Все вокруг делалось белым, только кромка леса темнела на том берегу, да город торчал на круче, точно сухой репейник, вцепившийся в шкуру громадного белого зверя.

Река замерзала и вскрывалась снова, жизнь текла своим чередом, Полина ждала уже седьмого ребенка, но тут началась война. Она шла где-то далеко, не видно и не слышно для их городка, но двух братьев Полины уже забрали на фронт. Потом в городе появились эвакуированные. В доме, где жили Иван с Полиной, с другого крыльца жил директор лесопилки с женой Настей и одиннадцатью детьми. Они занимали две комнаты, большую и маленькую. В третьей комнате там же жил заведующий складом. Жена у него была уже старая, а детей родила всего троих, да и то один мальчик умер от кори. Директора вызвали и сказали освободить маленькую комнату для эвакуированных. Вскоре в этой комнате поселили чернявую женщину из Москвы с девочкой. Девочка была махонькая, почти грудная, а уже в ботиночках. Москвичка явилась на новое место с пустыми руками, точно ехала к матери в гости, и в первый же день пошла просить у Насти тарелку. Тарелки у Насти были, она держала их в сундуке и доставала иногда по праздникам или когда приходил в гости кто из начальства, председатель горсовета либо из области, но



теперь она не посмела отказать эвакуированной — кто знает, вдруг муж еще заругает, зачем не дала. Но муж сказал, что напрасно расщедрилась, и велел требовать обратно. Настя остановилась в дверях своей отобранной комнаты и промолвила, будто невзначай:

— Нина, ты тарелку-то вороти. Разобьешь еще...

— Да, пожалуйста, — сказала эвакуированная, вздохнула и вынесла тарелку.

Настя спрятала посуду на место в сундук.

Наступила зима, а война все не кончалась. В магазине не стало ни хлеба, ни пшена, ни сахара. От десяти кур у Полины осталось только три, да и тех кормили одной толченой картошкой. Картошки у них пока хватало.

Еще одного брата Полины забрали на фронт. Заведующего складом тоже взяли. Ивана не взяли как многосемейного. Он по-прежнему ходил на работу на лесопилку, а Полина все так же ждала его дома и все так же выбегала в сени, заслышав, что он поднимается на крыльцо.

В город начали приходить похоронки, и весной пришла похоронная на брата Васю. Полина, услышав новость, побежала к матери. Мать не плакала, только все вздыхала, смотрела в окошко да приглаживала юбку на коленях. Полина просидела у нее до вечера, а к ночи пошла домой. В ту же ночь она родила мальчика и назвала его Васей. А через месяц пришла похоронка и на второго брата.

Летом сорок второго стали забирать всех подряд, забрали последних двух братьев Полины, забрали даже однорукого возчика дядю Матвея, сказали, что если он может быть возчиком в тылу, то и на фронте на что-нибудь сойдет. Ивану тоже пришла повестка. Полина вместе с ребятишками проводила его на станцию, а вернувшись домой, не дойдя до своих дверей, повалилась на крыльцо, обхватила ступеньки руками и закричала истошно, пронзительно, так, что было слышно с другого конца улицы. Соседки не мешали ей убиваться, но эвакуированная, послушав час и другой этот вой, не выдержала и пошла успокаивать ее.

— Ну что вы, нельзя же так, — говорила она, присев возле Полины на ступеньку. — Сейчас все на фронте. У меня тоже муж на фронте. Не обязательно же убьют. Надо верить, что вернется. Как же иначе? Полина, пере-

станьте. Зачем это? Зачем вы его раньше времени хороните? Вы должны взять себя в руки. Надо жить ради детей. Надо надеяться.

Полина не отвечала и все продолжала голосить. Только совсем охрипнув и обессилев, она приподняла голову и прошептала:

— Не увижу его больше... Нет, не увижу. Милый мой! Ваня... Не увижу тебя больше...

Действительно, вскоре на Ивана пришла похоронная. Полина развернула желтую бумажку с черной каймой — «погиб смертью храбрых», — но не проронила больше ни звука. Только опустилась на крыльцо и стала приглаживать юбку на коленях. Просидев так довольно долго, она покачала головой и сказала:

— Нельзя нам было разлучаться... Никак нельзя. — И продолжала сидеть.

Ей даже совсем не хотелось больше подниматься. Принявшись теперь за какое-нибудь дело, она вскоре оставляла его, садилась и смотрела — все смотрела в одну точку, будто видела там что-то такое, чего другие не понимали. Ванюше, старшему мальчику, приходилось самому доить козу, топить печку и варить ребятам картошку. Обдумав свое положение, он поймал однажды курицу, ту, которая хуже других неслась, отрубил ей топором голову и сварил супу. Он надеялся, что мать окрепнет, поев мясного, но Полина отодвинула миску, не попробовав.

Зимой в городе начался тиф. Сначала заболел мальчик у Насти, предпоследний, годовалый.

— Болеет у меня мальчишка-то, — сказала Настя эвакуированной.

— Так что же вы его не покажете врачу? — удивилась та. — Между прочим, тут замечательный детский врач, очень внимательный.

— Да ну! — вздохнула Настя. — И так выздоровеет.

— Напрасно, — уговаривала эвакуированная. — Поликлиника рядом, почему не сходить?

Настя все же в поликлинику не пошла, и недели через две мальчик умер. Вернувшись с кладбища, Настя задержалась в коридоре у печки, и эвакуированная не удержалась, чтобы не попенять ей:

— Вот видите — не послушались вы меня, а снесли бы в поликлинику, может, был бы жив.

— Да ну,— промолвила Настя,— Бог с ним, еще рожу.

Но рожать ей больше не пришлось. Через несколько дней она сама заболела. И не только она, многие в городе заболели. Из области прислали комиссию, которая выяснила, что эпидемия началась после того, как вблизи города побросали пленных немцев. Немцев везли с запада на восток, полный эшелон. Погода уже была морозная, а одежка на фрицах оказалась неподходящая, не рассчитанная на такие зимы. Когда начальник эшелона вздумал заглянуть в вагоны, оказалось, что живых совсем не осталось, а гнать эшелон с мерзляками дальше на восток ему показалось нерентабельным. Он велел конвоем сбросить фрицев в снег и повернул состав обратно, туда, где от него в военное время будет больше пользы. Мертвые же немцы остались лежать на насыпи. Кто-то заприметил их, идя со станции в город, и вскоре нашлось немало желающих попользоваться трофейным обмундированием. Рынок наполнился френчами, брюками, шинельщиками, исподними портками и рубашками, а главное, сапогами, за которые давали дороже всего. Видно, через все это барахло в город и проник тиф. Комиссия сделала свои выводы, провела санобработку в домах, где были больные, а на умерших составила отчет, из которого следовало, что причиной смерти явились у взрослых сердечные заболевания, а у детей воспаление легких и менингит.

Среди умерших оказался и директор лесопилки, Настин муж, так что, хоть его и не призывали на фронт, Настя все же осталась вдовой.

У эвакуированной тоже заболела девчонка, но не умерла, а после сорока дней лихорадки и бреда выздоровела и затем, повзрослев, написала этот рассказ. Во время болезни ее остригли наголо, и новые волосы у нее выросли уже не такие беленькие, как были раньше.

Полину тиф обошел, очевидно, из-за ее отдельного крыльца, но маленький Вася у нее все-таки помер — Ваня обкормил его картошкой. С лесопилки выделили досок,— Полина теперь сама работала на лесопилке, на месте Ивана,— дед Тихон сколотил гробик, и Васю похоронили.

Обобранные фрицы, замеченные снегом, пролежали на насыпи всю зиму, но весной, когда снег сошел, Полину вместе с другими женщинами погнали рыть яму возле

насыпи, чтобы сбросить туда тела. Земля была еще крепкая, скованная морозом, и копать пришлось долго. Яму закидали землей, но в следующую зиму земля осела и яма обозначилась снова. В городе прозвали ее Фрицевым кудуком. Толька, старший Настин сын, работавший после смерти отца рабочим на станции — работали теперь везде одни женщины да подростки, мужчин совсем не осталось, — ввалился однажды в темноте в этот кудук, сломал себе ногу и пробыл на дне почти целые сутки. Настя по своей занятости так и не хватилась его, но кто-то, проходя по шпалам, услышал, что внизу будто собака воет, заглянул и увидел. Толька остался жив, только ногу ему отрезали, и он ходил потом на костылях, будто с фронта.

На третий год войны эвакуированные потянулись обратно на запад, так что Настя смогла снова занять обе свои комнаты.

Потом пришла победа, и жизнь мало-помалу наладилась. Дети у Полины выросли и выучились. Ваня уехал в Свердловск в техникум, кончил его успешно, решил поступать в институт, там же в Свердловске нашел работу, там и женился. Получил впоследствии комнату и приглашал мать приезжать к нему в гости. Тихон оказался способным к математике, добрался до самого Ленинграда и тоже остался там насовсем. Двойняшки Маня и Лиза поступили в техникум в областном городе — Маня в педагогический, а Лиза в строительный. Коля учился хуже других, но и он кончил восемь классов да еще школу механизаторов, а после укатил на целину. Только Танюшка вышла замуж в родном городе и поселилась у мужа на соседней улице.

Полина, проводив детей, осталась одна в своей комнате. Одна в долгие ночи и днем тоже одна. Хозяйство ее сократилось, поросенка и козу горсовет запретил держать, да и зачем ей? Дети присылают деньги, кто пять рублей, кто десять, а Тиша целых двадцать. Хватает. Картошку она еще сажает у реки, не столько, как прежде, — куда ей одной! — но купаться больше не купается. В светлые летние ночи она смотрит на потолок, из которого по-прежнему торчит крюк от люльки, и вспоминает то одно, то другое — разные случаи из своей промелькнувшей жизни. Иногда она вспоминает эвакуированную из Москвы и пробует отгадать — вернулся ее муж или тоже

погиб? От долгого глядения потолок начинает покачиваться, и Полина представляется, будто она лежит в лодке посреди реки. Бывает, что на рассвете она встает и выходит на обрыв — смотрит на широкую воду, которая все катится и катится, неспешно и беззвучно, движется, не убывая и не меняясь, год за годом откуда-то с юга куда-то на север, течет и течет, ничего не ведая и ни о чем не убываясь.

Лес на том берегу сильно повырубили, и он попятился вдаль, к горизонту, но Полина и без того давно уже не ходит ни по грибы, ни по ягоды. Порой она замечает, что стоит на том самом месте, где когда-то впервые встретилась с Иваном. Стоит неизвестно зачем, будто кого-то ждет. Иногда Танюшка подходит к ней, берет за руку и отводит домой, как ребенка.

— О любви так много пишут, — вспоминала потом москвичка, оправившись от потрясений военного времени и удивляясь, как она выдержала три этих нескончаемых года в далеком, заброшенном, никому не ведомом городишке, — так много говорят, сочиняют романы, фильмы ставят, но я сама настоящую любовь видела только один раз в жизни. И то в таком месте!.. Трудно даже поверить... Он работал на лесопилке, простым рабочим, а она, разумеется, тоже ему под стать, обыкновенная крестьянская женщина. Совсем, можно сказать, необразованные, неразвитые люди. Но какая это была пара — удивительно! Нужно было видеть их, когда они шли рядом, — он южный тип, смуглый, темпераментный, выразительный, а она спокойная, тихая, румяная. Он, бывало, как возвращается с работы, подбежит к ней, подхватит на руки, целует, обнимает. И это не в медовый месяц, это после шести или семи детей. Если бы не видела своими глазами, наверно, не поверила бы.

Каждая слушательница по-своему комментировала эти наблюдения, но в конце концов все сходилось на том, что если бы настоящей любви вовсе не существовало, то про нее вряд ли и писали бы. Все-таки не может быть, чтобы все это было одной только выдумкой.

Не так давно я оказалась в командировке вблизи того городишки и не удержалась от соблазна посетить его:

быть рядом и не захватить? Вряд ли еще когда представится такая возможность.

Город сильно изменился. Разросся. Не столько сам город, сколько станция. Бывший поселок при станции раздвинулся во все стороны, особенно в сторону реки, и слился с городом. Главная улица теперь не та, что была раньше, а та, на которой стоит новое здание горкома и двухэтажная гостиница «Раздолье». Возле гостиницы магазин со многими отделами — верхней одежды, галантереи, обуви и даже мебели. Желающие могут записаться на диван-кровать или на сервант. Есть трехэтажная школа и новая больница. Лесопилка отодвинулась от города на двенадцать километров — ближе к лесу, рабочих теперь возит автобус. На станцию понаехало много пришедших людей, так что даже тип населения изменился — ребятишки, которые бегают по улицам, уже не все сплошь белобрысы, встречаются и совсем темные. Дома в основном двухэтажные, но не срубы, как раньше, а больше из кирпичей или даже каких-то блоков. Но, пожалуй, больше всего поражает неожиданная разговорчивость случайных встречных. Каждый так и норовит сообщить тебе что-нибудь полезное и поучительное. Как-то даже не верится, что в прежние времена городок славился своей угрюмостью и беседы вел неохотно: от одного слова до другого утекало немало времени. Теперь же, едва я поинтересовалась Фрицевым кудуком, мне тут же сообщили, не таясь и не чураясь, что кудук уже лет пятнадцать как засыпали насовсем: сровняли с землей. Под бурьяном и не сыщешь. Какая-то бабка — хоть я и не просила — вызвалась проводить меня до моста, что ведет на Верх — так теперь называют ту часть города, где мы жили во время войны. Тут почти все осталось, как было, разве что два-три свежих сруба встали, не нарушая общего плана улицы. Я узнала наш дом — высокое нарядное крыльцо с улицы, по-прежнему запертое, и два крыльца со двора. А сбоку крыльцо Полины. Вот тут вот, на этих ступеньках, двадцать четыре года назад мы с Танюшкой сидели и глазели, как по двору бродят куры. Даже сарайчик оказался на месте. Не было только ни коз, ни кур. Пока я стояла и озиралась, пожилая тучная женщина с серыми, выцветшими до белизны и сильно запавшими глазами вошла в ворота и направилась к крыльцу. Заметив меня, она остановилась, взглянула тревожно и неодобрительно и наконец спросила:

— Ты к кому будешь-то?

— Здесь когда-то жила Полина... Полина...— Я силась вспомнить фамилию, но она не давалась.

— А ты сама-то,— проговорила женщина,— сама-то кто будешь? Никак, Нина? — Оплывшая ее шея дрогнула, и по лицу пробежала тень судороги.

— Я не Нина,— поправила я в смущении.— Я Нинина дочка.

— Дочка? — повторила она недоверчиво, слегка помолчала и прибавила строго: — Если так, шла бы ты, девка, домой. Мать небось дожидается.

Произнеся эти слова, она сочла беседу законченной, повернулась и пошла, но уже не к крыльцу, а к сараю. Мне запомнились ее полуботинки — пыльные, не по ногам громадные, с каблуками, сбитыми на сторону.

## СВЕРЧОК-БУРАЧОК

Ночь была темная — ночь между старым и новым месяцем. К тому же Ван Ха Туан умел ступать бесшумно. Ни одна ветка не дрогнула, ни один лист не зацепился за поля его нона<sup>1</sup>. Ван Ха Туан вошел в деревню. Здесь тоже было тихо. Туан нащупал вход в хижину.

Лан спала. Вдруг она почувствовала сквозь сон, что чья-то рука отодвинула циновку. Лан поджала ноги и села на постели.

— Лан, — позвал мужчина.

Лан радостно улыбнулась, встала и приблизилась к мужу. Туан снял автомат и осторожно опустил на циновку в углу.

За час до рассвета он вскинул автомат на плечо и вышел из хижины. Лан смотрела, как он уходит. Сначала она различала движущуюся фигуру, потом лишь зыбкую тень, потом темнота сомкнулась и поглотила Туана. Лан вздохнула и вернулась в хижину.

С первыми лучами солнца она придвинула к себе неоконченную корзину и принялась плести. Скоро она услышала перестрелку. Всю свою жизнь Лан слышала стрельбу, но сейчас стреляли совсем близко. Тростинки перестали плясать у нее в пальцах, и только кончики их слегка вздрагивали. Но Лан не позволила дурным мыслям забраться в голову. С тревогой в душе нельзя жить. Лан тихо вздохнула и продолжила работу.

Днем в деревню въехали грузовики. Солдаты попрыгали с машин и оцепили дома. Они искали мужчин, но мужчин не было. Тогда они стали хватать женщин и бросать в машины. Потом залезли туда сами, с автоматами в руках, и грузовики тронулись.

В комнате, куда ввели Лан, за высоким столом сидел офицер. Лан остановилась перед ним. Рядом с ней

---

<sup>1</sup> Нон — широкополая соломенная шляпа.



встали двое солдат. Еще четверо сидели, отдыхая, на стульях.

Где твой муж? — спросил офицер.

— Он ушел, — сказала Лан.

— Куда он ушел?

— В лес.

— Он партизан?

Большие глаза Лан глянули удивленно.

— Я не знаю.

— Он был у тебя ночью?

— Был? Конечно был.

— Когда он ушел?

— Утром он ушел.

— Часто он к тебе приходит?

— Он всегда приходит, — ответила Лан.

— Каждую ночь?

— Всегда, — повторила Лан.

В какую сторону он пошел?

Разве я знаю, в какую сторону он пошел? Может, туда... — Лан вскинула одну руку ладонью вверх. А может, туда... — Так же вскинула другую. — А может, туда. — Обе руки взлетели неспешно, точно Лан растелила на ветру шелковый платок.

Офицер посмотрел на нее и сказал солдатам:

Уведите!

Лан привели в камеру. Это была длинная высокая комната с узким окошком под потолком. По стенам тянулись нары, и на всех нарах сидели и лежали женщины. Лан поздоровалась, постояла немного и села на пол в углу. Женщина с верхних нар позвала ее:

Иди сюда, дочка. Здесь хватит места для нас обеих.

— Спасибо, почтеннейшая, — сказала Лан.

Женщина подвинулась, Лан взобралась на нары и улеглась с краю.

В камере много разговаривали. Два раза в день приносили еду. Иногда какую-нибудь женщину уводили, и она больше не возвращалась. А иногда она возвращалась и опять ложилась на свои нары. Лан никто не трогал. Через девять месяцев она родила сына. В честь отца мальчика называли Туаном. У него были черные глаза, такие же большие, как у матери, и смуглая кожа. Женщина с нижних нар подарила Лан большую мягкую тряпку. Лан завернула сына в тряпку и стала смотреть на него. Днем она держала его на руках, а ночью укладывала рядом с собой на нары.

Скоро у маленького Туана выросли густые волосики и длинные черные ресницы. Потом он научился смеяться и однажды сказал «мама».

— Папа! — сказала Лан. — Твой папа придет и забереет нас отсюда. И мы пойдем далеко-далеко — домой.

Скоро из тряпки, в которую был завернут Туан, пришлось сшить штанишки и курточку.

Лан рассказывала сыну сказки — про злого Дракона и храброго юношу, про жадного толстяка и умного крестьянина, про духов, которые живут в бамбуковой роще, и про заколдованное подземное царство. Мальчик слушал эти сказки и засыпал, а когда просыпался, просил рассказывать дальше.

И все время где-то далеко ухали взрывы.

Однажды дверь камеры, в которой сидела Лан, запахнулась, и внутрь впихнули старуху.

— Хамы! Чтоб вы пропали! — закричала старуха и затрясла сухонькими черными кулачками. Потом она оглядела камеру и направилась к нарам в углу. — Расселись, босячки! Подвиньтесь, дайте место порядочной женщине. У меня два сына полицейские. Бандиты, они еще узнают, кто я такая! Я еще сумею доказать...

Туан испугался и спрятался за спину Лан. Но старуха перестала кричать и заплакала.

— Негодяи, — сказала она сквозь слезы. — Они украли мой веер. И что это за платье? Разве у меня было такое платье?!

Платье на ней было рваное, грязное и заплатанное. Туану стало ее жалко.

— Бабушка, не плачьте, пожалуйста, — сказал он. — Скоро придет мой папа, и мы все выйдем отсюда.

— Смотрите! — закричала старуха. — Они держат здесь ребенка! Разве ребенку место в тюрьме? Ребенок должен играть в сквере!

— Откуда вы, почтеннейшая? — спросила одна из женщин. — Как вас зовут?

— О нет! — ответила старуха. — Этого я не скажу. Этого они никогда не узнают! — Потом она порывалась у себя в одежде, вытащила папироску и закурила.

Туан вдохнул дым и закашлялся. Тогда старуха снова порывалась у себя в карманах и вытащила кусочек сахара.

— На, Сверчок-Бурачок, возьми! — сказала она Туану. — Ребенку нужны витамины, ему нужен свежий воздух.

К вечеру старуха подружилась с Льен. Льен была взрослая женщина, но почти такая же маленькая, как

Туан. Старуха влезла на нары к Льен, и они принялись беседовать.

— Я христианка, — сказала старуха, — и я вращалась в порядочном обществе. Они не имеют права держать меня здесь.

Женщины послушали немного, а потом занялись своими делами. Лан рассказывала Туану сказку:

— В одной деревне жила бедная девушка. Руки у нее были, как два цветка лотоса, кожа нежная, как шелк, а волосы черные и тяжелые, как ночь. Она была очень красивой, но у нее не было ни отца, ни матери и, чтобы не умереть от голода, ей приходилось с утра до ночи работать на чужих людей. В той же деревне жил один богач, и у него была дочь — некрасивая, глупая и жадная. Но многие женихи сватались к ней ради богатства ее отца, а бедную девушку никто не хотел брать замуж.

Туан не всегда понимал то, о чем рассказывала Лан, но ему нравилось слушать ее голос.

— И вот случилось однажды, — говорила Лан, — что река, протекавшая мимо деревни, обмелела. Сначала она превратилась в тоненький ручеек, а потом иссякла совсем. Нечего стало пить. Люди, животные и растения мучались от жажды. Поля засохли, и весь урожай погиб. Тогда мужчины решили идти в верховье реки, чтобы узнать, куда подевалась вода. Они шли три дня, а на четвертый увидели огромный валун, лежавший поперек русла. Валун был такой тяжелый, что его не смогли бы сдвинуть даже сто человек. Из-за этого валуна река не могла течь вниз, а разлилась громадным озером по всему ущелью. В озере плавал Дракон. Это он перегородил реку и лишил людей воды. «Позволь нам взять хоть немного воды, — взмолились мужчины. — Мы погибаем от жажды. Вся наша деревня умирает от жажды». — «Хорошо, я дам вам немного воды, — сказал Дракон, — но за это вы отдадите мне самую красивую девушку в вашей деревне». Мужчины тотчас согласились и пообещали исполнить его желание. Они решили, что приведут Дракону сироту — ведь она была самой красивой девушкой в деревне и у нее не было родных, так что некому было даже плакать о ней.

Лан рассказывала, а за стенами тюрьмы ухали взрывы. Старуха снова вытатила свою папиросу и закурила. Потом она вдруг поссорилась с Льен, и они принялись

драться. Сначала они дрались руками, но старуха была очень старая и слабая, а Льен очень маленькая, и ни одна не могла победить. Тогда они пустили в ход миски. В камере поднялся звон, все проснулось и стали растаскивать их в разные стороны.

— Мой дед был француз! — кричала старуха. — У меня два сына полицейские! А ты — хамка! — Потом она расплакалась.

На другой день Льен помирилась с ней.

— Не сердитесь, почтеннейшая, — сказала Льен. — Мы все должны приспособливаться к существующим условиям. Я бы, например, хотела иметь отдельную камеру, но это невыполнимо.

Старуха простила ее, опять уселась к ней на нары, вытащила папиросу и закурила.

Потом в камере появилась еще одна старуха, а с ней двое внуков — мальчик и девочка. Мальчика звали Хоанг, а девочку Фыонг. Штаны у старухи были подвернуты, будто она только что работала на рисовом поле, а лицо залито кровью. Женщины пожалели ее и освободили для нее нары. Старуха села и стала смотреть на свои опухшие ноги. Хоанг и Фыонг забрались к ней за спину и просидели там целый день, не высываясь. Но на следующий день они сползли на пол, принялись бегать по камере и шнырять под нарами.

— Это безобразие! — сказала Льен. — Что это за новости? Почему они держат детей вместе со взрослыми? Они не имеют права! Для детей должны быть отдельные камеры.

Хоанг и Фыонг не обращали на нее внимания. Они придумали игру и Туана тоже приняли в нее. Хоанг сажился на нары, Фыонг садилась ему на колени, Туан сажился на колени к Фыонг, и все вместе они съезжали на пол и громко хохотали. Женщины вздрагивали и оглядывались на дверь.

— Дайте мне бумаги! — закричала Льен. — Я напишу заявление! Они не имеют права. Мы будем требовать! — Она подбежала к двери и принялась колотить в нее кулаками.

Дверь отворилась, из-за нее высунулась нога, обутая в черный ботинок, ударила Льен в живот и скрылась. Льен упала и зарыдала.

— Они не имеют права... — сказала она.

— Они хамы, — объяснила старуха с папиросой. — Они не знают, как нужно вести себя с дамой.

Она порылась у себя в карманах, вытащила скомканный клочок бумаги и протянула его Льен. Льен расправил листок и принялась что-то писать на нем. Потом она спрятала бумагу у себя на нарах под соломой. Хоанг дождался, чтобы Льен отвернулась, украл листок и смастерил из него самолетик. Самолетик взвился под потолок, к самому окошку, развернулся в воздухе и пролетел над всеми нарами.

— Я тоже хочу самолет! — закричала Фьонг. — Это будет мой самолет!

— Нет, мой! — закричал Хоанг.

Они стали бороться, и по камере разлетелись клочки бумаги.

— Я тоже могла бы нарожать детей, — сказала Льен, — но я себе этого не позволяю. Я понимаю, что в стране тяжелое положение.

— Дети — это глупости, — сказала старуха с папиросой, — я никогда не имела детей.

— Почтеннейшая, но вы говорили, у вас два сына полицейские! — напомнила Льен.

— Это другое дело, — сказала старуха.

Лан рассказывала сказку:

Когда девушка узнала, что должна идти к Дракону, она очень испугалась и огорчилась, но не подала виду и сказала людям: «Не бойтесь, со мной не случится ничего плохого. Я еще вернусь и принесу вам много воды». — «Как это ты принесешь много воды? — закричала дочь богача. — У тебя даже нет кувшина! Наберешь в свой дырявый нон?» Она была очень глупая и очень некрасивая, эта дочь богача, и с тех пор, как урожай на полях ее отца погиб, женихи перестали к ней свататься. «Что ж, — сказала сиротка, — в моем ноне может поместиться целая река».

— Я бы ни за что не пошла к Дракону, — сказала Фьонг. — Я бы убежала от него — вот так!

— Я бы тоже убежал от него! — сказал Хоанг.

Они оба повалились на спину в проходе между нарами и принялись болтать в воздухе ногами.

Потом в камере очутилась учительница. Она решила учить детей читать и писать, но у нее не было ни карандаша, ни бумаги, поэтому она стала учить их стихам и песням.

— «Мчатся тучи, вьются тучи,—говорила учительница,—невидимкою луна...» Вы знаете, что такое луна?

— Луна желтая! — закричал Хоанг. — Бабушка, правда луна желтая? Бабушка, луна желтая?

— Да,—говорила старуха.

— А вот и нет, а вот и нет! — закричала Фыонг. — Луна белая! Бабушка, правда луна белая?

— Да,—соглашалась старуха,—правда.

— Я рада,—говорила учительница,—что здесь есть дети. Я учительница, и мой долг учить детей.

— Луна круглая, как миска,—говорил Хоанг,—а месяц острый, как меч. Когда я вырасту большой, у меня будет меч, и я убью всех врагов и Дракона тоже!

— А вот и нет! — закричала Фыонг. — Месяц — это и есть луна. Правда, бабушка, месяц — это луна?

— Правда,—говорила старуха.

— Правда, бабушка, нет? — спрашивал Хоанг.

— Правда,—соглашалась старуха.

— Глупости,—заявила старуха с папиросой. — Вы только зря морочите детям голову. Дети должны учиться играть на фортепьяно. У меня два сына полицейские, и они играют на фортепьяно.

Ночью Туану снилось, что он, как бумажный самолетик, летает под потолком, а Хоанг и Фыонг бегают внизу и пытаются схватить его за ноги. Туан все сильнее поджимал ноги, но потолок делался все ниже, и бежать было некуда. Туан закричал от страха.

— Спи, сынок, спи,—пробормотала Лан, не открывая глаз. — Скоро придет папа и заберет нас отсюда.

— Когда он придет? — спросил Туан.

— Скоро,—сказала Лан. — Когда зацветет слива. Все стены рухнут, и все двери откроются.

Где-то далеко рокотали орудия.

Туан все смотрел на дверь, но она не открывалась. И вот однажды она наконец распахнулась. В камеру вошли высокие светлые люди. Они постояли между нар, сказали что-то на своем непонятном языке и ушли. Женщины принялись гадать, зачем они приходили.

— Это были американцы,—сказала Льен. — Я сразу их узнала.

— Это были русские,—сказала учительница. — Неужели вы не поняли, что это были русские?

— Теперь нас всех убьют! — заплакала Льен.

— Напротив, теперь нас выпустят,—сказала учительница.

Но ни того, ни другого не случилось — все осталось, как было.

— Глупости, — сказала старуха с папиросой, — это были англичане. Когда мы с мужем жили в Гонконге, там были англичане. Англичане очень культурные люди. А американцы — хамы!

Дверь больше не открывалась, женщины скучали и ссорились, Хоанг и Фыонг ни во что больше не играли и даже почти не дрались, а Туан начал кашлять. С каждым днем он кашлял все сильнее. Лан сажала его к себе на колени и рассказывала сказку:

— Прежде чем подойти к озеру, девушка отрезала свои прекрасные косы, привязала их к нону и положила на тот камень, что перегораживал реку. Потом она приблизилась к берегу и стала ждать Дракона. Дракон высунул из воды голову, увидел девушку и сказал: «Я думал проглотить тебя. Но ты слишком красива. Я сделаю тебя своей женой и ты будешь жить со мной в воде». — «Хорошо, — сказала девушка. — Только обещай мне выполнить одну мою просьбу». — «Что за просьба? — проворчал Дракон. — Говори, да побыстрее». — «Когда я умру, похорони меня на склоне горы. И положи на мою могилу этот камень». — «Обещаю», — сказал Дракон. • И тогда девушка бросилась в озеро.

— Глупости, — сказала старуха с папиросой, — это все враки. Ребенку надо дать аспирину, а не дурить голову драконами. — Она порылась в своих карманах и вытащила маленькую беленькую таблетку.

Таблетка была кислая, но Туану не стало от нее лучше. Ночью он стал задыхаться. Лан подняла ему голову повыше и принялась гладить его волосы.

— Девушка не могла долго жить в воде, — рассказывала Лан шепотом, чтобы не разбудить соседок, — и скоро умерла. Но когда она умерла, Дракон и сам чуть не умер от горя — так сильно он полюбил ее. Тридцать дней подряд он ничего не ел и не пил, а потом вспомнил свое обещание. Он закопал девушку на склоне горы и поднял камень со дна ущелья. Но едва он сдвинул камень, как река тотчас устремилась вниз и потекла, как прежде, в деревню. А косы девушки, привязанные к ее нону, упали в воду. И река унесла их с собой. Услышав шум воды, люди в деревне выбежали на берег и закричали: «Смотрите, смотрите! Она вернулась! И сколько воды она принесла в своем ноне!»

— Хамы! — сказала старуха. — Они не дают мне папирос. У меня кончились папиросы. Я не могу жить без папирос!

— «Мороз и солнце, — читала учительница, — день чудесный». Дети, вы знаете, что такое солнце?

Грязный шершавый потолок надвинулся на Туана и стал давить ему на грудь. С потолка свешивалась голова Дракона. Туан хотел отпихнуть ее, но не мог. Дракон разинул пасть, Туан рванулся в сторону, изо рта у него хлынула кровь, и он упал на нары. Лан поднялась на корточки и протянула руки к окошку.

— Подождите! — сказала старуха. — Я христианка, и я знаю, что надо делать. Дайте мне его! Дайте мне сюда Сверчка-Бурачка!

Туана опустили на пол, старуха села возле него и заплакала. И все женщины в камере тоже заплакали.

Где-то далеко гудели и бухали взрывы.

Ни день рождения, ни дата смерти Туана не были отмечены в тюремных книгах, потому что статистика в тех краях была неполной и лживой.



---

## ГОЛОС

Нужно было копать, а Андрей с трудом удерживал лопату — рука болела. Фельдшер утром перевязал, но от работы не освободил. Надо было копать. Андрей старался нажимать ногой и как-нибудь подтягивать за черенок левой рукой. Правая только пылала и держать не могла. Нужно было управляться одной левой.

Голос пел по-итальянски, чисто и высоко. Детский мальчишеский голос.

Рука донимала. Раздулась, как подушка, и терзала невыносимо.

А голос все пел и пел. Андрей прислушался к нему и вдруг подумал: «Откуда здесь этот голос?..» Он оглянулся — с удивлением и больше со страхом. Товарищи его трудились, копали, а охрана наблюдала. Здесь неоткуда было взяться итальянскому мальчику с таким дивным голосом. «Плохо дело», — подумал Андрей и перестал копать. Он стоял, опершись на лопату, и пытался вспомнить, где он мог слышать этот голос. Возник охранник, приблизился и ударил. Наверно, еще и сказал что-то, но Андрей не расслышал. Он лежал теперь на насыпи, лицом вверх, лопата сползла, утащив за собой черенок, и обе руки, и правая, и левая, были свободны. Андрей смотрел в небо, голубенькое, расплывающееся кругами, будто кто бросал в него камушки. Голос лился, приподымал и уносил... Голос тек и увлекал за собой.

Почему он пел по-итальянски? Андрей знал английский, французский, немного немецкий (со словарем), а итальянского никогда не знал и не учил.

1966

## СПРАВКА

Ворота были заперты, но Валерий постучал в железную дверь проходной, и маленькая форточка, крест-накрест перехваченная железными прутьями, сразу откинулась.

— Ну, чего? — спросили белесые растрескавшиеся губы.

— Мне войти, — сказал Валерий. — Я должен кое-что выяснить. У меня вещь пропала. На складе.

— Какая еще вещь? Закрыто все, — буркнули из окошечка. — Завтра приходи, если надо. Ходят тут, психи! Ни днем, ни ночью отдыха нет.

Валерий испугался, что форточка захлопнется, и придержал ее рукой.

— Подождите! Куда же я пойду? Я тут никого не знаю, некуда мне идти. Я сейчас шесть километров от станции прошел, поезд вечером прибывает.

— На свидание, что ли? — сказал другой голос, принадлежащий кому-то, кого Валерий не видел.

— Ты, может, на свидание? — переспросил стоявший ближе.

Валерию показалось, что ему подсказывают нужный ответ. Он ведь ясно сказал, что на склад, но, видно, если на склад, то не впустят, а если на свидание, то могут выпустить. За десять лет он выучился понимать такие намеки — вот вроде бы человек даже не против сделать тебе что-нибудь доброе, но сам не сделает, пока ты не пойдешь ему навстречу, не подскажешь какой-то такой причины, почему он может это сделать.

— Да, на свидание, — сказал Валерий.

И в общем-то не соврал. В самом деле, ведь склад был только предлогом, не более, чем предлогом, не мог же он всерьез рассчитывать найти то, что пропало три года назад. А может, даже не три, а все тринадцать, и не

здесь, а совсем в другом месте, куда не требовалось ехать поездом с двумя пересадками и топать шесть километров в мороз по снегу.

— Паспорт давай,— сказал человек по ту сторону двери.

Разбухшими окоченевшими пальцами Валерий вытащил из кармана серый паспорт.

— Ну что, выпустить, что ли? — посоветовался голос.

— Да шут с ним,пусти,— сказал другой.

Заскрежетали засовы, и дверь, громохая, отъехала в сторону. Валерий шагнул в проходную, каменную будку при воротах, размером два метра с половиной на три, с двумя дверями, внешней, в которую его пустили, и внутренней, всдущей в тюремный двор. Под крохотным окошком помещалась длинная деревянная лавка, над ней на стенке висел железный аппарат телефона, а в углу жарко пылала печка. Валерий распахнул пальто, но ближе к огню не придвинулся, не желая показаться наглым. Холод потихоньку вытекал из его тела, и его начало знобить. На стене напротив лавки на двух кусках ватмана, склеенных коричневым канцелярским клеем, было выведено: «Народ и партия едины».

Один из находившихся в проходной оказался мужчиной, а другой — женщиной. У обоих были широкие, будто опухшие лица, но у мужчины голову покрывала матерчатая ушанка, а у женщины — платок, перекрещенный на груди и завязанный концами за спиной.

— Кто ж это у тебя тут? — спросила женщина, усаживаясь на лавку.

Валерий посмотрел на нее, стараясь угадать, что она имеет в виду.

— К кому приехал-то?

Тут Валерий понял, заволновался, глупо и совершенно излишне взмахнул руками и дернул себя за отвороты пальто. Сказать или не говорить? Но нужно, верно, сказать, иначе как же?..

— Я хочу видеть... Вы понимаете кого. Мне надо. Я знаю, что он тут. Мне точно известно, что он тут. Я раньше в Москве пытался, но не удалось. Вы не подумайте, это не любопытство. Я десять лет при нем отсидел. Ведь это не шутка — десять лет! Конечно, не я один, многие так, но я... Я ведь мальчишкой был.

— То-то я смотрю, паспорт у тебя с судимостью,— усмехнулся мужчина и, накренившись на бок, вытащил из кармана ватника пачку папирос.

— А за что посадили-то? — спросила женщина без особого интереса, но чтобы поддержать разговор.

— Из-за самолета. Я самолет в клуб принес. А там на бильярде играли. Он прямо на стол упал. Это, конечно, глупость была. Но десять лет!

— А, так ты самолетчик! — удивилась женщина.

— Вообще-то это не самолет был, планер. Это его следовательно после самолетом назвал. На самом деле это планер был. Модель планера. Я его там же в клубе и смастерил, в кружке «Юный авиатор». Они сперва даже не поняли, когда он на стол упал...

— А кто играл-то? — спросил мужчина, постукивая пачкой по ладони и вытряхивая через оборванный уголок папироску.

— Где играл?

— Да где же, на бильярде!

— Я не знаю, меня это не интересовало...

— Главное, кто играл, — сказал мужчина назидательно.

— Да нет, какое это имеет значение!

— Если начальство, так большое значение имеет.

Мужчина закурил и тут же тяжело закашлялся.

— Нет, при чем тут начальство. Просто двое играли. А еще несколько так, рядом стояли, смотрели. Он когда на стол шлепнулся, они подумали — нечаянно. Один даже взял и мне бросил. Я прекрасно помню: чего, говорит, дурака валяешь? Другого места тебе нету? А я опять запустил...

— Чего запустил? — спросила женщина.

— Самолет. То есть не самолет, а планер. Мне ведь тогда шестнадцать лет было, я и не думал, что так оно обернется. Разве можно за это такой срок?

— Почему же нельзя? — сказал мужчина, продолжая кашлять и отплевываться. — Срок всегда получить можно. Очень даже просто. Тем более, самолет.

— А чего ж ты его на стол-то пускал? — поинтересовалась женщина.

— Я хотел... Не знаю... Чтобы обратить внимание. Ведь пассажирский самолёт. Женщины, дети. Мне тогда это ужасно показалось... Страшно это. — Валерий прикрыл глаза рукой. — Ведь страшно это, как подумаешь...

Женщина на лавке вздохнула.

— Кто тебе сказал, что пассажирский? — пробурчал мужчина. — Шпион он был.

— Значит, вы верите? — огорчился Валерий. — Но как этому можно верить! Ведь там люди...

— А что? Люди ему не помеха,— заметил мужчина.— Небось объект выслеживал.

— Какой объект? Ну, какой объект?

— Да мало ли! Может, к примеру, тюрьму нашу сфотографировать хотел.

— Тюрем много,— подтвердила женщина.

— Да, тюрем много,— вынужден был согласиться и Валерий.— Но это ужасно.

— Ужасно!— хмыкнул мужчина.— Я бы, парень, на месте твоего следователя тебя не в тюрьму, а в дурдом направил. Это ж сразу видно, что ты чокнутый.

— А может, он от тюрьмы такой стал,— вступилась за Валерия женщина.

— Прямо уж, стал! Всегда такой и был.

— Это вы потому так говорите, что вы не все еще знаете,— попытался объяснить Валерий.— Это ведь не простой планер был, я ведь ему название написал.

— Какое еще название?

— Название...— Валерий помялся.— «Боинг-707».

Мужчина присвистнул, весь как-то подтянулся, выпрямился, тверже поставил на пол ноги в громадных серых валенках с галошами и взглянул на Валерия поновому.

— Так это, я тебе скажу, ты еще мало получил!

— Но ведь на самом деле это был не «боинг», это была модель планера...

— Зачем же ты такую глупость писал?— спросила женщина.

— Может, и не чокнутый,— произнес мужчина, продолжая приглядываться к Валерию.— Может, нарочно придуривается.

— Но как же так можно?— спросил Валерий тоскливо.— Двести человек на дно, и в бильярд играть?

— А тебе, выходит, больше всех надо?— покачала головой женщина.

— Нет, вы сами подумайте!— Валерий заметался по будке, едва не задевая ноги сидящих.— Ведь если кто тонет, а на берегу видят, ведь бросаются, спасают!

— Которые дураки бросаются, а которые умные своей дорогой идут,— заявил мужчина, почесывая валенок об валенок.

Валерий остановился, посмотрел на него испытующе и не поверил.

— Не знаю... Я раньше так представлял: если где

беда, люди должны помогать друг другу. Ведь если не жалеть никого... Что же это получается?

— А если всех жалеть, так и **его** пожалеть надо,— сказала женщина.

— Нет, это не то,— возразил Валерий.— Я не об этом. Что ж его жалеть? Он ведь никого не жалел. Но я понять хочу. Ведь иначе... Бессмыслица какая-то получается. Сидят люди — неизвестно за что, неизвестно зачем.

— Чего ж — неизвестно,— засмеялся мужчина.— «Дело» на каждого есть, значит, за дело и сидят.

— Меня когда сюда перевели, мне жутко было, я нового места боялся, людей незнакомых боялся, а тут коридорный увидел меня и говорит: «Еще одного жидочка доставили. Я бы вас,— говорит,— не сажал, а сразу вешал. Или хоть правую руку отрубал, чтобы не воровали». Как будто я украл что-то.

— Ты, значит, еврей? — спросил мужчина.

— Я ведь вам паспорт показывал.

— А я в эту графу не смотрел, я серию смотрел, по серии видно, сидел или не сидел.

— Это ты на Сидоренко попал,— сказала женщина.— Он евреев не любил.

— А кто их любит,— заметил мужчина.

— В прошлом году помер,— сообщила женщина.— Как раз комнату получил — двенадцать лет на очереди стоял, а получил, два месяца пожил и помер.

— Умер, значит...— Валерий покачал головой и прошелся по будке.— Сидоренко, да... Сидоренко Иван... Я вначале подумал: какой злобный человек. Но вообще-то он ничего был... Он не злой, нет, он... Как бы это сказать? Добросовестный был. Все, как положено, делал. Хотя, конечно, какое тут добро? Но совесть в нем все же была, какая-никакая, а была...

— Езжай-ка ты лучше домой,— вздохнула женщина.— Чем дурью-то маяться. Чего ты тут забыл, скажи на милость?

— Это вы, конечно, правильно говорите,— согласился Валерий.— Ничего не забыл. Но вообще-то... Вещь-то мне все-таки не додали. Пропала, говорят. Я из-за этого.

— Что за вещь? — осведомился мужчина деловито.

— Трусы.

— Чего?

— Трусы,— повторил Валерий.

— Подштанники, что ли? — не поверил мужчина.

— Нет, почему же подштанники — обыкновенные трусы. Синие, сатиновые. Все вещи отдали, костюм габардиновый отдали, а трусов, говорят, нету. Пропали, говорят.

— Не ври, — сказала женщина. — Откуда у такого засранца габардиновый костюм?

— Я не вру, — смутился Валерий. — Он у меня и теперь есть, костюм этот, мне родители на день рождения купили. Я когда в клуб шел, нарочно все самое хорошее надел.

— Евреи они, забыла? — сказал мужчина. — У них есть.

— Так ты что, за трусами сюда приехал? — спросила женщина.

— Ну да, получается, что за трусами.

— Дурак, — определил мужчина и сплюнул.

— Ну почему же — дурак? — запротестовал Валерий. — У меня справка есть.

— Справка у психов у всех есть! — усмехнулся мужчина.

— Да нет, справка, что трусы недодали.

— Врешь! — сказал мужчина.

— Вы ничему не верите. Можете посмотреть, если не верите. — Валерий полез во внутренний карман пиджака, извлек оттуда несколько бумажек, выбрал из них одну, сложенную вчетверо, и протянул мужчине.

Женщина тоже наклонилась поближе — прочесть бледные лиловые строчки.

— Гляди, Гражитный подписал! — сказала она с уважением.

— Верно, — подтвердил мужчина. Заплывшие его глазки от удивления раскрылись пошире.

— И печать имеется, — продолжала женщина.

— Ясно, — сказал мужчина, — если уж подписал, так и печать поставил.

— Как же это Гражитный тебе такую бумагу выдал? — не могла успокоиться женщина. — Поражаюсь!

— А он сперва чужие трусы мне пытался подсунуть, — принялся рассказывать Валерий. — Тоже сатиновые, только посветлее и с полосочкой беленькой. Но я не взял. Не имеете права, говорю, заставлять чужое брать! Я, говорю, в таком случае в Москву поеду и жаловаться буду. Ну, он тогда и растерялся. Время тогда такое было — непонятное. И так уж, видно, решил: лучше справку выдать. Что ж ему, в самом деле? Не погибать же из-за каких-то трусов проклятых! Так и выдал...

— А вы, евреи, за копейку удавитесь,— заметил мужчина.

— Тут не в деньгах дело,— возразил Валерий.— Мне, конечно, трусы жалко было. Я за десять лет сколько раз эту минуту себе представлял, когда в них влезу. Ведь что в тюрьме делать? Сидишь себе и мечтаешь о чем-нибудь хорошем. Например, как одежду свою получишь, как домой поедешь... Я, может, за десять лет каждую складочку, каждую ниточку на них вспомнил. А они пропали.

Валерий взглянул на женщину, и ему показалось, что, поправляя на голове платок, она украдкой растерла по щеке слезу.

— Чего ж, если бумага есть, обязаны вернуть,— сказал мужчина.

— Да где ж их теперь найдешь? — со всхлипом пробормотала женщина.— Раньше наде было... Чего ж раньше-то не требовал?

— Я требовал, да не нашли. И вообще разве в этом дело? Я ведь не за трусами, мне его увидеть надо.

— Да кто ж тебе его покажет! — Женщина безнадежно махнула ватной рукой.— Нельзя его видеть. Мы тут сколько времени находимся, а и то ни разу не видели. Тут уж многие пытались...

— Как-нибудь увижу,— пообещал Валерий.

— Да как?

— Не знаю. Войду и увижу.

— Да как войдешь?

— Скажу, на склад. Справка-то есть.

— Справка правильная,— подтвердил мужчина.— Только, допустим, и увидишь, как узнаешь — он или нет? Думаешь, по портретам? Много будто он на эти портреты похож!

— Тюрьма хоть кого разукрасит,— по-своему истолковала женщина.

— Узнаю! — сказал Валерий.— Его нельзя не узнать. У других такого лица не бывает.

— А то, говорят, его и в живых-то нету,— продолжала женщина.— Тогда будто сразу и убили. А это только слух один, что в тюрьме сидит.

— Какой же слух? — изумился Валерий.— Это все в газетах было: культ личности, злоупотребление властью.

— В газетах! — хмыкнул мужчина.— Ты на газету не надейся, ты свою голову имей. Станут тебе такого человека в тюрьме держать, как бы не так!

— Большой человек был,— согласилась и женщи-



на.— А может, и не убили, может, живет себе где в свое удовольствие. Кто знает...

— Да на что и знать-то? — заметил мужчина.— Ни к чему!

— Как же так — ни к чему? — запротестовал Валерий.— Он у меня десять лет жизни отнял! Зачем, ради чего?

— Так все равно ведь не вернет! — Мужчина засмеялся и тут же снова закашлялся.

— Нет, вы поймите! Вы только представьте себе: десять лет! Ни за что ни про что! Сколько зачеркнули, сколько вычли из жизни. Ведь я мог бы — да мало ли — учиться мог бы, девушек любить, в походы на байдарке ходил бы...

— Вперед надо было думать, — сказал женщина строго.— Когда планер свой запускал.

— Так мне ведь шестнадцать лет было. Мальчишка! Что я понимал?

— Вот, которые не понимают, тех и учат, — проговорил мужчина, щелчком отбрасывая окурок.

— Я, может, жить хотел... Строить, может, мечтал... Петь, летать... А меня взяли — и за решетку.

— Ишь ты, летать! Много тут вас таких — летунов. Ловить устанешь.

— Ты не жалуйся, — сказала женщина, — другие еще не такие срока получали. Ты вон живой вышел.

— Я не жалуюсь. Но вы подумайте, что вы говорите — выходит, отсидел десять лет неизвестно за что, и еще радоваться надо.

— Как это, неизвестно за что? — возмутился мужчина.— А в клубе кто — Пушкин хулиганил?

— Теперь за это не сажают, — сказал Валерий.

— За это ли, за другое, а пустая тюрьма ни одного дня не стоит. Езжай-ка ты лучше домой, — вздохнула женщина.— Небось, мать у тебя есть, ее пожалей.

— Мать у меня есть, — сказал Валерий.— Только не здесь.

— А где ж?

— Далеко.

— Дальше наших мест не бывает, — усмехнулся мужчина.

— У меня родители в Израиле, — признался Валерий.— И мать, и отец.

— Ишь ты! А ты чего ж тут остался?

— Так я же в тюрьме сидел.

— Чего ж они тебя бросили?

— Да нет, они не бросили, они все делали, что могли, в Москву ездили, пересмотра добивались, а уж после решили в Израиль ехать, думали, может, оттуда меня вытащить удастся, только не помогло. Так уж оно получилось — они там, а я здесь. Тяжело им, конечно. Я как вышел, сразу на выезд подал, только мне отказали. Тогда почему-то отказали, а теперь вдруг выпускают, открытка из ОВИРа пришла, вот. — Валерий полез в карман и вытащил беленькую открытку. — Я потому теперь сюда и приехал, что уж в последний раз. А то после не прошу себе, всю жизнь казнить буду: мог ведь увидеть и не увидел!

— Чудно получается, — проговорил мужчина, с явным неодобрением разглядывая открытку. — Одни, значит, тут сидят, а другие в Израиль едут. Цирк!

— А что, — спросила женщина, — в Израиле этом — одни евреи живут?

— Тебе-то что? — покосился на нее мужчина. — Или тоже собралась?

— Дурак! — отмахнулась от него женщина. — Если одни евреи, так у кого ж они там воруют? Друг у дружки, что ли?

— Ну почему воруют! — воскликнул Валерий. — Почему обязательно — воруют? Они работают. Вот у меня отец инженер, а мать — врач. Работают, зарплату получают.

— Работают! — покачала головой женщина. — Ты вот на нашей работе попробуй поработай... А может, и нет его вовсе, Израйля этого, — прибавила она, помолчав. — Может, так только болтают...

— Как же так — нет? — засмеялся Валерий. — А израильская агрессия? Каждый день в газетах пишут.

— Агрессия — это другое, — не уступила женщина. — А я так думаю, если б он был, так и не пускали бы никого.

— Ишь ты! — сказал мужчина. — Баба-баба, а не дура!

Валерий хотел возразить, объяснить что-то, но сдержался и отошел в угол к печке. Женщина вздохнула, поерзала на лавке, устраиваясь поудобнее, сошлась с мужчиной плечом к плечу и затихла в своем ватнике. Валерия тоже разморило в тепле. Место на лавке оставалось, но он понимал, что не должен садиться. Привалившись к стене, он закрыл глаза и стал дремать. Мысли у него совсем уже стали путаться, когда зазвонил те-

лефон. Мужчина сонно потянулся, поднялся на ноги и снял трубку.

— Восьмая слушает,— сказал он, зевая.— Зину? Какую такую Зину? — Голос его сразу посвежел и окреп.— Паняеву?

Женщина тоже встала. Мужчина подмигнул ей, но трубку передавать не спешил.

— Паняеву вызывают! — закричал он вроде бы в сторону от телефона и продолжал в трубку: — Какую Паняеву? Из охраны? Сейчас выясним. Паняеву кто видел?

Женщина наседала на него, он уворачивался и оборонялся локтями.

— А кто спрашивает? Муж? По какому вопросу? Личному? Сейчас придет! — Он вскочил на лавку и отбивался теперь от молчаливо наступавшей напарницы ногой.— Послали за ней. Послали, говорю! Идет уже, кажись. Вот она, тут!

— Дурак! — сказала женщина и обратилась наконец к трубке: — Ну, чего звонишь?

«Блядущь?» — донеслось оттуда отчетливо.

— У тебя одно на уме,— произнесла женщина с обидой.— Тут работаешь, работаешь...

«Знаем мы, как вы работаете! — гремела трубка.— Погоди, разгоню всю вашу лавочку блядскую!»

Валерий старался не показать, что слышит разговор. Мужчина веселился от души, вся его суровость пропала, он притоптывал галошей, взмахивал руками, хлопал себя ладонями по ватным штанам и даже раскачивался от смеха и кашля, которые душили его попеременно. Женщина поговорила недолго, повесила трубку и уселась обратно на лавку.

— Чего звонил? — спросил мужчина.

Она не ответила.

— Ты чего, Зин? — продолжал он, пристраиваясь рядом и подталкивая ее локтем в ватный бок.

— Отвяжись,— сказала она хмуро.

Мужчина насупился и отодвинулся от нее, но через минуту снова заговорил:

— Слышь, Зинка! Давай я ему тоже позвоню. А что, попугаю его, сволочь, малость. Пусть не радуется, милиция!

— Не вздумай! — запретила женщина.

Но он все же набрал номер и фальшивым гнусавым голосом потребовал:

— Паняева! Кто спрашивает? Спиридонов! Это ты,

Паняев? Ты что же это, Паняев, служебный телефон в личных целях используешь? А? Ты мне не крути, Паняев! У нас тут каждый разговор на ленту записывается. А ты как думал? Так вот, Паняев, я этот твой разговор завтра к тебе в парторганизацию перешлю, пускай там послушают. Не о чем нам с тобой, Паняев, разговаривать! У нас тут объект, а не бардак! Все, беседа наша с тобой, Паняев, окончена! — Повесив трубку, он снова толкнул женщину в бок и принялся радостно докладывать: — Не звонил, говорит, не я это, говорит. Видала? Полные штаны наложил!

— Отстань, — сказала она.

— Это у нее второй муж, Паняев этот, — объявил мужчина Валерию. — В милиции работает. Как в ночь дежурит, так и звонит — проверяет, чем она тут занимается. Проверь — не проверь, не поможет, верно, Зинка?

— Отцепись ты.

— Первый-то ее мужик вроде тебя дурак был, — продолжал мужчина. — Десятку схлопотал. А она чего надумала — следом прикатила, поблизости, значит, хотела быть. Вишь, блажь какая! Что за близость, если свиданий не положено. Ну, он вскоре взял да и загнулся, дурак-то ее. Всех, выходит, обманул. А она, Зинка-то, с горя едва не удушилась!

— Не брешь, — сказала женщина.

— Чего мне брехать? Я не брешу. Верно говорю. Она у нас декабристка, Зинка-то. Зинка, ты ведь у нас декабристка!

Женщина ничего не сказала, посидела еще немного, потом поднялась и направилась к печке. Поворочала прогоревшие полешки, подложила новых, закрыла дверцу, но обратно к лавке не вернулась, а шагнула к двери во двор.

— Пошла я, — бросила она, не оборачиваясь, и скрылась за дверью.

Как только она вышла, Валерий тотчас пожалел, что не спросил фамилию мужа. Ведь не исключено, что были знакомы, может, в одной камере довелось сидеть, может даже, у него на руках и умер — ведь случалось такое... Почему же не спросил? Надо было спросить. Может, догнать ее? Валерий глянул на мужчину. Тот сидел, опустив плечи, уронив голову на грудь и нахлобучив

ушанку на глаза. Стараясь ступать бесшумно, Валерий придвинулся к двери и потянул ее. Дверь подалась. Мужчина не шевельнулся. Валерий выскользнул во двор и притворил за собой дверь.

Двор был знаком ему. Где-то рядом утрюмо надрывались голодные псы. Окрепший с вечера ветер крутил поземку и раскачивал мутные лампы, укрепленные вдоль стены. Косой луч прожектора, плотно забитый снежным мельтешением, высвечивал кумачовый лозунг над тюремными дверьми. Перебегая двор, Валерий успел разобратъ: «Решения партии и правительства претворим в жизнь!»

Внутри здания он проник без труда. Все здесь выглядело по-прежнему, исчезли только решетки между этажами. «Либерализация»,— догадался Валерий. Минув несколько пролетов, он скользнул в боковой коридор и двинулся осторожно вдоль одинаковых дверей.

— Прибыл, Дризин,— прозвучал за его спиной знакомый голос.— Одобряю.

Валерий обернулся и увидел надзирателя Сидоренко.

— Иван Афанасьевич,— пробормотал он в растерянности.— А мне сказали...— Он едва не прибавил: «что вы умерли», но вовремя спохватился:— Что вы уже не работаете...

— Как же— не работать!— ответил Сидоренко бодро.— Кто не работает, тот не ест!

И тут Валерий почувствовал, что тюремное здание наполнено звуками. За дверями кричали, плакали, пели, звали на помощь, смеялись.

— Шумно у вас тут стало...

— Пускай погалдят,— отозвался Сидоренко благодушно.— У нас нынче декада такая— культурно-массовая. А ты, Дризин, правильно сделал, что в нашу систему пошел работать. Тюрьма— место надежное. К тому же и зарплата. А что сидел, не смущайся. Тут многие так: отсидел свое, и в охрану. А что? Спецодежда, харчи, чего еще надо?

— Да нет, я только так, ненадолго; взглянуть,— пробормотал Валерий.

— Чего глядеть! Гляди— не гляди, лучше ничего не сыщешь.

— Я ведь, Иван Афанасьевич, уезжаю,— сказал Валерий.— Насовсем. В Израиль.

Но Сидоренко и это не смутило.

— А чего? Почему не поехать? Ты ведь еврей. Главное, чтобы в своей системе. А так, я понимаю, за границей даже лучше: командировочные.

— Нет, какие командировочные,— испугался Валерий.

— Справишься! — продолжал Сидоренко. — Опыт у тебя есть. Это врут, что от перемены места сумма не изменяется. В твердой валюте оно надежнее.

«Какой общительный стал,— подивился Валерий,— прежде, бывало, слова лишнего не скажет».

— Опять, выходит, вашему брату, еврею везет. Умете устраиваться!

Валерий промолчал. Они двигались какими-то переходами, спускались по одним лестницам и подымались по другим.

— Где это мы?..

— Не узнаешь? — воскликнул Сидоренко радостно. — Расширяемся! Новый корпус пристроили.

— Пи-и-ить! — донеслось из-за ближайшей двери. — Дайте пить!..

— А я ведь давно тебя ждал,— сказал Сидоренко, не обращая внимания на крик. — Чувствовал, что вернешься.

— Иван Афанасьевич, пить просят,— сказал Валерий, пытаясь остановиться.

— Хитрят! — отмахнулся Сидоренко. — По ночам есть-пить не положено.

— Заставляют, чтобы в соревнованиях участвовали, а пить не дают! — кричали из-за другой двери. — Своей команде победу куют!

— Молчи, сволочь! — рявкнул Сидоренко на ходу, увлекая Валерия дальше в глубь коридора. — Соревнования им, паскудам, устраивают, аттракционы всякие — думают, они благодарны будут, спасибо скажут! Как же, дождешься от них!

— Что за соревнования? — спросил Валерий.

— Через стену ссать. Кто перессыт, тому лишняя пайка, а кто недосыт, тому — знаешь сказочку? — голова с плеч. Тут только одно учеть надо — не всякую стену перессышь, понял? А то еще по дрисне конкурс бывает. У тебя, кстати, и фамилия подходящая — Дризин! Вроде как Дрищин, — он засмеялся и покровительственно хлопал Валерия по плечу.

— Пить!!! — гудел этаж.

— Что ж про дружка своего не спрашиваешь? — продолжал Сидоренко.

— Которого?

— Сережку Шестопалова.

— Так он раньше меня вышел.

— Раньше вышел, раньше вернулся! От тюрьмы далеко не уйдешь.

Они стояли теперь в тупике без окон и дверей. Валерию стало не по себе.

— Душно здесь, угарно, — пробормотал он в тоске. — Дышать нечем...

— Новую котельную в строй ввели! — объявил Сидоренко с гордостью. — Глянь!

Он нагнулся и приподнял чугунную крышку в полу — наподобие тех, кто закрывают канализационные люки. Из-под крышки пахло смрадом и гарью. Валерий увидел бесконечно уходящую вниз шахту, освещенную бьющимся где-то в глубине желтым пламенем.

— Отчего же такая вонь? — спросил он, отступая. — Чем это топят? Утильсырьем, что ли?

— Зачем утильсырьем? Дерьмо конкурсное используем! Чтобы даром не пропадало. Шучу, Дризин. От самого центра обогреваемся, от ядра земного. Есть план соединить все тюрьмы с земным ядром. В единую систему!

«Это невозможно», — хотел сказать Валерий, но разглядел на стене лозунг: «Пятилетний план выполним и перевыполним!» — и промолчал.

— Так что, Дризин, никуда ты от нас не скроешься. И в Израиле твоём, если надо, достанем. Имей в виду! Ну ладно, будь здоров, заболтался я с тобой, а работа стоит. Нехорошо это, не положено. Бывай, Дризин, не обмани доверия. Еврейчикам своим привет передавай, когда увидишь. — И с этими словами исчез в глубине коридора.

Валерий остался один. Осторожно обойдя открытый люк, он двинулся наугад вдоль стен. В недрах тюрьмы теперь было тихо, ни единого звука не возникало за закрытыми дверями. Приблизившись к одной из них, Валерий глянул в волчок.

Посреди ярко освещенной камеры стоял Великий Диктатор. Гладкую желтую лысину украшали знакомые всему миру усы. Валерий пытался убедить себя, что видит затылок, что Диктатор стоит к нему спиной, но понимал, что это неправда, — просто лица нет и не было, никогда

не было. Диктатор слегка приседал и взмахивал тонкими старческими руками. На ногах у него сверкали новенькие тугие сапоги, а на дряблом оплывшем теле не было ничего, кроме трусов.

И Валерий узнал эти трусы. Это были его собственные трусы. Его пропавшие трусы! «Так значит, не затерялись, а *были украдены*», — подумал он с изумлением. Не случайно, значит, Сидоренко и эта женщина, Зина, все толковали о воровстве... Так вот из-за чего — из-за какой малости! И как все было предусмотрено, спланировано, вычислено: курс самолета, траектория сбившей его ракеты и даже точка приземления планера, созданного в кружке «Юный авиатор». Убийство с целью ограбления. С целью похищения синих сатиновых трусов. «Они даже знали, что я пойду в клуб, они и это предвидели!» Какая могущественная система, как детально все продумано...

Фигура медленно поворачивалась, но и с той, другой стороны, которую тоже в равной мере можно было назвать и задом, и передом, не было ничего, кроме желтой лысины и черных усов. Продолжая приседать и вращаться, Диктатор потянулся руками к резинке трусов и начал не спеша стаскивать их с бедер, так что открылись вершины двух белых нулей. Валерий отскочил от двери и налетел на кого-то, стоявшего за его спиной. Он обернулся и увидел женщину в ватнике. Но это была не Зина из проходной, это была его собственная мать, и под ватником на ней было надето обычное демисезонное пальто, а под платком на голове виднелась шляпка, отделанная черным бархатом.

— Мама? — сказал он, пораженный. — Как ты узнала, что я здесь? Ведь ты же в Израиле!

— Нет, сыночек, — пробормотала мать смущенно. — С чего ты взял? Я не в Израиле. Кто тебе сказал? А ты? Мне казалось, ты уже вышел...

— Что ты тут делаешь? — спросил он, снова ощутив озноб.

— Видишь ли... Как тебе объяснить? Я не хочу тебя обманывать. Ты уже взрослый, мой мальчик. Ты должен понять... Я пришла к нему.

— К нему? — повторил он. — Зачем?

— Не сердись, — прошептала она. — Он настоящий мужчина...

— Это ничтожество? — Валерий засмеялся. — Мама, ты знаешь, ведь это он украл мои трусы!



— Не говори так,—пролепетала она.— Пожалуйста... Не смей так говорить! Все-таки он твой отец...

— Мой отец? Что ты хочешь этим сказать? Как это может быть?

— Что же тут странного? Ты же знаешь, что я старая комсомолка.

Он посмотрел на нее. Она не выглядела комсомолкой, но и старой ее нельзя было назвать. Наоборот, она как будто даже помолодела за те тринадцать лет, что они не виделись.

— А Григорий? — спросил он с последней жалкой надеждой.

— Он очень порядочный человек,—ответила она поспешно.— Он всегда относился к тебе прекрасно. Даже когда ты попал в тюрьму.

— Но как ты могла? — простонал Валерий.— Неужели ты не понимаешь, что ты наделала?

— Глупости! — сказала она.— Идея была хорошая. Если бы ты вел себя умнее, ты многого мог бы добиться.

Валерий ухватился за стенку. «Учение Маркса непобедимо,—поплыло у него перед глазами,—потому что оно верно! Учение Маркса верно, потому что оно непобедимо! Учение Маркса невредимо, потому что необходимо, учение Маркса неотделимо, потому что непобедимо, учение Маркса неотвратимо, потому что необратимо, учение Маркса неотделимо, потому что оно едино...» Рядом крутилась фигура Диктатора — голова, обернутая усами, узкие плечи, тощие бедра и сверкающие сапоги. А вокруг проносились стены и лозунги, ушанки и платки, самолеты и пассажиры, надзиратели и плакатописатели.

— Остановись! — сказала мать.— Еще не поздно. Одумайся! Никто не требует, чтобы ты публично признал свои ошибки. Тебя простят, ты увидишь. Кто в молодости не ошибается? О, какая у нас была молодость! Как мы мчались в этой телеге — потом, ты знаешь, поэты называли ее тачанкой... И твой отец впереди всех! Ты тоже можешь начать все сначала, я уверена — как будто ничего не было. Сыночек, сделай это ради меня! Умоляю тебя — не упряйся. Перестань быть лучше всех! Зачем ты меня мучаешь?

Он пошатнулся.

— Ну скажи же хоть что-нибудь! Ответь мне! Почему я так несчастна? — Она зарыдала и протянула руки, ста-

раясь удержать его.— Вспомни, сколько я для тебя сделала! Ведь все это было ради тебя!

Валерий покачнулся, подался назад, остушился и рухнул в зев котельного люка, подстроенный предусмотрительным Сидоренко. Кровь ударила ему в голову, но он не задохнулся, не потерял сознания и постепенно даже свыкся со своим новым положением. Падение было долгим. Чтобы чем-то занять время, он, как когда-то в камере, принялся играть сам с собою в шахматы. Но ничего не получалось: ржавые балки, винты и гвозди, торчавшие из стен, били и раздирали в кровь его тело, и все это мешало сосредоточиться и запомнить ходы противника. Валерий попытался ухватиться за что-нибудь, но руки встречали только трухлявые гнилушки да зловонную слизь, облепившую стены. Пока он падал, пламя внизу отступало все дальше. Не найдя для себя никакого занятия, Валерий начал размышлять о природе вещей и чисел. Любое число, думал он, можно перевести из десятичной системы в двоичную (или какую-нибудь еще), а затем обратно. Те десять лет, что он провел в тюрьме, в двоичной системе выразятся очень длинным, но все же конечным числом мгновений и дней. Только переведенное в единичную систему не подлежит ни возврату, ни восстановлению. Обращенное в нуль теряет вес и смысл. Беспрерывная спираль пустых и вечно множащихся нулей. Вселенная, обращенная в ничто. Черная дыра, которой управляет Великий Нуль.

Желтые языки пламени мертвели и остывали. Шахта, в которой он падал (или вернее, висел, поскольку это уже нельзя было назвать падением), делалась все уже. Валерий извивался, пытаясь упереться в стены ногами и головой, но верх и низ то и дело менялись местами, и в полной тьме невозможно было угадать направление.

— Это конец,— произнес рядом чей-то голос.— Мы падаем в океан.

— Но как же так, как же так, как же так...— возразил другой голос.

И тут Валерий почувствовал, как его подкинуло и выбросило наружу.

Он лежал в снегу. Ветер кудрявил поземку. Колющие веретенца ледяной пыли впивались в незащищенное лицо. Сухой разреженный воздух жег горло. Валерий привстал на колени и попытался оглядеться. Пространство вокруг

сделалось круче, горизонт приблизился, а степь сжалась. Его ладони, мокрые от снега и от крови, отчетливо ощущали выпуклость Земли. Он встал на ноги, выпрямился и, покачиваясь, сделал несколько шагов. Пальцы заоченели, пытаясь согреть их, Валерий сунул руку за отворот пиджака и нащупал пустой карман — ни паспорта, ни открытки из ОВИРа, ни справки о пропавших трусах не было. Зато он увидел вдали тюремное зданис, в котором, как он помнил, для него приготовлено место.

## ОСТАНОВКА

«Станция «Киевская»...—прогнусавил металлический голос.—Переход на Филевскую и Арбатско-Покровскую линии».

Поезд сбавил ход, вынырнул из тоннеля в светлый мраморный зал, зашипел и остановился. Двери распахнулись, вагоны выдавили на перрон порции пассажиров и тут же втянули в себя новые, такие же, а может, и большие.

«Осторожно — двери закрываются»,—квакал голос. Кто-то еще пытался втиснуться, мешая створкам сойтись, но послушные приказу, отданному в голове состава, они поднажали и сомкнулись. Пассажиры, не успевшие вскочить в вагоны, остались дожидаться следующего поезда. Сорок секунд. Сорок досадно упущенных секунд. Впрочем, опоздавшие тут же смирились с неудачей. За сорок секунд перрон снова до краев наполнится плотной людской массой, а ты уже впереди других, ближе к цели, ближе к будущей открытой двери.

«Следующая станция — «Парк культуры»!» — объявил голос. Поезд уполз в тоннель и, скрежеща колесами, понесся вперед. Пассажиры слегка потряхивало, они висели на поручнях и сонно опирались друг на друга. Те, кому посчастливилось сесть, просматривали газеты. Было утро. 8 часов 13 минут.

«Станция «Парк культуры»,—сообщил голос в 8 часов 16 минут.—Переход на Кировско-Фрунзенскую линию...» Двери раздвинулись, и в один из вагонов вместе с другими пассажирами втиснулся мужчина средних лет, среднего роста, с довольно приятным лицом и хорошо одетый. Звали его Геннадий Игнатьевич Гераскин. Несмотря на полноту (он весил 84 килограмма при росте

173 сантиметра), Геннадий Игнатьевич выглядел моложе своих лет (в действительности ему было 53 года) и сохранил прекрасные густые русые волосы (легкая проседь даже украшала их). Правда, в последние годы он страдал гипертонией, да и сердце иногда пошаливало, но он не обращал на это особенного внимания. Надо было бы бросить курить, он уже почти что постановил бросить, да мешала вечная нервозность на работе. Вот пойдет в отпуск и тогда уж обязательно бросит. Чтобы сделать свое решение бесповоротным, Геннадий Игнатьевич объявил о нем жене. Жена одобрила его намеренье, хотя засомневалась, чтобы у него хватило на это силы воли.

Впрочем, проверить твердость своего характера Геннадию Игнатьевичу не удалось — судьба распорядилась им по-своему.

Подталкиваемый сзади многими другими пассажирами, он впихнулся в вагон и, стараясь по мере возможности не отдавливать пятки стоящим впереди, кое-как уместился в толпе.

— Осторожно, двери закрываются!.. — провозгласил нараспев у себя в кабине помощник машиниста, и его голос, усиленный и обезображенный динамиками, проник в вагоны.

Двери закрылись, колеса застучали, поезд понесся: вперед, вперед!

В вагоне было душно. Геннадий Игнатьевич стоял, сплюснутый со всех сторон — в бок ему упирался чей-то локоть, чей-то живот вжимался в спину, сам он тыкался носом в чье-то плечо и невольно клонился на правый бок, где маленький ребенок оставлял чуточку свободного пространства над своей невысокой светлой головкой. В правой руке Геннадий Игнатьевич держал портфель, левой пытался дотянуться до поручня, но это ему не удавалось, а мать ребенка напрягалась и как могла теснила его задом, защищая свое дитя.

«Совершенно никакой вентиляции, — отметил про себя Геннадий Игнатьевич. — Ни капли воздуха...»

«Станция «Добрынинская»! — возвестил голос.

Сбоку на скамейке освободилось два места, Геннадий Игнатьевич рванулся туда, но его опередили.

«Следующая станция — «Павелецкая»!» — просипел бесстрастный голос.

«Ничего, — утешал себя Геннадий Игнатьевич, — «Павелецкая», «Таганская», а там и выходить».

За тонкими стенками гроыхало и скрежетало. Чем большую скорость набирал поезд, тем непереносимее делалось визжание колес, пригнетенных упрямой тяжестью состава к струнам рельсов. Зудящий мерзкий свист отзывался болью в голове и в зубах. «Безобразия, — думал Геннадий Игнатьевич, — экономят на вентиляционных шахтах. Что же это, в самом деле? Душегубка какая-то. Невозможно дышать».

Поезд летел вперед. Кишки кабелей, распяленных по стенам тоннеля, слились в одну широкую серую полосу. Геннадий Игнатьевич внезапно почувствовал сильную слабость и дурноту. «Что это со мной? Может, выйти на «Павелецкой»? Да нет, не стоит — из-за одной остановки...» Он представил себе, как станет проталкиваться к дверям, а потом все равно вынужден будет вбиваться в следующий поезд, да еще и опоздает, и решил пересилить неприятное ощущение. Опоздание в общем-то не грозило ему никакими осложнениями — он уже второй год занимал должность заместителя заведующего отделом и вполне мог позволить себе такую роскошь, как незначительная задержка. Но Геннадий Игнатьевич принципиально не любил опаздывать, он гордился своей точностью и пунктуальностью. Ему нравилось быть постоянным примером подчиненным. «Ничего, авось как-нибудь обойдется. Нужно присесть», — подумал он, хотя знал, что свободного места нигде нет. Стараясь подавить тошноту и головокружение, он закрыл на минуту глаза. «Как-нибудь уж доеду...»

Поезд замедлил ход и выплыл на перрон.

«Ну вот, — обрадовался Геннадий Игнатьевич. — Еще одна остановка, и все». Однако прежде, чем поезд двинулся дальше, он почувствовал холод в висках, боль в груди и страшную тяжесть во всем теле.

«Следующая станция — «Таганская»!» — провозгласил невидимый динамик.

Геннадий Игнатьевич постарался пробраться к дверям, но тут горло ему стянуло будто жгутом, он услышал собственный хрип, и в глазах у него запрыгали серые мушки.

— Да стойте вы, в конце концов, на ногах! — возмущалась женщина в меховой шапочке, но Геннадий Игнатьевич уже не в силах был выполнить ее законного требования.

— Что вы кричите? — вмешалась другая женщина. — Может, человеку плохо.

— Всем плохо,— огрызнулась первая.— Эдак каждый будет на людей валиться!

— Что с вами, гражданин? — продолжала волноваться женщина.— Вам плохо?

Геннадий Игнатьевич слышал ее, но не в состоянии был ответить.

— Молодой человек, уступите гражданину место! — сказал кто-то.— Молодые, уж постоять не могут... Садитесь, гражданин! Сюда, сюда... Гражданка, это не вам уступили — человеку плохо!

Кто-то поддержал Геннадия Игнатьевича под руки. Он силился втянуть в себя воздух и не мог. Рот его судорожно разевался, грудь напряженно вздымалась, но воздух — спертый тугой вагонный воздух — совсем не проникал в легкие. Какой-то парень принялся обмахивать его сложенной вчетверо газетой.

— Ничего, ничего,— успокаивала женщина.— Сейчас остановка, сейчас выйдете. Со мной тоже так было...

Геннадий Игнатьевич ухватился рукой за ворот — высвободить шею из этой проклятой удавки. Женщина наклонилась помочь ему, развязала галстук, расстегнула верхнюю пуговку на рубаше, но тут голова Геннадия Игнатьевича запрокинулась назад и изо рта хлынула пена. Женщина невольно отдернула руки. Сидевшая рядом девушка вскрикнула и вскочила со своего места. Колени у Геннадия Игнатьевича подогнулись, и тело медленно, в такт покачиваям состава, поползло с сидения вниз. Портфель шлепнулся на пол.

— Что это такое? — поинтересовался кто-то, пытаясь выглянуть из-за плотно прижатых одна к другой спин.

— Плохо кому-то...

— Говорят, плохо кому-то,— повторили сбоку.

— Надо врача! Надо вывести его отсюда! — волновалась женщина.

— Бесполезно,— определил мужчина в серой шляпе,— врач ему уже не поможет.

— Зачем вы так говорите! — возмутилась женщина.— Сейчас медицина многое умеет. Сделают укол...

Тело толчками съезжало на пол. Стоявшие рядом пассажиры старались высвободить из-под него ноги. Подумать только — минуту назад яблоку было негде упасть, а тут, пожалуйста, хватило места для такого крупного мужчины. Геннадий Игнатьевич лежал поперек прохода, упершись плечами в одну лавку, а ногами в другую.

— Какой ужас! Надо вызвать кого-то,— не унималась женщина.

Такая же мысль пришла в голову и некоторым другим пассажирам, но они быстро от нее отказались. Попробуй тут вызови. Как? Каким образом? Прежде придется вытащить его на платформу, а он мужчина солидный, грузный, пожалуй, и вчетвером не подымеешь. К тому же на каждой станции тысяча человек народу, чуть замешкаешься, наклонишься, в момент сомнут. Не разберут, живой ли, мертвый, лишь бы не стоял на пути. Нет, лучше уж не соваться. Пускай, кому положено, тот и разбирается. Каждый постарался отодвинуться насколько возможно подальше в сторону и отвернуться. Те, что сходили на Таганской, уже протиснулись к дверям и приготовились к рывку, но и те, что ехали дальше, не стремились брать это дело на себя.

— Нужно сообщить дежурной,— бормотала женщина.

Ей почему-то показалось, что на станции стоит дежурная с ручным семафорчиком. Девушка-дежурная, которая зорким взглядом окидывает перрон и звонким голосом объявляет: «Га-а-тов!» Нужно только подойти к ней, она вскинет свой семафорчик, задержит состав, вызовет санитарную бригаду. Женщина стала протискиваться к дверям — может, еще и не поздно, может, очнется...

Время близилось к девяти, но движение на перроне не ослабевало, а, наоборот, все набирало силу. Толпа бурлила, колыхалась и уплотнялась. Потоки входящих и выходящих сталкивались, оттесняли друг друга в стороны, иногда замирали, сдавленные более мощным встречным течением, но тут же снова начинали упрямо пробивать себе путь к вожделенным дверям, ступеням, переходам, эскалаторам.

Валентина Аркадьевна, та самая женщина, что выбралась из вагона в надежде отыскать дежурную, была мгновенно подхвачена общим потоком и понеслась прочь от синего поезда, тут же за ее спиной сомкнувшего двери и скрывшегося в тоннеле. Валентина Аркадьевна рванулась было в сторону — дежурная! — где же дежурная? — должна быть дежурная... Ее толкнули, прижали к стене, потом снова закрутили в мощном коловороте и поволокли по перрону.

— Но как же так,— бормотала она в растерянности.— Должно же быть что-то предусмотрено... Должен быть кто-то ответственный...



Она вспомнила, что возле эскалатора всегда стоял дежурный с рупором: «Стойте справа, проходите слева! Тростей, зонтов и чемоданов на ступени не ставить!» Рупор, допустим, упразднили, но дежурный должен существовать!

Однако его не было. Вместо дежурного у подножья эскалатора раскачивался набухший людской ком. Некая сила увлекала его попеременно то в одну сторону, то в другую. Верхняя часть этого образования медленно наползала на ступени, но нижняя тут же нарастала снова — прибывавшие составы выбрасывали и справа и слева все новые и новые сгустки пассажиров. Валентину Аркадьевну вместе со всеми всосало на эскалатор и постепенно вынесло наверх. Здесь, возле автоматов, глотающих пятаки, она наконец увидела дежурную, но выход был отделен от входа никелированной перегородкой и, чтобы добраться до дежурной, следовало сперва выйти на улицу, а потом снова войти в вестибюль через другие двери.

На улице было светло. Солнце еще не выглянуло из-за домов, но край неба над крышами уже отливал золотом. Все остальное было серым: голые ветви деревьев, земля, покрытая клочьями грязного снега, асфальт, замызганный тысячью ног, забор, прикрывающий какую-то стройку, и даже вся плоскость неба наверху над головой была бледно-серой, несмотря на восходящее солнце. Валентина Аркадьевна задержалась на минуту на площадке перед входом, вдохнула сырой зимний воздух и как-то даже засомневалась, стоит ли ей вообще обращаться к дежурной. Что она может сказать? Что какому-то человеку стало плохо? Но как его отыщут там внизу, глубоко под землей, в непрерывной карусели составов? Как теперь узнать, где тот вагон и где тот поезд? И как пробиться к нему сквозь людскую стену? А может, мужчину все-таки вынесли? Она еще раз взглянула на небо, потом на станцию метро и поняла, что безнадежно опоздала на работу. Конечно, ее не съедят за это, не разорвут на части, но, если она станет рассказывать про какого-то гражданина, не вынесшего духоты вагона, скорее всего заподозрят, что она что-то сочиняет. Тут мысли ее перескочили на покойного брата Костю, в сорок втором году получившего тяжелое ранение где-то под Вяткой. Девушка-санитарка нашла его и пять километров тащила по снегу до санбата — хрупкая девчонка, вчерашняя школьница, пять километров тащила на себе грузного парня

и спасла ему жизнь... А тут в Москве, на глазах у всех человек умирает — и никакой помощи, даже ни малейшего внимания. Не странно ли?

Непрерывный людской поток вливался в одни двери и вытекал из других. Валентина Аркадьевна шагнула к входу и, оказавшись возле дежурной, принялась рассказывать о происшествии, но та сразу решительно перебила:

— Это нас не касается. Это в милицию сообщайте. Мы за контроль отвечаем.

Отыскав милиционера, Валентина Аркадьевна все пересказала ему, и он тут же успокоил ее:

— Не волнуйтесь, гражданка. Все в порядке. Благодарим за сообщение, но беспокойство ваше напрасное: нам уже все известно.

Милиционер знал, что такие случаи бывают, и даже имел на этот счет определенную инструкцию: прежде всего никакой паники среди населения. Валентина Аркадьевна вздохнула и, не зная, что еще прибавить, вернулась к автоматам. Сунула в щель пятак и снова оказалась перед эскалатором. Людской поток опять подхватил ее и понес вниз. Рядом на ступенях стояли люди, одетые в плотные темные зимние пальто, а у подножья полукилометровой непрерывно разматывающейся гусеницы все так же медленно и упрямо раскачивалась толпа.

Геннадий Игнатьевич не знал, сколько времени он пробыл без памяти, но, очнувшись, прежде всего порадовался, что ничего у него больше не болит, никто его не душит, в груди не давит, в животе не щемит и не мутит. Ощущение приятной легкости разливалось по всему телу. Он открыл глаза, но неоновый свет вокруг был каким-то странным и сумрачным: будто в лунную, но в то же время облачную ночь. Впрочем, все было видно. Пассажиров в вагоне по-прежнему находилось немало, но воздух сделался как бы свежее и чище. Геннадий Игнатьевич легко поднялся с полу и вспомнил, что ему нужно выходить. Он приблизился к дверям, и они в ту же минуту бесшумно раздвинулись. Очутившись на платформе, Геннадий Игнатьевич удивился ее непомерной длине. Ему с его средним ростом раньше как-то никогда не удавалось окинуть весь перрон единым взглядом, а сейчас, несмотря на наличие бурлящей толпы, ничто не заслоняло от него роскошного мраморного зала. Впервые он

сумел оценить по достоинству замысел архитектора и порадовался дерзкому полету мечты, раздвинувшей плотные недра земли и в их толще воздвигнувшей эти сказочные чертоги. Труд художника, столь щедро и искусно изукрасившего потолки и стены, тоже заслуживал восхищения. Странный свет придавал особую прелесть всей картине.

Геннадию Игнатьевичу захотелось остаться тут подольше, рассмотреть в отдельности каждый витраж и каждую колонну, медальоны, расписанные порхающими комсомолками, прекрасные лампы, источающие неяркий, туманный, едва ли не влажный свет, и эти мерцающие волшебным светом рельсы, требующие отдельного внимания. Однако он вовремя очнулся от своих восторгов и вспомнил, что должен успеть на службу.

Он двинулся к выходу — как бы не среди людей, а над их головами. Из толпы выделилось одно лицо, очень привлекательное и симпатичное женское лицо, знакомое Геннадию Игнатьевичу по какой-то встрече, очевидно, случайной и давней. Имени женщины Геннадий Игнатьевич не смог припомнить, но это его не особенно огорчило. Некоторое время он продолжал следить за ней взглядом, но у подножья эскалатора потерял из виду.

Он подымался вверх, но эскалатор по какой-то непонятной причине почти не двигался, можно сказать, топтался на месте. Это начало раздражать Геннадия Игнатьевича. Он не мог припомнить, чтобы лестница-чудесница когда-нибудь ползла с такой скоростью. Потеряв наконец всякое терпение, он решил пробиваться вперед своими силами. Раздвигая руками и туловищем стоящих на ступенях пассажиров, он шагал уже минут двадцать, если не больше, но до выхода по-прежнему оставалось далеко. Геннадий Игнатьевич всерьез разозлился. Что это за шутки, что за фокусы? Уж не запустил ли кто эскалатор в обратную сторону? И тут он увидел свою соседку по квартире, вездесущую Глафиру Францевну. Она стояла чуть впереди, искоса поглядывая на Геннадия Игнатьевича и глумливо улыбаясь.

— Что, гражданин Гераскин, — сказала Глафира Францевна, перемещая целиком свой бледный, посеченный морщинами рот на правую сторону лица, — сколько веревочка ни вейся, а конец будет? Сколько пташечка ни пой, а кошечка вон она?

Вся кровь бросилась Геннадию Игнатьевичу в голову. Как — и тут эта мерзкая старуха? Двадцать лет кряду отравляет ему жизнь денно и нощно. Уж как ни стараешься держаться от нее подальше, не замечать ее, как ни сдерживаешься, все равно она тебя зацепит — не так, так эдак. Буквально шагу не удастся ступить без того, чтобы не наткнуться на нее. Только войдешь в дом — голодный, как собака, усталый, — она уже поджидает: «Не будете ли столь любезны получше вытереть ноги? Всю квартиру заследили!», «Не забудьте, пожалуйста, выключить свет в уборной — пятнадцать рубликов в том месяце нажгли», «Не сочтите за труд передать своей жене, чтобы вычистила раковину, — вся кухня вашей селедкой провоняла» и так далее, и так далее. Пытаешься промолчать, пытаешься не обращать внимания, но ведь никаких нервов не хватает. Спрячешься от нее в комнату, так она найдет предлог вломиться и сюда. Совести ни на грош: сестра из Краснодара в кои веки приехала, так она милицию вызвала, дескать, посторонние ночуют; кто-нибудь зайдет, так она какую-нибудь гадость успеет прошипеть. И не придерешься ни к чему, и никуда не заявишь. То есть Геннадий Игнатьевич, конечно, пытался заявлять, но ему ответили, что злостного хулиганства и нарушения общественного порядка со стороны Глафиры Францевны нет, а если не уживаетесь — меняйтесь. Легко сказать — меняйтесь, когда вся жизнь тут прожита, в этом доме, в этом дворе, и такие, в сущности, чудные у них две комнаты, хоть и смежные, но очень удобные — угловая двадцать три метра и проходная шестнадцать, четыре окна и все четыре выходят на сквер, и почти центр, и главное, все тут такое свое, уютное. Неужели из-за проклятой ведьмы все бросить и ехать куда-нибудь в район новостройки? Или в развалюху какую-нибудь с видом на пивную? Ну, хорошо, Геннадий Игнатьевич готов был даже меняться и жену уже уговорил, но старуха и тут принялась строить разные козни и отваживать желающих. Наплела разных небылиц, дескать, и сырость у них, и крыша протекает, и соседка проститутка — не она, разумеется, а Зоя, тишайшее существо, проживающее в восьмиметровке возле кухни, скромница, каких теперь вообще не бывает. Раз в неделю выйдет чайник вскипятить, а больше ее и не увидишь.

Бессонными ночами Геннадий Игнатьевич не раз уж рассуждал про себя, так и сяк примеривал и прикидывал, строил разные варианты и почти решился: вот возьмет

как-нибудь да потихоньку от жены купит резиновый шланг, подсоединит один конец к газовой трубе, а другой сунет этой мрази в замочную скважину. Однако вовремя сообразил, что ведь не поможет — проклятая ведьма и зимой и летом спит с открытым окном. Зато он сам в последнее время совсем лишился сна — что ни ночь милейшая Глафира Францевна регулярно в одно и то же время, а именно в два часа, движется в уборную, скрипит дверью, стучит черт ее знает чем, спускает воду, а на обратном пути непременно цепляется ногой за сундук, обитый жестью, что стоит возле ее двери. И от этого всего рука сама невольно тянется за папиросой, хотя ему, конечно, при его гипертонии курить вовсе ни к чему.

И надежды избавиться от нее ни малейшей, потому что она уж точно проживет лет двести, а то и все сто, и в жизни никуда не съедет. А Геннадий Игнатьевич не может даже встать на очередь на получение новой квартиры, поскольку жилплощадь у него ни много ни мало тридцать девять квадратных метров, то есть превышает все мыслимые нормы. И даже то, что дочка вышла замуж и привела мужа, ничего не дает, потому что все равно у них почти по десяти метров на человека. Да хотя бы и внук появился, это тоже ничего не изменит, потому что и в этом случае будет по восьми метров. Кстати, когда зять впервые переступил порог их дома, Глафира Францевна встретила его следующим приветствием: «Слава Богу, нашелся дурак, женился, а то уж вся улица сваталась!» Геннадий Игнатьевич хотел удушить ее тогда же на месте, но ради молодых сдержался. А недавно, после того как его сделали заместителем заведующего и он решился наконец приобрести себе письменный стол, эта мерзавка тоже отравила всю радость: заявила, что грузчики ободрали стену в прихожей, и стала требовать, чтобы Геннадий Игнатьевич делал ремонт за свой счет.

И что больше всего бесит, это сознание собственного бессилия, полная незащитность перед лицом этой шмакодявки.

А теперь в довершение всего она преследует его в метрополитене и не позволяет эскалатору двигаться, как положено. Нарочно подстраивает все так, чтобы он не попал на службу. Но Геннадий Игнатьевич не собирался больше терпеть. Хватит! Пора раз и навсегда покончить со всеми этими каверзами, приструнить эту сволочь, эту лысую ведьму! Он принудит ее сдаться. Никаких компромиссов. Но главное сейчас — не дать ей

улизнуть, скрыться в толпе, спрятаться за чужие спины. Геннадий Игнатьевич сделал рывок и вцепился в соседку. Та забилась, завывала, завизжала, принялась кусаться и извиваться у него в руках. Но он держал крепко. И чтобы принудить ее утихнуть, пару раз треснул ей как следует кулаком по голове. Тут Глафира Францевна стала пинать его ногами, но он и к этому был готов. Он ловко завел ей руки за спину, пригнул ее к ступеньке и надавил сверху коленом. Каким-то невероятным образом она вздыбилась, вывернулась и выскользнула у него из рук. Он не оплошал, изловчился и снова поймал ее, кажется, за ногу. Она лупила его свободной ногой по рукам, по голове, по чем попало, но и он не оставался в долгу — бил, кусал, грыз, душил ее и старался изорвать на части. Постепенно она начала слабеть, но все еще пыталась огрызаться. Геннадий Игнатьевич, закрепляя свою победу, треснул поверженного, но все равно коварного и, главное, невероятно живучего врага башкой об ступеньку. И тут случилось нечто вовсе непредвиденное. Ступенька от удара крякнула, подалась и отделилась от предыдущей. Проклятая старуха вырвалась и на карачках заскакала прочь.

Дикий скрежет и вой прорезал всю шахту сверху донизу. Треть эскалатора продолжала крутиться и подтягиваться ввысь, но другие две трети с неотвратимым ускорением неслись вниз, все карежа и увеча на своем пути. От ужаса Геннадий Игнатьевич забыл свои обиды. Если бы сейчас ему предложили помириться с соседкой, даже дружески пожать ей руку, он тотчас сделал бы это без малейшего возражения. Виновница происшествия уже скрылась из виду, но в последнюю секунду ему показалось, что это была не Глафира Францевна, а какая-то другая, совершенно незнакомая и ни к чему не причастная старушенция.

В первые мгновения, пока земное притяжение еще не успело явить всей своей мощи, некоторые пассажиры попытались спастись, уцепившись за поручень или за боковую стенку. Но резиновый поручень, не предназначенный, разумеется, для таких нагрузок, тут же лопнул под тяжестью навалившихся тел. Только один особо удачливый и, видимо, тренированный парень сумел переметнуться через обшитую деревом перегородку на другой,

встречный эскалатор, и повалившись среди обезумевших пассажиров, глупо, но счастливо улыбнулся. Вой падающих смешался с воплями зрителей, которые, потеряв от страха голову, метались и давили друг дружку.

Геннадий Игнатьевич повис над местом катастрофы, постепенно осозная, как далеко его завела внезапная вспышка злости.

— Нет,— бормотал он потерянно,— не может быть... Что же это такое? Это несправедливо... Я всю жизнь честно трудился, отдавал все силы. На войне был, сражался за Родину, отличился в боях под Курском. Я не могу нести за это ответственности. Я не предвидел. Это провокация. Гнусная провокация! Я могу представить доказательства. Все подтвердят. Коллектив. Партийная организация. Профсоюз. Я плачу членские взносы. Это она, все она! Двадцать лет меня изводит. Пора положить конец. Что же это получается?

Десятки, а может, и сотни людей были смяты, расплющены, разнесены в клочья сорвавшимся эскалатором. Соседние ленты тоже были под угрозой, поскольку и их заклинило боковыми ударами и повело в стороны. Машины, обычно невидимо для посторонних глаз вращающие транспортеры лестниц, теперь обнажились. Некоторое время они еще продолжали по инерции работать, но наконец остановились. Скрежет железа стих; остался только людской вопль, достигнувший самых высоких пределов.

Геннадий Игнатьевич видел, как погибшие понемножку начинают шевелиться, приподыматься, выпрастывать из-под покореженного металла руки и ноги, высвобождать головы и туловища. Пока еще он наблюдал все происходящее с безопасной дистанции, свысока, но вскоре ему сделалось не по себе — он почувствовал, что его преимущественное положение сохранится недолго. Еще минута, и все пострадавшие набросятся на него. Он уже читал на их лицах мрачную жажду мщения. Каждый из них в отдельности и все они вместе озирались по сторонам, предвкушая суд и расправу. Кто-то уже указывал вверх на виновника крушения и подзывал остальных

сомкнуть ряды. Геннадий Игнатьевич предпочел не вступать с ними ни в какие объяснения и улепетнул в другой конец перрона.

Главный инженер товарищ Фиалковский, представительный мужчина под пятьдесят, с лицом несколько удлинненным и аристократическим — в Москве еще можно встретить такие лица, даже на ответственных должностях, — прибыл на место происшествия. Местное начальство уже все было на ногах. Все были бледны и взволнованны. Конечно, времена, слава Богу, не те — в диверсии не обвинят и не расстреляют, но все-таки неприятность крупная.

Надлежащие меры были приняты — перекрыты все входы, передано распоряжение составам не останавливаться на данной станции, пассажирам, скопившимся на платформе, предложено покинуть — без паники и без давки: «Все в порядке, товарищи, без истерики, товарищи! Проходите, товарищи». Несколько аварийных бригад принялись за дело — сварщики, монтажники, электрики, уборщики. Придавленных в минуты толчеи и всеобщей неразберихи санитары выносили теперь наверх и укладывали в машины.

Возникло, сочтя свое присутствие неизбежным, и высшее начальство. Фиалковский сдержанно приветствовал его. Лично за себя он не волновался. Не проходило ни одного совещания без того, чтобы он вновь и вновь не подымал этого вопроса: большинство эскалаторов находится в аварийном состоянии. Ремонтные бригады имеют возможность работать только четыре-пять часов в сутки, по ночам, с трудом удается устранить самые явные повреждения. Все без исключения эскалаторы нуждаются в капитальном ремонте. Положение таково, что впору закрывать целые станции. Нагрузка недопустимая — эскалатор находится в движении двадцать часов в сутки, в будни и в праздники. Все это сказано и переговорено тысячу раз, но до сих пор никакого сдвига, никаких практических решений. Решение, собственно, может быть только единственное: сооружение параллельных платформ и пробивка новых эскалаторных шахт. Нет денег? Если нет денег, нужно прекратить строительство новых станций и освободившиеся средства пустить на реконструкцию и расширение старых. На свое счастье, главный инженер не раз излагал эту точку зрения и на



словах, и в письменном виде. Конечно, такая реконструкция встанет в копеечку — все старые линии загнаны на громадную глубину. Особенно кольцевая, которая сооружалась в период холодной войны и усиленной подготовки к атомной агрессии. Но ведь иного выхода нет. Неужели нужно было дожидаться вот этого?.. Фиалковский бросил взгляд на оголившиеся внутренности поврежденного эскалатора, на бесформенную глыбу у его подножья, болезненно поморщился и отвернулся.

Подсчитать количество убитых не представлялось возможным. Родственники, возможно, и могли бы опознать своих близких по клочьям одежды, но разумнее было в данном случае обойтись без опознания. Трое санитаров, привычные к обстановке в морге, вызвались добровольцами собирать останки, но потребовали, чтобы до начала работы им было выдано по четвертинке на брата.

— Ничего не поделаешь, — произнесло высшее начальство после некоторого раздумья. — Случаются ведь стихийные бедствия. Нужно считать это стихийным бедствием. Допустим, как обвал в горах...

— Вы не правы, — сказал главный инженер, окончательно бледнея. — Это не стихийное бедствие. Это можно было предвидеть. Я предупреждал — эскалаторы не могут годами эксплуатироваться в таком режиме. И подвижной состав тоже работает на износ, со дня на день можно ждать пожара или аварии. Нельзя гнаться только за планом — каждый год вводить в строй новые линии, не заботясь о состоянии старых.

— Что вы предлагаете? — спросило начальство с видимым неудовольствием. — Конкретно?

Главный инженер в сотый раз изложил свою точку зрения.

— Широко размахнулись, товарищ Фиалковский, — отреагировало начальство. — Откуда возьмем средства?

«Средства? — подумал Фиалковский. — Он говорит о средствах! А когда сооружали персональную линию на Ленинские горы к правительственным дачам, нашлись средства?» Вслух он этого не произнес, а повторил уже сказанное:

— Прекратить строительство новых линий.

— Новые линии нам нужны, — ответило начальство, насупившись. — А всего, товарищ Фиалковский, предвидеть невозможно. Создадим комиссию, пусть расследует.

Не исключено, что кто-то за это и ответит.— За сим оно покинуло станцию, сочтя свой визит исчерпанным.

Главный инженер тоже вышел наверх, на воздух, и направился к ожидавшей его машине. Уже садясь в нее, он как-то случайно зацепился за сухую веточку помертвевшего зимнего дерева. Сучок проехался по виску и оцарапал кожу. Несколько крошечных красных капелек выступили на бледной коже. Почувствовав боль, Фиалковский потер щеку рукой и удивился, когда заметил на ладони кровь.

— Еще одна трагическая страница в истории Москвы,— пробормотал он, не глядя на шофера, но рассчитывая на его внимание:

Шофер включил мотор и ничего не сказал.

Валентина Аркадьевна добралась наконец до своей работы, но вместо выговора за опоздание услышала радостные приветствия. Какие-то неясные еще слухи, опередив ее в пути, уже расползлись по городу. Кто-то должен был явиться и не явился, кто-то позвонил знакомой и услышал, что ее мужа срочно вызвали в связи с какой-то аварией, кто-то уже успел сообщить домой, что жив и чтобы не волновались. Поэтому и сослуживцы Валентины Аркадьевны, обсуждая ее непонятное отсутствие, начали уже думать неизвестно что. Увидев ее целой и невредимой, все наперебой стали выражать свое облегчение:

— Слава Богу! А мы уж боялись... А мы уж не знали, куда обращаться... Как вы нас переволновали!

Кто-то даже сжал ее руку в своей, кто-то едва не прослезился.

Валентина Аркадьевна стояла, пораженная, и не находила никаких слов. Больше всего ее смутило несоответствие этого естественного человеческого участия, внимания и беспокойства о ее судьбе с тем потрясающим равнодушием к чужой жизни и смерти, которые она только что наблюдала в переполненном вагоне. Она не знала, как это объяснить и как с этим примириться. Разве человек, переступивший порог своего дома или своего учреждения,— не тот же самый человек?..

Пострадавшая станция постепенно возвращалась к своему обычному виду. Через несколько часов два уцелевших эскалатора были подправлены и запущены.

Третий, нуждавшийся теперь в основательном ремонте, отгородили листами фанеры, выкрашенными в приятный кофейный цвет. Пол всюду был вымыт и протерт хлоркой. Двери станции распахнулись, чтобы принять пассажиров. Поезда двигались в обычном ритме. Аварии словно и не бывало.

Между тем тело Геннадия Игнатьевича, его земная оболочка, продолжало лежать на полу вагона. Пассажиры, влетев в двери, устремлялись к свободному сидению, но, заметив распластанное тело, останавливались или даже отшатывались. Старушки вздыхали и бормотали какие-то слова. Низенькая и щуплая смуглая женщина говорила своему спутнику:

— А как наш дядя Рубен? Помнишь? Поехал в командировку, и вдруг телеграмма — представляешь? Он был ведь большим специалистом. Я не знаю, что со мной было!

Скрежет колес заглушил ее голос. Поезд все мчался — вперед, вперед, вперед.

Следующая станция — «Курская»!

Следующая станция — «Комсомольская»!

Следующая станция — «Проспект Мира»!

Двери открывались и закрывались, пассажиры входили и выходили, а бездыханное тело все лежало на том же месте. Рядом валялись портфель и шапка.

Следующая станция — «Краснопресненская»!

Следующая станция — «Киевская»!

— Слышь, у вас там покойник катается, — бросил небрежно какой-то парень, проходя мимо дежурного милиционера.

Милиционер вспомнил, что какая-то женщина рассказывала ему что-то такое еще утром, еще до всего, что потом случилось. Он поручил контролерше надзор за порядком, а сам отправился в служебную комнату посоветоваться по телефону с начальством.

— Еще покойник? — спросило усталое начальство. — Не много ли?

Но и с других станций тоже поступали сообщения, так что надо было что-то предпринять.

Утренний час пик давно кончился и уже надвигался вечерний. Но пока на перронах еще было просторно. Интервалы между поездами увеличились. На станции «Комсомольская» состав задержали, отыскиали — с помощью пассажиров — вагон с мертвецом, и два милиционера встали

у дверей — отгонять прытких гостей столицы, норовящих с разбегу нырнуть в полупустой вагон со своими пудовыми мешками.

— Проходите! — строгими голосами выкрикивали милиционеры. — Проходите, граждане, не задерживайтесь!

Граждане испуганно шарахались, но все же успевали бросить любопытный взгляд в широкое вагонное окно.

Два санитары вошли в вагон, уложили тело на носилки, прикрыли простыней, подсунули сбоку портфель и шапку.

— Давненько вы его катаете, — произнес какой-то мужчина, наблюдая за их действиями.

— Ему теперь торопиться некуда, — ответил один санитар, а другой, приподымая носилки, заметил: — Тяжеленький!

Тело Иеннадия Игнатьевича вынесли на перрон. Пассажиры, оставшиеся в вагоне, проводили его взглядами и облегченно вздохнули. Милиционер махнул машинисту, разрешая отправление. Машинист взглянул на часы — выбились из графика на две минуты двадцать секунд.

«Осторожно, двери закрываются!» — сообщил голос, и поезд тронулся.

— Посторонись!.. — выкрикивал санитар, лавируя между мраморных колонн и направляясь к выходу. — Посторонись, граждане! Дорогу! Осторожно, гражданочка! Не загораживайте. А то, может, желаете присоединиться? Ложитесь, так и быть, донесем! — Он широко, красиво улыбнулся, довольный своей шуткой, но гражданочка оскорбилась таким предложением и даже пробормотала в его адрес что-то нехорошее.

Носилки втащили на эскалатор.

— Выше подымай, выше, — советовал верхний санитар нижнему. — А то еще скотится, народ напугает!..

— Тут такой народ пужаный, ничем его больше не напугаешь, — отвечал тот в тон товарищу.

Наверху тело упрятали в санитарную машину, один санитар уселся возле носилок, другой залез в кабину к шоферу, и машина укатила.

На станции «Проспект Мира» в вагон вошла полная женщина с двумя кошелками в руках и уселась на свободное место. Ей показалось, что некоторые из пассажи-

ров посмотрели на нее как-то странно, но она не поняла, почему. Поезд катил — останавливаясь и снова набирая скорость, глотая километры и сокращая расстояния. Корявый монотонный голос объявлял станции, привычное сонное оцепенение овладело всеми едущими, входили и выходили новые люди, которые уже не видели мертвого тела и даже не слыхивали о сегодняшних происшествиях. Толпа на перронах вновь прибывала, густела, закручивалась вихрями и устремлялась к составам и эскалаторам — чтобы распасться затем рукавами, ручейками, пунктирами, растечься во все концы великого города к своим кухням, детям, телевизорам.

Удивительные сны снятся иногда людям. Глафире Францевне, например, в прошлую ночь приснилось, что она сцепилась с Геннадием Игнатьевичем в каком-то узком и тесном закутке — не то в подвале, не то в бомбоубежище, не то в погребе. Дрались они смертно, били друг дружку от души, но Геннадий Игнатьевич оказался послабее — Глафира Францевна вконец его заклевала и бросила недвижимое тело. А сама скоренько выбралась наверх, захлопнула дверь и еще сундуком задвинула. И надо же — до чего сон оказался вещим — ведь и вправду сосед отдал концы. Жалко, никому не рассказала. А теперь уж не поверят.

Избавившись от погони и не замечая за собой никакой слежки, Геннадий Игнатьевич понемногу успокоился. Напрасно он так переполошился — не похоже, чтобы его собирались судить или как-нибудь преследовать. Он окинул взглядом опустевший перрон и понял, что наступила ночь. Из ближайшей урны торчала сложенная вдвое газета. Геннадий Игнатьевич вот уж лет тридцать кряду просматривал ежедневно и «Правду», и «Известия», поэтому рука его сама собой потянулась к брошенным листам. Устроившись поудобнее, он стал читать. Но газета была удивительно странная и неинтересная. «Подготовимся досрочно к весеннему севу!», «Трудящиеся Донбасса вызывают на социалистическое соревнование трудящихся Новосибирска», «Забастовка английских докеров». Мелькнул было заголовок «Коварные замыслы будут сорваны!», но и тут оказалось, что это не про Глафиру Францевну и даже не про сотрудника их отдела

Пивоварова, который тоже мстил в замы и едва не перебежал дорогу Геннадию Игнатьевичу, а про каких-то никому не ведомых и не нужных империалистов. Вообще ни единая строка из всего напечатанного не имела к Геннадию Игнатьевичу Гераскину ни малейшего отношения. Даже о сегодняшнем происшествии в метро не было ни слова. «Кто же всю эту белиберду читает? — подумал Геннадий Игнатьевич с недоумением. — Жалко бумаги...» Впрочем, он вспомнил, что в качестве бумаги газеты используются повсеместно. Конечно, если бы продавали чистые листы, не перемазанные типографской краской, было бы лучше. Но привередничать не приходится, спасибо и на том. Что ни говори, без газет как без рук. Во многих случаях выручают: сколько сигарок из них понакручено, сколько селедок завернуто. Случалось, и ноги газетами оборачивали — чтобы не отморозить. А печку ими растапливать — одно удовольствие. И спать на газетах можно — все не на голом полу. Тут Геннадий Игнатьевич сообразил, что и теперь сумеет использовать печатный орган в качестве подстилки. Он давно уже ощущал усталость и хотел прилечь, но от каменной лавки несло промозглым холодом. А на газете, как на перине.

Геннадий Игнатьевич приготовил себе ложе и нагнулся скинуть полуботинки. Откуда такая чудовищная усталость, такая тяжесть во всем теле? Впрочем, что удивляться? Ночами не спит, весь день на работе, мечется, как заводной, а годы-то уже не слишком молодые... Жизнь ведь прожита не самая легкая. Одна война сколько здоровья унесла. Геннадий Игнатьевич вздохнул и тут же увидел против себя фронтowego друга, Стасика Спиридонова. Стасик сидел рядом, но как бы отдельно от него — Геннадий Игнатьевич на своей лавке, застеленной газетой, а Стасик на пригорке, поросшем травами и залитым солнцем.

— Что ж ты махорочки-то пожалел? — промолвил Стасик вроде бы незло, но все же с упреком. — Сказал — нету, а сам припрятал...

Геннадий Игнатьевич не стал оправдываться — действительно припрятал, но ведь самую малость, на последнюю закрутку. А им в тот день и довольствия не подвезли. Да и нечестно это — сперва свое выкурил, а после у друга выпрашивать.

Стасик ничего больше не сказал и стал отодвигаться — вместе со своим холмиком, будто по тихой воде на лодке. Но его место тотчас заняли другие. Ребята из их

московского двора: Женька, Костя, Муха, Валерка, Кошечей — и все такие легкие, светлые, молодые. Все его одноклассники, из одной шайки казаки-разбойники. «Неужели и они с обидами?» — испугался Геннадий Игнатьевич, но напрасно. Ребята никакого зла на него не держали. Только Муха спросил почему-то эдак жалостливо:

— Генка... Что это с тобой? Чего это ты так разбух? — И тут же в смущении прикрыл рот ладонью.

Геннадий Игнатьевич тоже смутился от этого вопроса, глянул на себя — ну почему же — разбух? Конечно, пополнил, не без этого, животик вот появился, но не так, чтобы слишком. Терпимо. Бывает и хуже. Все же шестой десяток. Жизнь свое берет.

— Жизнь свое берет, — повторил он вслух, но ребята уже потеряли к нему интерес и упорхнули всей стайкой куда-то ввысь, к потолку.

Геннадий Игнатьевич проводил их взглядом и заметил в самом зените долгий зеленоватый мерцающий луч, уводящий куда-то в безграничную высь ночного неба. Луч этот очень соблазнял подняться, но Геннадий Игнатьевич не стал и пробовать. И правильно сделал, потому что луч как возник, так и погас, а над головой остался тугой свод метрошного потолка.

Геннадий Игнатьевич еще раз вздохнул и приготовился растянуться на лавке, но услышал знакомый стук каблучков. Лида бежала к нему вдоль перрона, на ходу махая рукой и издали улыбаясь. В первую минуту Геннадий Игнатьевич едва не поддался радости видеть ее, но потом сдержался. Лида была машинисткой в их отделе. Полная красивая двадцативосьмилетняя девушка, быстрая в движениях и всегда веселая. Каждый бы на его месте не устоял. А она все-таки должна была понимать, что он человек семейный и ничего путного из этого выйти не может. К тому же он оставил все на ее усмотрение — если хочет сделать аборт, так он деньгами поможет, а если не хочет, как хочет, но чтобы никаких претензий. И если все же надумает рожать, то чтобы из их учреждения уволилась, потому что ему эти осложнения ни к чему. Ну, а давить на нее он не собирался. Ее личное дело. Он ей зла не желал. Наоборот, хотел как лучше. С тех пор разошлись их дороги. Вот уж пятнадцать лет, как вовсе ее не встречал. Да и сейчас, по правде говоря, предпочел бы не видеть. Но поскольку она бежала прямо на него, уклоняться от встречи не собирался. Даже приподнялся

на лавке, но с видом серьезным и несколько мрачным. Вероятно, выражение его лица остудило Лидино веселье, она приостановилась, пошла тише, взглянула на него долго и печально и миновала, не промолвив ни слова. Добралась до конца перрона и скрылась в глубине тоннеля. Геннадий Игнатьевич, несколько смущенный неожиданным свиданием, уселся обратно на лавку и попытался утешить себя тем, что это дело обычное — если, конечно, здраво смотреть на вещи. А ведь, по правде говоря, любил он ее. В самом деле, любил. Но что он мог поделать? Ничего...

Не успел он еще справиться со своими чувствами, как Лидино место заняла другая, полька, в доме которой они всего-то и стояли день или два, Геннадий Игнатьевич даже не сразу вспомнил, как ее звали — Гашка, Геська, Ганька. Имя дурацкое и сама дура. Все что-то лопотала, половины слов он вовсе не понял. Да и что там особенно понимать? Все они, бабы, одинаковы — сперва сами на шею вешаются, а потом начинают скулить и выдумывать невесть что. Ну, эта, может, особенно и не вешалась, но дело-то было молодое, горячее. Да и обстоятельства надо учесть — как-никак война, сегодня тут, а завтра там. По нынешней ситуации, может, и нехорошо выглядит, но тогда... Тогда иначе смотрелось. Кто тогда мог поручиться, будешь ты через час жив или не будешь? К тому же — не он первый, не он последний. И до них проходили через эту деревню части, и после них. А он все-таки не обидел ее — банку консервов оставил, рубаху немецкую трофейную. Она, помнится, и не жаловалась — для виду поскулила немного, а потом сама провожать вышла. «И было бы чего вспоминать! — подумал Геннадий Игнатьевич уже с раздражением. — Поганая бабенка. Да, Ганькой ее звали. В те времена, моя милая, не такие еще дела делались».

Отделавшись от польки, он снова попытался прилечь, но тут возник парнишка — ну да, тощий такой, плюгавенький, лет на двадцать выглядел, не больше, — Геннадий Игнатьевич видел его раз в жизни, да и то, можно сказать, мельком. Было это в Дзинтари, на Рижском взморье, в пятидесятом году. Геннадий Игнатьевич, вернее, тогда просто Геннадий, или даже Гена, в первый раз в жизни отдыхал в санатории по профсоюзной путевке. Здание санатория в недалеком прошлом при-



надлежало одному латышу, и что интересно, что латыша этого не упразднили и не сослали, а оставили сторожем и истопником при том же самом санатории. Буржуй, естественно, на отдыхающих поглядывал неприязненно и притворялся, что по-русски ничего не понимает. Но в тот самый день выяснилось, что понимать-то он понимает, да только не желает откликаться по злобе. Не любит, чтобы к нему обращались. Геннадий Игнатьевич в тот день качался на качелях возле забора, поджидая одну отдыхающую из Ленинграда, а латыш скреб неподалеку угольную кучу. Дело было после ужина. В это время и появился этот самый парнишка. Забор привлекал его возможностью опереться, поскольку ноги его, можно сказать, не держали. На руках у парня была годовалая девчушка, и видно было, что он прикладывает все силы, чтобы не уронить ее. Латыш — это Геннадий Игнатьевич хорошо запомнил — выпрямился и уставился на парня с таким видом, будто отродясь не видал пьяного человека. Парень, правда, сильно перебрал, одна штанина была у него подозрительно мокрая, но свое направление он, видимо, помнил и, хотя и медленно, все же продвигался вдоль забора. Если бы не ноша в руках, он бы шел тверже, но девчонка перетягивала его то на одну сторону, то на другую. Геннадий Игнатьевич не собирался заострять своего внимания на этой картине, даже подумывал уже встать и отойти, но тут парень, как на грех, не удержал равновесия, и девчонка полетела через забор. В этот момент латыш отвернулся и занялся своим углом, как бы предоставляя Геннадию Игнатьевичу самому разбираться со своим соотечественником. Положение получалось дурацкое. Ревущий младенец, пьяный отец и злобствующий буржуй. К счастью, тут появилась та самая ленинградочка, которую Геннадий Игнатьевич поджидал. Женщины лучше умеют справляться с такими ситуациями. Она подхватила на руки и каким-то образом даже успокоила девочку, потом, перебравшись через забор, подняла на ноги папашу и вручила ему его дитя. И тут латыш выдал себя. «Вы не можете позволить этому человеку нести ребенка, — сказал на вполне понятном русском языке. — Этот человек опять уронит его и покалечит. Может быть, даже убьет». — «Не убьет, не волнуйся, — ответила приятельница Геннадия Игнатьевича. — А убьет, так другого заделает, не твоя печаль». — «Вы должны сообщить в милицию, — настаивал

латыш.— Милиция должна разыскать мать ребенка».— «Должны! — возмутилась ленинградка.— Мы тут никому ничего не должны. Тоже мне, командир нашелся!» Парень тем временем довольно бодро пересек улицу и продолжил свой путь уже на расстоянии от санатория.

Двадцать лет Геннадий Игнатьевич не вспоминал о нем ни во сне, ни наяву. Да и вообще удивительно, что такой пустяшный эпизод застрял в каких-то извилинах мозга. В самом деле, чего только не хранит человеческая память! А латыш этот — буржуй недорезанный — придумал: в милицию. Да их бы на смех подняли, если бы они явились с таким заявлением. К тому же они даже не имели ни малейшего представления, где там милиция. А мамаша этой девчонки могла бы соображать, что за фрукт ее супруг. Нашла кому поручить ребенка. Небось не в первый раз накачался. Да вообще не о чем тут говорить. Вся история выеденного яйца не стоит.

Парень, видимо, и сам понял, что претензии его неуместны, и, не дойдя до лавки, на которой сидел Геннадий Игнатьевич, свернул вбок.

— То-то же,— пробурчал Геннадий Игнатьевич ему вслед.

Можно было наконец прилечь, но тут загудели эскалаторы — начался новый день. Геннадий Игнатьевич едва успел сунуть ноги в полуботинки и скрыться в простенке за диспетчерской будкой.

— Следующая станция — «Киевская»! — услышал он вскоре. — Следующая станция — «Киевская»! Следующая станция — «Киевская»!

Он попытался зажать уши, но это нисколько не помогло. «Киевская», «Киевская», «Киевская»! — сипел и долдонил голос. — Следующая станция — «Киевская», «Киевская»!»

Потом он услышал над собой другой голос:

— А ну, вставай давай! Ишь, куда забрался! Вылезай, вылезай, пока милицию не позвала!

Геннадий Игнатьевич испугался, вообразив, что угрозы относятся к нему, но оказалось, что это уборщица подымает какого-то забулдыгу, примостившегося в том же простенке за диспетчерской. Расположился, прохвост, и дрыхнет. Еще и ногу наружу высунул.

«Все же нет еще у нас настоящего порядка,— подумал Геннадий Игнатьевич, подпихивая незваного соседа

в спину.— Допускают, чтобы всякая пьянь в метро проникала. Безобразия, ей-Богу...»

В голове у него уже начали складываться разные соображения относительно оздоровления здешней обстановки, руководящие указания, могущие существенно исправить положение, но тут голос из динамика опять провозгласил:

— Следующая станция — «Киевская»!

Геннадий Игнатьевич глянул на платформу и увидел весьма неприятную для себя картину — вместо обычных пассажиров по краю перрона толпились вчерашние задавленные со всеми своими ужасными увечьями. И они же вываливались из дверей прибывшего поезда.

— Станция «Киевская»! — сипел голос, и тотчас являлся новый состав, но с теми же пассажирами.— Станция «Киевская»! Станция «Киевская»!

Геннадий Игнатьевич благословил свое убежище за диспетчерской и забился поглубже.

---

## СТУПЕНИ

Мальчик не вернулся домой. Когда стемнело, я пошла искать его. Ребята во дворе сказали, что не видели его.

Я вышла на улицу. Со второго этажа выглянула старушка, соседка, и спросила:

— Вы Мишу ищете? Вы знаете, я его сегодня на Зверинце<sup>1</sup> видела.

— На Зверинце? Не может быть... Когда это было? Во сколько?

— Часов в пять, я думаю,— сказала старушка.— Еду я, знаете, в троллейбусе, вдруг вижу — он улицу переходит. С каким-то мужчиной. Идут так, разговаривают. Я еще хотела окликнуть, да не успела...

— С каким мужчиной?

— Какой-то такой молодой. Может, знакомый ваш? Мишу-то я заметила, а его не особенно разглядела. Высокий такой блондин.

Я решила, что она обозналась.

В одиннадцать я пошла в милицию. Дежурный записал фамилию, имя, адрес, возраст ребенка и сказал, что волноваться нечего — объявится. Мальчишки эти такой народ, только и знают из дому бегать.

Я вернулась к себе — вдруг он пришел. Но его не было.

Я снова вышла на улицу, постояла возле подъезда, потом дошла до остановки, села в троллейбус и поехала на Зверинец. Там было тихо, темно и пусто.

Обратно я шла пешком. В подворотне на углу стояла компания парней, один выступил вперед и загородил мне дорогу.

— Куда направляемся? — спросил он, но, взглянув на меня, отступил.

---

<sup>1</sup> Зверинец — район в Вильнюсе.

Я зашла в квартиру, потом снова вышла. Решила лечь, но уснуть не могла. Мне все казалось, что я слышу шаги на лестнице. Я спустилась вниз. Улица была пуста, горели фонари, иногда проносилось такси или кошка не спеша пересекала дорогу. Все спали. Я понимала, что должна что-то сделать, но что?

Утром соседи потянулись на работу. В милиции сказали, что будут искать.

Я опять поехала на Зверинец и там тоже зашла в милицию. «Получили сообщение, но пока никаких данных». Я стала ходить из дома в дом, показывать фотографию, но никто не мог припомнить, чтобы видел его.

Прошел день, потом еще день. Я слышала его голос, слышала, что он зовет меня.

Соседи пытались уложить меня в постель.

— Если утонул,— сказал начальник милиции,— так тело снесло вниз по реке. Может, там обнаружат.

Я проходила мимо автобусной остановки, когда меня окликнул какой-то мужчина.

— Антонюс, тридцать пять,— сказал он глухо.— Вы меня не видели.

И зашагал прочь.

Я посмотрела ему вслед и пошла в милицию.

На Антонюс, 35 жила семья—водитель автобуса с женой, матерью и двумя маленькими детьми. С другого крылечка жила старуха с сыном семнадцати лет, недоразвитым и почти глухим. На втором этаже жил персональный пенсионер с молодой женой и дочерью от первого брака. Дочь была старше мачехи. Ничего подозрительного милиция не обнаружила.

— Понаблюдаем,— пообещал начальник.

Два крыльца этого дома выходили на улицу, а крыльцо пенсионера во двор. Мне никак не удавалось устроиться так, чтобы видеть их всех сразу и не особенно бросаться в глаза жильцам.

В дом почти никто посторонний не заходил, только один раз почтальон, да еще женщина, оповестившая, как мне послышалось, старика о партсобрании. К детям водителя автобуса иногда забегали соседские ребяташки.

Не то на второй, не то на третий день под вечер на крыльцо к старухе поднялся парень лет двадцати пяти. Через полчаса он вышел. Я двинулась за ним следом.

Парень жил на другом конце Зверинца с матерью-пенсией. Соседка сообщила мне, что он сейчас работает рабочим на электроламповом заводе, а до этого два раза сидел.

— Бандит, настоящий бандит! — сказала она и на всякий случай оглянулась по сторонам.

Утром парень вышел из дому и пошел вниз, к реке. Вечером он вернулся, потом снова вышел и направился к троллейбусной остановке. Я шла за ним. На углу он обернулся, вытащил из кармана нож и показал мне.

— Поняла? — сказал он, сунул нож в карман и зашагал дальше.

Я стояла и не знала, как мне поступить. Нужно кому-то рассказать. Пойти в милицию... И тут передо мной оказался блондин. «Высокий такой блондин», — вспомнила я слова соседки.

— Куда вы, мадам? — спросил он, улыбаясь. — Надеюсь, мадам, вы не собираетесь пойти в милицию?

У него было красивое лицо. Мне показалось, что я уже видела его когда-то.

— Я шла за этим человеком, потому что, мне кажется, он может помочь мне...

— Ну что вы, это такой негодяй! — Блондин рассмеялся.

Мы стояли друг против друга. Мимо проходили какие-то люди. Я ждала, что он скажет что-нибудь еще.

— Если вы позволите, мадам, я вас провожу. — Он свистнул, и откуда-то выскочила белая собачонка. — Билз! Мадам просит, чтобы мы ее проводили.

Он повел меня к реке. Возле самого берега из травы торчала кирпичная кладка. Дурачок с улицы Антонюс лежал под сосной и грелся на солнышке.

— Вам повезло, мадам, что вы меня встретили, — сказал блондин. — Завтра я собирался покинуть эти края.

Он наклонился, ухватился рукой за поржавевшее железное кольцо и потянул его на себя. Кольцо оказалось вделанным в поросшую мхом дубовую дверь. Деревянная лестница вела вниз.

— Эй, Билз! — крикнул блондин. — Ты где? Удрал. Ни за что не пойдет. Жуткий трус. Слышь, дурак, придется тебе лезть. Давай, пошевеливайся, не заставляй себя ждать. Ну, болван!

Дурак встал и полез в погреб. Блондин вытащил из кармана фонарик и осветил ему.

— Прошу вас, мадам.

Придерживаясь руками за перекладыны, я спустилась по лестнице. Посреди погреба стоял широкий деревянный чурбан, на нем свеча. Свеча горела. В углу я увидела моего мальчика, Мишу. Я закрыла лицо руками.

— Я говорил ему, чтобы он этого не делал, но он такой идиот, мадам, вы себе не представляете!

Дурак загоготал.

— Представляете, что ему будет, когда это раскроется? Я, во всяком случае, не желал бы присутствовать при этом скорбном завершении инцидента. Вам плохо, мадам? Может, присядете?

— Нет...— сказала я.

Дурак залопотал что-то, замахал руками и выхватил у меня сумочку. Там было немного денег и Мишина фотография. Дурак вытащил деньги, повертел в руках, помусолил, будто считая, сложил бумажка к бумажке и сунул в пламя свечи. Подождал, чтобы деньги вспыхнули, и тогда бросил их обратно в раскрытую сумку. Бумажки свернулись трубочками и почернели. Фотокарточка стала тлеть и корчиться—подбородок, нос, глаза...

— Между прочим, мадам,— сказал блондин,— ваш щенок был ужасно невоспитанный мальчишка.

— Он был хороший мальчик,— сказала я.

— Не спорьте, мадам. Материнская любовь слепа. Я бы мог вам многое рассказать.

Загорелась шелковая подкладка сумки, потом стала коробиться кожа. Открылась черная дыра с неровными краями и начала расти. На земляной пол посыпались серебряные и медные монеты.

Блондин вырвал сумку у дурака из рук, сбил с нее огонь и протянул мне.

— Видите, какой идиот — испортил вещь!

Я взяла сумку и прижала к груди. Дурак заревел, рухнул на коленки и принялся сгребать монеты на полу.

— Замолчи, сволочь! — заорал блондин и пнул его ногой под ребра.

Дурак затих и отполз к стене.

— Этот ублюдок действует мне на нервы,— сказал блондин.— Убирайся отсюда, тварь! Давай, выматывайся отсюда!

Тот сразу понял и послушно пополз наверх. Блондин обернулся ко мне.

— Вы хотели что-то сказать, а? Мне кажется, мадам,

вы просто обязаны что-нибудь сказать. Какое-нибудь приличествующее месту выражение чувств. Впрочем, я понимаю — здесь какой-то неприятный запах. Я думаю, нам лучше подняться, вы не находите?

«Что он сказал? — думала я. — Он что-то сказал...» Я боялась упасть и уронить сумочку.

— Прошу, — произнес он, указывая рукой на лестницу.

Я стала подниматься, держась одной рукой за шершавые перекладыны, а другой прижимая сумку к груди.

Наверху мне стало легче. Дурак валялся на травке под сосной. Я села на разрушенную кирпичную кладку.

— Устраивайтесь поудобнее, мадам. — Блондин вытащил из кармана носовой платок, тщательно смахнул пыль с кирпичей и тоже уселся. — Чувствуйте себя как дома. Вы мне нравитесь, мадам, честное слово. С вами забавно. Так о чем мы, собственно, говорили? Мне кажется, у вас имелись вопросы по поводу происходящих событий. Не стесняйтесь, мадам, говорите все что угодно. Спрашивайте. Только не молчите, умоляю вас, не молчите. Ваше молчание невыносимо.

— Я не помню, — сказала я. — Да... Я искала своего мальчика... Он вышел погулять и не вернулся.

— Ну, опять вы об этом. — Блондин брезгливо поморщился. — Давайте поговорим о чем-нибудь другом — о закате, например. Посмотрите, солнышко садится. Скоро вечер. А потом будет ночь. Красиво, правда? Вы знаете, я ужасно люблю природу — закаты, рассветы, звездное небо...

— Как тебя зовут? — спросила я.

— Меня? Как меня зовут? В самом деле! — Он засмеялся. — Интересный вопрос! Вы можете называть меня Джонни, мадам.

— Ты не знаешь своего имени?

— Мне не нравится мое имя, ясно?

Я вдруг почувствовала, что прижимаю что-то к груди. Это оказалась сумка. Внутри не было ничего, на дне зияла дыра с обожженными краями. Напротив на кирпичках сидел блондин с нервным странным лицом. Это лицо показалось мне знакомым.

— Кто ты? — спросила я.

— Кто я? Я же сказал вам, мадам, я — Джонни. Может быть, вас интересует моя биография? Мое детство



и отрочество? А? Это дивное время, мадам, я провел в детских колониях. Сомневаюсь, мадам, что вы имеете представление об этих учреждениях. Я три раза убегал оттуда. Два раза меня ловили, а на третий меня спрятала одна потаскуха. Я ей понравился. Как пишут в книжках, мадам, я ей многим обязан. Но потом она мне надоела.

— У тебя нет матери?

— Моя мать сука,— сказал он и вскочил на ноги.— Сука! Прижила меня от немца, а потом выбросила. Когда я стал ей не нужен, она выбросила меня, как собаку!

— Ты литовец?

— Я немец! Мой отец был немец! Он давил таких, как вы, десятками, сотнями! Каждый день! — Лицо его дергалось.

Может быть, он говорил правду. Когда мы с мамой приехали в этот город, мы пошли посмотреть на гетто. Гетто еще стояло. Высокие пустые стены без потолков и без крыш. На ступенях, которые никуда не вели, а обрывались на первой же площадке, сидела какая-то женщина. Над ее головой на уровне третьего этажа висела ванна.

— Что ты молчишь, сука! — заорал блондин. — Ты слышишь, что я говорю?

— Да,— сказала я.

Дурак поднялся на четвереньки и уставился на меня. У него были толстые губы и не хватало переднего зуба.

— Он давил их, как клопов! И таскался к этой суке. Каждый день таскался к ней. До самого конца. А потом пришли русские и убили его. И тогда она вышвырнула меня, как собаку!

Дурак промычал что-то, поднялся на ноги и побежал — спотыкаясь и размахивая руками.

— Идиот! Выродок... Побежал к своей мамаше. Утопить его, как крысу,— сказал блондин.

— У меня здесь вся семья осталась, пятьдесят два человека,— объясняла женщина, сидевшая на ступенях.— Старшему сыну было тринадцать лет. Мы как раз успели

отметить его бар-мицва<sup>1</sup>. Вы знаете, что такое бар-мицва? Сейчас это уже не всегда отмечают. Немец застрелил его посреди улицы. Мы все плакали. Тогда, в первые дни, еще плакали о каждом...

— Всех утопить,— прошипел блондин,— утопить, как крыс...

— Ты хорошо говоришь по-русски,— сказала я.

— Я немец! — заорал он. — Поняла — я немец!

— Как хочешь,— сказала я. — Но твоя мать искала тебя.

— Моя мать? — Он посмотрел на меня, руки его дрожали. — Что ты врешь, сука! Она вышвырнула меня, как собаку... Она боялась меня, потому что я немец. Потому что мой отец был немец!

— Она боялась... Да, она боялась, потому что соседи знали. Люди посоветовали ей, чтобы она вывела тебя на шоссе и оставила. Она думала, так будет лучше. Ей сказали, что тебя заберут в детский дом и там ты будешь, как все. Но потом она искала тебя.

— Врешь, ты врешь! Откуда тебе знать мою мать?

— Она просила меня написать заявление. Она не умела писать по-русски. Она просила написать, чтобы ей помогли найти тебя.

— Ты врешь. Я удавлю тебя, если ты врешь...

— Она сказала адрес, но я теперь не помню... И видишь, как бывает,— мой мальчик тоже ушел и не вернулся. Я не могу найти его.

— Твой выродок здесь! Ты что, не помнишь — он здесь! — Он ткнул рукой куда-то вниз.

Я увидела в траве клумп,<sup>2</sup> маленький клумп с обломленным задником. Я подняла его, он был забит землей.

— Мой мальчик не был таким маленьким,— сказала я. — Ты обманываешь меня...

— Заткнись! — заорал он.

— Хорошо, я возьму это домой... Может быть, он вернется...

— Я удушу тебя! — сказал он. — Я удушу тебя. — Он шагнул ко мне и вытянул вперед свои дрожащие пальцы.

---

<sup>1</sup> Бар-мицва — церемония совершеннолетия (иврит).

<sup>2</sup> Клумпы — литовская деревянная обувь.

— Я вспомнила,— сказала я.— Тебя зовут Ромас. Ро-  
муальдас. Она искала тебя...

Он остановился, потом попятился.

— Ведьма... Ты ведьма!

— Вы жили в Шяуляе...

— Молчи!

Я протянула к нему руки, он вскрикнул и побежал.

— Подожди,— сказала я.— Куда же ты? Ты не можешь оставить меня одну... Куда же ты, мальчик? Поймай...

---

## ПОСЛЕ

Вначале я оказалась на поляне. Это была поляна, самая настоящая зеленая поляна, заросшая кустами и травой. Правда, вокруг не было ни леса, ни деревьев. Вокруг был особняк, тот самый особняк, куда мы с отцом ходили, когда я была девочкой. «Легкая решетка вдоль улицы, широкий въезд...» Нет, въезд был уже не тот — въезда уже не было. Обоих флигелей — «флигели для дворовых» — того, где помещалась «Дружба народов», и того, где была «Юность», — тоже не стало, они исчезли вместе с решеткой, вместе с легкой решеткой... Не стало асфальта, блестящих машин с солидными шоферами, чугунных цепей. «Парадный двор, украшенный в центре цветником»... Не стало парадного двора. Исчез памятник, подаренный украинскими письменниками письменникам российским. Все исчезло — и службы, и ворота, и редакции, и комиссии, осталась зеленая поляна. А может, она была здесь раньше — до особняка, до парадного двора, до легкой решетки.

Поляна мне нравилась. Трава приятнее, чем асфальт. Поначалу я подозревала, что асфальт только спрятался под травой и в один прекрасный день захочет снова выбраться наружу, но нет, потом я поняла, что он действительно исчез — вместе с флигелями. И поляна эта была нездешняя — наверно, ее занесло сюда откуда-то из другого места.

Двери особняка не открывались, и никто не выходил оттуда. Сама я тоже не подходила к дому.

Однажды на поляну въехал автобус. Голубой автобус катил по траве, как будто здесь по-прежнему был асфальт. Из автобуса стали выходить люди, один за другим прыгали они на траву и рассаживались в тени дерева.

Я подошла к ним и увидела знакомую, литературного критика, красивую женщину с зелеными, как малахит, глазами. Мы не были близко знакомы, но я обрадовалась ей. Я решила расспросить ее обо всем. Наверно, они знают, отчего мы очутились здесь и куда подевался асфальт. Ведь их привез настоящий голубой автобус.

Она тоже узнала меня и, кажется, тоже обрадовалась. Мы потянулись друг к другу, и я почувствовала ее руку в своей. Как долго я никого не видела... Живая человеческая рука лежала в моей руке, я ощущала ее тепло и чувствовала, как она дрожит. Волнуется и дрожит... Мне захотелось сказать что-нибудь хорошее этой славной женщине, захотелось погладить ее руку. Я провела пальцами от кисти к локтю, и тут... Тут все оборвалось. Пальцы мои провалились в пустоту. Существовала только часть руки, обрубок руки — и больше ничего... Ее рука и моя рука... Она смутилась, опустила глаза и отодвинулась. Тогда я поняла все.

Я поняла, что нас нет. Нет ни этой поляны, ни особняка, ни травы, ни солнечных бликов. Наш мир разбился вдребезги. Но образ оказался прочнее плоти.

Люди, которых не было, сидели в тени под деревом. Старое прекрасное ветвистое дерево с толстым шершавым стволом росло на поляне. Но его тоже не было. Того, что осталось, не было так же, как того, что исчезло...

Я побрела прочь.

Я шла, и одна картинка без всякой связи сменяла другую, словно сценки из разных спектаклей. Я шла сквозь эти декорации, не чувствуя усталости, но сердце мое — которого не было, я знала, что его нет, — болело и сжималось.

Потом я увидела моего мальчика, моего младшего сына, и кусок нашей квартиры, входную дверь с торчащим в замке ключом. Ключики болтались на колечке и слегка покачивались, как будто кто-то только что дотрагивался до них. Напротив двери стояла обитая кожей скамья — такая, как ставят в музеях посреди зала, — и на ней лежал мой муж. Я подумала, что это хорошо, что они здесь вместе — муж и сын. Кажется, мальчик вспомнил меня. Он немного подумал и сказал, чтобы я оставалась с ними.

Вместо пола тут был крупный грязный песок. Я дотронулась до него рукой и почувствовала, какой он холодный и колючий. Сверху светило яркое желтое солнце, но песок оставался холодным. Солнце светило всюду, а песок все равно оставался холодным. Время стояло. Или изменилось настолько, что его невозможно было узнать.

— Мама, я хочу велосипед,— сказал мальчик.— Правда, у меня был велосипед? Я хочу покататься на моем велосипеде.

— Я не знаю, где он,— сказала я.— Он, наверно, куда-то укатился...

— Я хочу, чтобы он прикатился ко мне обратно. Он прикатится ко мне обратно?

— У тебя будет другой велосипед,— пообещала я, чтобы успокоить его.— Хочешь, я расскажу тебе сказку? — Я попыталась вспомнить какую-нибудь сказку, но это было непросто. Наконец память моя зацепилась за подходящую фразу: — Медведь шел-шел и проголодался. Вот он и думает, медведь... Сяду на пенек, съем пирожок... А Маша-в корзинке все слышит и говорит: «Не садись на пенек, не ешь пирожок»...

— Ты совсем не печешь мне пирожки,— сказал мальчик.

— Я не знала, что тебе хочется пирожка.

— Если бы у нас был пирожок, я бы, наверно, захотел его.

Рука моя потянулась погладить его головку и провалилась в пустоту. Но я ведь знала — знала, что этого не следует делать...

— Давай,— сказала я,— давай испечем пирожки из песка.

Я принялась сгребать в кучку холодный сухой песок, но пирожок не получался.

— Ты не умеешь печь пирожки,— сказал мальчик.— Раньше ты умела, а теперь забыла. Ты все забыла.

И тут кто-то принялся колотить в дверь. Стуча не было слышно, но дверь сотрясалась, кто-то ломился в нее снаружи, дверь содрогалась и прогибалась, как будто в нее били прикладами.

Я подумала, что долго она так не выдержит, но потом вспомнила, что ее нет и поэтому она может оказаться прочнее, чем кажется. Вдруг дверь распахнулась и снова захлопнулась, не дав нам рассмотреть, что же там, за нею, творилось.

На песок к нашим ногам упал кулечек. Листок из ученической тетрадки, свернутый в кулечек. Я развернула его. Внутри была рассада: стебельки, листики, черные комья земли на корешках. Влажная черная земля...

«На ск. кг картофеля привезли больше во второй раз, чем в первый?» — было выведено фиолетовыми чернилами. Кажется, я уже видела когда-то этот листок и эту задачу.

Семь росточков лежали передо мной. Я расправила их, разгладила листики и осторожно посадила все семь растений в серый холодный песок.

Мы не верили, что они вырастут, но все-таки ждали и не сводили с них глаз. И они стали расти. Они росли быстро, у двух из них листья были большие и гладкие, а у остальных тонкие и нежные, как щека ребенка. И вместе с ними росла наша надежда. Мы надеялись, что они зацветут, в них созреют семена, и тогда мы засеем этими семенами весь песок. Мы все смотрели на маленькие зеленые растения, и они росли под нашими взглядами. На одном из них — одном из тех двух с крупными гладкими листьями — вытянулся крепкий толстый стебель с большим бледным бутонем. Потом бутон развернулся в прозрачный белый цветок. Мы склонились над ним. Мы боялись отойти от него. И тут на лепестках выступила красная влага. Красная как кровь... Она бурлила, пенилась и вскипала, пока не заполнила собой всю чашечку и не перелилась через край. Мы все смотрели. Красная, как кровь, пена хлынула на песок и залила все семь растений. И тут же на наших глазах они побурели, поникли и увяли.

Тогда мой муж рухнул на землю, лицом вниз и застыл. Пальцы его впились в песок, а голова моталась из стороны в сторону и билась о землю. Я наклонилась над ним и попыталась утешить его.

— Ну что ты, — сказала я, — разве можно так убиваться из-за какого-то цветка? — И, стараясь успокоить его, я поднесла руку к его лицу.

Моей ладони коснулись его губы. Сухие горячие губы лежали у меня в ладони. Я высвободила свою руку и отодвинулась.

— У тебя жар, — сказала я.

— Да! — закричал он. — Я хочу пить! Воды! Принеси мне воды! Слышишь?!

— Хорошо, — сказала я.

И ушла, оставив их вдвоем.

В этом мире тоже были какие-то встречи, какие-то разговоры, даже происходили какие-то события, не имевшие ни начала, ни конца, ни последствий. Однажды я увидела знакомую улицу, серую стену дома, кусок тротуара и водосточный желоб. Я постояла, стараясь удержать их и вспомнить переулок, начинавшийся за углом этого дома, но стоило мне заглянуть в подворотню, как вся улица исчезла и больше не появлялась.

Потом я подняла глаза и увидела своего старшего сына. Он стоял один посреди комнаты с белыми стенами.

— Пришла... мать... — сказал он, и слезы покатались у него из глаз.

Я протянула руку, и теплые капли упали мне на ладонь. Его глаза могли плакать...

— Не плачь, — сказала я. — Не плачь, мой милый...

В этой комнате не было окон, только белые стены и длинные столы вдоль стен, а на них всякие приборы и множество склянок, и какие-то порошки и микстуры в этих склянках. Но только одна вещь была здесь настоящая — кран. Кран торчал из стены, и когда я поворачивала белую фаянсовую головку, из него текла какая-то жидкость. Сначала она казалась прозрачной, как вода, но потом мутнела и начинала дымиться. Я боялась поднести к ней руку — боялась, что она тоже окажется настоящей, как и кран.

Наше пребывание в этой комнате, в этой лаборатории без окон и дверей, затянулось.

— Мать, открой воду, — просит он время от времени.

Я подношу руку к гладким фарфоровым ребрышкам крана и поворачиваю его, мы стоим и смотрим, как белая жидкость течет и проваливается сквозь широкую плоскость стола. Мы не знаем, куда она исчезает, но чувствуем, как комната постепенно наполняется странным тяжелым туманом. Белые стены тускнеют, напиткиваются паром и пропадают во мгле.

— Расскажи про Беговую, — просит сын.

— Про Беговую? — повторяю я и вдруг вижу себя шагающей между отцом и матерью мимо высоких стен нашего дома.

Широкое крыльцо из шести ступенек и над ним вечно запертая дверь... Магазин «Ткани», булочная... В окне булочной красуется громадная румяная ненастоящая хала —



из чего она сделана? Из глины, — говорит мама. Из папьемаше, — поправляет отец.

— Беговая, — начинаю я свой рассказ, — самая лучшая улица на свете. Она вся вымощена кирпичом. Блестящим красным кирпичом. Таким, из которого обычно складывают каминьы. Вся мостовая блестит, не хуже чем паркет в какой-нибудь бальной зале. А по сторонам стоят маленькие домики. Их почти не видно из-за кустов, которые растут в палисадниках. Перед каждым домиком — громадные кусты сирени. Если идти от нашего дома в сторону Хорошевки, по правую руку есть кривая улочка, даже не улочка, а так — проход между двумя садами. С двух сторон деревянные заборы, а внизу, под заборами, зеленая травка. Песчаная тропинка, а по бокам зеленая травка...

— Ты все врешь, мать, — говорит он. — Я помню, там были многоэтажные дома.

— Ничего подобного! Как ты можешь помнить — ты был совсем маленький. На всей нашей улице был только один многоэтажный дом — тот, в котором мы жили. Из нашего окна было видно Ваганьковское кладбище и за ним Серебряный бор.

А в начале улицы есть большой сад. Не знаю, кто его насадил, какой-нибудь чужак. Громадный сад, а в углу маленький домик, с маковкой, будто церквушка. Сад со всех сторон огорожен высокой чугунной оградой, но перелезть через нее совсем нетрудно. Посреди сада есть пригорок, заросший кустами. Не помню, как они называются, эти кусты, но они цветут все лето. Ветки сплошь усеяны мелкими бледно-розовыми цветами... Глупый, почему ты плачешь, ты не веришь?

## СНЕГ ЛЕТУЧИЙ

*«Я приближался к месту моего назначения».*

Чтобы вовремя приблизиться к этому месту, которое называется Црифин, я должен встать в пять и в пять тридцать выйти из дому. Весь вопрос в том, как встать; если будильник, сволочь, испортился и не звонит, а разбудить некому. Я отдал себе приказ — сейчас заснуть — заснуть — а потом проснуться. Да, но если первая часть приказа будет выполнена, то вторая — вряд ли. Я понимал это, и это мне мешало. Я лежал, и голова моя тяжелела какой-то нехорошей тяжелой тяжестью. Нужно было срочно найти выход из создавшегося положения, найти верное решение, прежде чем я безнадежно усну и не проснусь в предписанный час.

Я сел на постели. Кто-то должен разбудить меня в пять. Да. Непременно.

— Слушай, ты можешь разбудить меня в пять? — спросил я мужика, возившегося возле печки. — В пять тридцать я должен выйти из дому...

Он поерзал на корточках, обернулся неспеша и поглядел на меня с сомнением.

— Зачем тебе, барин, в такую рань? Нынче не лето... Раньше семи и не рассветет...

— Дурак, — пробормотал я. — В семь тридцать я должен быть... на месте.

— А ты и есть, барин, на месте, — засмеялся мужичок. — Какого тебе лучшего места? Ложись себе да спи. Утречком самовар поставим, чайку попьешь. А там уж, как рассветет, и тронешься. Чай, дорога не ближняя...

— Он прав, — сказал мужчина, лежавший на лавке напротив. — Отдыхайте, поручик. Раньше завтрашнего вечера все равно никуда не доберетесь. Тут до ближайшей станции, я думаю, верст тридцать. Да и погода теперь ненадежная...

— Ненадежная, верно, ненадежная,— подхватил мужик.— Сейчас ясно, а через час, глядишь, метель. А уж как заметет, так и не выберешься...

— Ле холь ха-рухот!<sup>1</sup>— заорал я.— Какой я вам поручик! Я должен встать в пять! И в семь тридцать прибыть на место моего назначения...

— А какво место вашего назначения?— спросил мужчина.— Если не секрет...

— Секрет!— сказал я.— Сод цваи<sup>2</sup>.

— Как вы назвали?— переспросил он.— Это где же? Где-нибудь в Монголии?

— Нет, не в Монголии. Совсем в другой стороне... Гораздо ближе...

— Не слышал... Не приходилось,— сказал он.

— Не важно! Но я должен встать в пять.

— А вот, может, жена тебя, барин, разбудит...— подумал мужичок.— Она по хозяйству-то рано встает... Слышь, Василиса Егоровна, барин хочет, чтобы ты его с утра с самого, в пять часов, разбудила.

— Да разве ж это утро — пять часов?— сказала, появляясь из-за занавески, женщина.— Это ж темень темная... Ночь... Кто ж теперь в такой час встает? Ты, барин, спи. Я вставала, когда корову доила, а теперь не доим — телиться ей скоро. И ты, барин, ложись. Ты озяб, видно. Зачем тебе вставать? Хочешь, вина выпей. Согреешься и уснешь...

Я не стал ей объяснять — что толку? Глупая женщина... Я встал с лавки и вышел наружу, на крыльцо.

Огромная степь, занесенная снегом, лежала и сияла под луной. Белый, сверкающий, никем не тронутый снег со всех сторон подступал к моим ногам. А сверху лежала луна. Луна и звезды...

— Простынешь, барин,— послышался голос за дверью.

— Молчи, глупая женщина,— сказал я.— Молчи... Дай постоять... Немного постою и отправлюсь к месту моего назначения. Знаешь, что сказал раби Бубер? Лишь на том месте, где ты стоишь, ты сумеешь приблизиться к месту своего назначения...

---

<sup>1</sup> Ко всем чертям (*иврит*).

<sup>2</sup> Сод цваи — военная тайна (*иврит*).

---

## СОСТАВ

— Может, пойдем ко мне? — предложила Галина, когда мы вышли из проходной. — У нас, правда, не очень шикарно, — прибавила она, смущаясь. — Ну, просто посидим, поболтаем...

Болтать мне с ней было совершенно не о чем. Я сказала, что хочу поехать на пляж.

— Тогда давайте сядем на одиннадцатый! — Она весело направилась к остановке, словно само собой разумелось, что мы должны ехать вместе.

Бывают же такие люди — первый попавшийся случайный знакомый у них мгновенно становится приятелем и другом, будто они всю жизнь только его и ждали. Я объяснила, что имею в виду не городской пляж, а Зеленый мыс. Несколько лет назад я жила там с мужем и детьми в кемпинге. Галине было все равно, куда ехать — на Зеленый мыс так на Зеленый мыс. Наверно, если бы я сказала, что сию минуту отправляюсь в Среднюю Азию, она и тогда увязалась бы за мной.

Мы влезли в переполненный автобус и всю дорогу, километров двадцать, простояли, притиснутые друг к другу. Галя жаловалась, до чего же она закутилась и замotalась, ни на что не хватает времени, да и на работе тоже кошмар — никто ничего делать не умеет и не желает, все спихивают на нее. (За те три дня, что я провела на студии, Галина просидела за своим столом не больше двадцати минут, все остальное время она суежилась в коридоре, в буфете, бегала в соседние комнаты, разыскивая какие-то пропавшие материалы, которые она точно кому-то отдала, только не помнила, кому, и других сотрудников, из которых тоже никто на своем месте не сидел, но срочно ей зачем-то требовался.)

— Ковалев вообще за два месяца подготовил одну программу на двадцать минут, и как будто так и надо!

«Ковалев... Кто это — Ковалев? — думала я тоскливо. — Наверно, тот полный мужчина, что сидит напротив нее».

— Иващенко — это и говорить нечего — даже фотографа не может обеспечить! — сообщала Галя торопливым обиженно-усталым голосом, словно боялась, что не успеет рассказать обо всех.

Деваться мне было некуда, приходилось слушать.

— Хорошо, хоть Лизка сейчас с садиком на даче

Наверно, ее дочка. Мы проехали через город и попали в район заводов. В окна ударил резкий, мучительный запах химического производства. Кажется, прежде здесь все-таки не было такой ужасной вони. Автобус трясся по булыжнику и никак не мог обогнать ползущий впереди трамвай. Галя продолжала говорить, теперь она рассказывала о каком-то своем приятеле, недавно приехавшем сюда из Ленинграда: такой прекрасный специалист, такая умница, но вот — не умеет устраиваться, работает простым инженером, и то норовят выгнать. Заводы остались наконец позади, потянулся рабочий поселок, но тошнотворный запах почему-то никак не выветривался.

Автобус постепенно разгрузился, я смогла отодвинуться от Гали и, от нечего делать, принялась разглядывать ее платье и жакет. Желтая материя с коричневыми пятнышками — под леопарда — лет десять назад считалась модной, но в Москве теперь такая расцветка почти не встречалась. Галин костюм был сшит очень хитро: портниха подобрала материал так, что на платье преобладал желтый цвет, а на жакете коричневый. Правда, ни тот, ни другой вовсе не шел к ее смуглому лицу.

В конце концов мы вылезли из автобуса, перебрались через железнодорожную насыпь, миновали полосу низеньких колючих кустиков и попали на пляж. Знакомый навес, те же грибочки, только краска облупилась. Людей непривычно мало, и весь песок почему-то засыпан мусором. Может, оттого, что не сезон, да и вечер уже... Я начала раздеваться и подумала о своей спутнице — как же она будет купаться, купальника-то у нее нету?

— Что ты! — успокоила меня Галя (в дороге мы быстро перешли на «ты»). — Я в нем всегда хожу.

Мне показалось это несколько странным, к тому же непонятно было, как она в таком случае поедет обратно — в мокром, что ли?

Она призадумалась, огляделась по сторонам и махнула рукой:

— Купаться буду без лифчика, а плавки после сниму, и все. Подумаешь, кто увидит-то!

Тело у нее было желтое от старых загаров, грудь маленькая, но с большими темно-коричневыми сосками. Прикрывшись руками, она побежала к морю. Я тоже вошла в воду и поплыла, но все вокруг было как-то нехорошо. У берега волны сбивали желтую пену, и даже на глубине вода оставалась мутной. Заходящее солнце подсвечивало плывущий со стороны заводов сизо-желтый дым. Мне показалось, что и здесь я продолжаю чувствовать его мерзкий запах. Тащиться в такую даль, чтобы найти только вонь и грязь... Как глупо! Уж лучше было поехать на городской пляж. А ведь четыре года назад мы прожили здесь почти целый месяц — пока нас не выгнала холера, — и все было так славно, солнечно и чисто: прозрачное море, прозрачный воздух... Годовалый Том, совсем голенький, в одной войлочной шляпе с широкими полями, стащил у итальянцев полотенце и, захлебываясь от счастья, с добычей в руках зашлепал босыми белыми ножками по воде.

— Поплыли к буйкам! — предложила Галя.

Я помотала головой: нет, хватит, я устала и замерзла. И вообще, пора было убираться отсюда — солнце уже еле просвечивало сквозь дымную пелену, последние купальщики торопились одеться и покинуть пляж. Я вышла на берег и стала растираться полотенцем. Галя запрыгала рядом на одной ноге, вытряхивая воду из уха. Я накинула на себя платье и старалась вытянуть из-под него мокрый купальник. Налетел порыв ветра, я глянула на небо, но невозможно было разобрать — край тучи навис над горизонтом или шлейф дыма. В любом случае следовало поторапливаться. Я взылась за трусы, уже сунула в них одну ногу, но тут порыв ветра сбросил со скамейки мою сумку — она раскрылась, бумажки разлетелись, закружились, я поскакала за ними, придерживая рукой трусы, Галя тоже бросилась вдогонку, но поймать удалось только командировочное удостоверение. Остальные документы и деньги исчезли, как сквозь землю провалились, вместо них вокруг валялись обрывки оберточной бумаги и прочий мусор. Вот так история — черт знает что! Паспорт-то, по крайней мере, не мог далеко улететь, он ведь тяжелый. Кое-как подтянув трусы, я вернулась к скамейке, заглянула еще раз в сумку — в кармашке задержалась

лишь Машина карточка, все остальное высыпалось и пропало. Я подняла с песка мокрый купальник, сунула вместе с полотенцем в пустую сумку, Галя подала мне пилку для ногтей, губную помаду и пачку анальгина — все, что ей удалось подобрать.

На пляже не осталось ни единого человека. Ветер гнал и закручивал песок, пустые стаканчики из-под мороженого, клочки газет. Я обрадовалась, увидев торчащий из песка серый угол, но это оказался не паспорт, а всего лишь календарик на семьдесят четвертый год, который мне подарила Таня Луковникова. Еще удалось найти записную книжку, она зацспилась за куст.

— Пойдем посмотрим, может, туда отнесло. — Галя махнула рукой в сторону насыпи.

Я побрела за ней следом, не надеясь уже ничего вернуть и мучаясь от досады и злости. У насыпи ветер намел кучки песка, и на одной из них лежала, точно приклеенная, розовая десятка — одна из тех трех, что выпорхнули из моей сумки. Подобрав ее, я немного повеселела и двинулась дальше вдоль насыпи, внимательно осматривая склон. Дорогу мне преградила какая-то свалка.

— Что вы тут делаете? — услышала я вдруг голос, подняла голову и увидела старуху с пустым помойным ведром.

Галя принялась объяснять ей, что случилось. Старуха недоверчиво выслушала, ничего не сказала, повернулась и пошла к стоявшему в стороне двухэтажному барaku.

На куче мусора я увидела кошелек, вытертый, порывелый, у меня никогда такого не было, но я все-таки зачем-то подняла его и раскрыла. Внутри лежала черная брючная пуговица.

— Пойдем, — позвала Галя, видно, отчаявшись помочь мне.

— Главное, паспорт, — я вздохнула и медленно зашагала обратно вдоль насыпи.

Сзади возник стук колес. Занятая своими поисками, я не сразу обратила на него внимание, но даже когда и услышала, не стала оборачиваться. По этой ветке подвозили сырье к заводам. Поезд приближался и как будто замедлял ход. Меня это нисколько не интересовало — мне нужно было искать свой паспорт и деньги. Медленно и четко отсчитывая стыки, поезд поровнялся со мной, прополз еще немного — только теперь наконец я глянула на него, какой странный состав: серые метал-

лические вагоны, совершенно одинаковые, плотно пригнанные двери и никаких окон... Последний стук, угрюмое шипение — состав качнулся назад и встал.

«Зачем ему потребовалось тут останавливаться? И как мы теперь пройдем к автобусу?» — подумала я и обернулась, отыскивая глазами Галю. Она лежала на насыпи, уткнувшись лицом в гравий и зажав руками уши.

«Что с тобой?» — хотела я спросить, но глянула еще раз на неподвижный состав и не спросила.

Кругом было тихо, только на пляже изредка чавкали волны и песок шелестел под ветром.

1974



---

## «ВСЕ ОБЕТЫ»<sup>1</sup>

Этот обет был дан в 1941 году в Варшавском гетто. Ицик вернулся домой после работы. Ему удалось пронести в гетто буханку хлеба. Он сделал это так: разрезал хлеб на тонкие ломтики, ломтики разложил рядом на платке — платок был большой, — затем аккуратно свернул его, так, чтобы получилась длинная плотная лента, и обмотал эту ленту вокруг груди. Концы он не стал завязывать — узел мог выдать его, — а наложил друг на дружку и застегнул изнутри — чтобы руки полиция не наткнулись на булавку. Хлеб лег на тело мягкой ровной полоской и согревал по дороге в гетто. Но зато потом леденил сердце, пока колонну проверяли в воротах. Однако все кончилось благополучно. Ицик вспомнил мать — платок был материнский — и в который раз подумал, что этот белый мягкий платок приносит ему счастье.

Добравшись до своего дома, Ицик поднялся на четвертый этаж и вошел в квартиру. Комнаты выглядели теперь не так, как до войны, они были разгорожены и перегороджены шкафами, кусками фанеры и всякими тряпками. По извилистому проходу между кроватями, матрацами, столами и табуретками Ицик пробрался в тот закуток, где проживало их семейство. Все, кроме Фейге и малыша, были на месте, и все в напряженном ожидании уставились на Ицика. Племянники обступили его со всех сторон, наверно, учуяли запах хлеба — у детей и зрение лучше, чем у взрослых, и слух тоньше, и нюх, как у собак.

Но Ицик не спешил никого угощать. Невестка объявила ему, что Фейгеле пошла навестить тетю Сару

---

<sup>1</sup> «Все обеты» — (коль нидре, *иврит*) молитва, которую читают в Судный день.

и малыша тоже взяла с собой — чтобы подышал воздухом. Ицिका это разозлило. Ведь могла пойти к своей тете Саре днем, десять раз могла сходить, пока его тут не было, так нет — утащилась как раз перед его возвращением, да еще и мальчика забрала с собой. И именно в тот день, когда он принес хлеб.

Отец сидел на стуле сгорбившись и смотрел на Ицика печально и даже как-то просительно. Ицик отметил про себя, что отец за последний месяц ужасно состарился и стал сам на себя не похож. Но все-таки он твердо решил первый ломоть отдать мальчику и подавил в себе жалость к отцу. Он вытащил из-под кровати сундучок, достал оттуда бритвенные принадлежности, раздобыл у соседки стаканчик кипятка и уселся за стол бриться. Племянники продолжали смотреть на него большими блестящими глазами, но Ицик молча намыливал подбородок и щеки и с нарастающим раздражением думал о том, что никто из домашних не позаботился даже вскипятить чайник к его приходу. С тех пор, как умерла мать, никто в этом семействе ни о чем не заботился, все только ждали подношений от него, от Ицика. Как будто он обязан рисковать ради них своей жизнью, а они обязаны только лопать все, что он ни принесет.

Ицик отложил в сторону кисточку и принялся скрести двухдневную щетину. Он брился не спеша, потому что следовало протянуть время до возвращения Фейге. Ведь если он кончит бриться раньше, чем они с мальчиком появятся, ему снова придется встретиться с голодными взглядами родственников. А так его отделяет от них осколок тусклого рябоватого зеркала.

И вот, когда Ицик уже покончил с левой щекой и собирался взяться за правую, в квартире раздался какой-то шум, захлопали двери, затоптали ноги, и в их угол ввалились люди. Они привели Фейге. Ицику сразу стало ясно, что мальчика с ней нет. Фейге усадили на стул. Лицо ее было исцарапано, волосы всклокочены, одежда разорвана. Люди, которые привели ее, постояли немного и один за другим покинули комнату. Ицик поднялся, собираясь спросить о чем-то жену, но губы его не слушались. Он снова опустился на табурет и вдруг почувствовал, как грудь ему перетянуло обручем. Он рванул из-под рубахи материнский платок, булавка раскрылась и оцарапала кожу, сверток с хлебом плюхнулся на стол и тихонько, неторопливо, стал сползать со стола на пол. Ицик ударил по нему ребром ладони

и отшвырнул прочь. Значит, и платок не помог, платок тоже оказался частью обмана и надувательства, как и все тут. Фейге молчала, но из-за фанеры, из-за занавесок, из-за тряпок к Ицику проникли два слова. Это называлось *детская акция*. Ицик ухватился за край стола и снова поднялся на ноги. Он смотрел на Фейге, а она смотрела на него.

— Ты не кончил бриться,— сказала она наконец.

— Я добреюсь, когда мне вернут сына!— крикнул Ицик и кинулся вон из дома.

Он успел заметить, как родичи за его спиной придвинулись к хлебу— все, даже отец. Отец, правда, не покинул своего стула, но стал клониться вбок, рассчитывая дотянуться до ближайшего куска. Только Фейге осталась сидеть, как сидела.

Больше Ицик ее не видел. В Регенсбурге; в американском лагере для перемещенных лиц его разыскал старый— очень старый, еще довоенный— приятель Мойшеле.

— А?— сказал Мойшеле.— Признайся— ты не думал, что мы встретимся! Им не хватило пары недель. Да,— прибавил он, помолчав,— для нас с тобой не хватило пары недель... Я ведь, знаешь, обратился в это отделение— розыска родных... Но пока не ответили.

В эту минуту Ицик подумал, что с мальчиком не случилось бы ничего плохого, если бы Фейге не вздумалось тащить его на улицу.

Несколько дней спустя в бараке заметили, что правая щека Ицика начала зарастать щетиной, в то время как левая продолжала оставаться выбритой. Но поскольку у каждого хватало своих забот, никто не собирался слишком долго задерживаться взглядом и мыслями на физиономии соседа. Одного только Мойшеле такая странность несколько огорчила. Дов Каминский, еврей с Украины, любивший все объяснять, и тут объяснил, что у Ицика рассеянность на почве пережитого. Но Мойшеле догадался, что дело обстоит как раз наоборот: виной тут не рассеянность, а скорее сосредоточенность на какой-то мысли.

Дов, который в немецком лагере вместе с еще двадцатью девятью евреями день и ночь стриг и брил тянувшихся мимо него бесконечной чередой узников, безусловно

мог считаться специалистом в данной области. Он дождался, пока Иццик возьмется за свое странное полубритье, и уселся возле него на койке.

— Знаешь, — сказал Дов, — если бы тогда меня схватили за руку и спросили, кто только что прошел мимо — мужчина или женщина, я бы не сумел ответить. А теперь, представь себе, я вижу их всех. Я вижу лица — вот что удивительно. У них появились лица. Но я же не смотрел на них. Клянусь тебе, я не подымал головы.

— Ничего, — сказал Иццик, — в конце концов они все пройдут и оставят тебя в покое.

— Ты думаешь? — Дов вздохнул.

Он начал этот разговор не ради себя. Он надеялся вызвать Иццика на откровенность, узнать, что у того на сердце, и убедить не валять дурака. Но Иццик не пожелал вступать ни в какие рассуждения.

— Не волнуйся, — сказал он, вытирая бритву о полотенце. — Со мной все в порядке.

Мойшеле все-таки добился, чтобы с Ицциком побеседовал врач. К тому времени правая щека Иццика уже скрылась под густой черной бородкой. Врач, имевший некоторое представление о душевном состоянии обитателей лагеря перемещенных лиц, постарался начать изда-лека. Он заговорил об англо-французских разногласиях в вопросе будущего устройства интернированных. Однако Иццик не интересовался политикой и заявил напрямик, что доктору не должно быть никакого дела до чужой бороды. Пусть лучше проверяет качество пищи.

Пожалуй, единственным реальным последствием этого настойчивого чудачества явилось затянувшееся пребывание Иццика в лагере перемещенных лиц. В списках ожидающих очереди на въезд в Палестину он оказался в самом конце.

Но все-таки и для него наступил тот час, когда, промучившись много дней и ночей в тесном корабельном брюхе, он ступил на землю предков. Война за Независимость была уже позади, и представитель армии, встречавший новоприбывших в порту, не польстился на Иццика. Итак, он был освобожден от воинской повинности и поселился в Иерусалиме, где появление еще одного чудака никого не смутило. Многие даже не догадывались, что Иццик сам, по собственной доброй воле, привел себя в столь нелепый вид. Соседи полагали, что это

следствие какого-то заболевания или травмы, и не задевали беднягу расспросами. Его даже попытались женить на вдове с двумя детьми из хорошей религиозной семьи.

— Подумаешь,— сказал сват,— какая большая беда, если у человека не хватает несколько волосинок в бороде! Слава Богу, руки-ноги у него на месте и все остальное тоже.

Но Ицик жениться не пожелал. Он нашел себе жилье и работу и в общем совсем неплохо устроился при тогдашнем-то положении дел. Отец Ицика был часовщиком, так что Ицик с детства умел копошиться в винтиках и колесиках всех размеров и марок. Правда, женившись на Фейге, он захотел быть умнее отца и занялся вместе с тестем малярными работами, но теперь его снова потянуло к часам с их мерным тихим печальным тиканьем. Оказалось, что и здесь, в Иерусалиме, можно прокормиться заменой лопнувших пружин и чисткой крошечных зубчиков.

Нашелся у Ицика даже друг и доброжелатель, владелец букинистического магазина, человек пожилой, тридцать лет проживший в Южной Африке, но на старости лет вдруг вспыхнувший тоской по чудной благоуханной родине, некогда утраченной невезучими предками.

— Теперь, когда у нас есть государство,— говорил реб<sup>1</sup> Менахем,— я не буду топтать чужую землю. Мне хватит болячек и здесь.

Почти все свободное время Ицик проводил в букинистическом магазине. Покупатели заходили сюда редко, поэтому никто не мешал их беседам с реб Менахемом, которые складывались обычно из редких фраз, оброненных за чтением и рассматриванием почтенных старинных книг с дивными рисунками, от которых у Ицика захватывало дух и ломило в груди.

— Что за руки были у этих художников! — сообщал он, блаженно улыбаясь, реб Менахему, склонившемуся над каким-нибудь недавно приобретенным по случаю тяжким и темным томом. — Как они сумели вывести такие линии! Вы видите — ведь эти рисунки не лежат на бумаге, они погружены в нее, они выступают из глубин...

Реб Менахем любил Ицика и никогда не продавал ни одной книги, не показав ее прежде часовщику. Но еще больше он любил показывать фотографии своих дочерей, оставшихся в Южной Африке.

---

<sup>1</sup> Реб — уважительное обращение к пожилому человеку.

Ицик хвалил их полные гладкие лица, и вид белой веранды, увитой красными и желтыми цветами, и детей в синих бассейнах, но делал это из уважения к букинисту, а не из зависти к далекой нарядной жизни. Фотографии не трогали его.

— Ицик, — сказал однажды реб Менахем. — Может быть, я не должен этого говорить, но все-таки у меня болит сердце видеть, как уходят твои молодые годы.

Ицик придвинул к себе книгу и раскрыл ее на середине. Это было новое издание, которому в сущности не место в букинистическом магазине, но по-своему замечательное. Тут были фотографии фресок, мозаичных полов и просто камней, оживающих от собственной древности. Книга называлась «Синагоги Эрец-Исраэль». Ицик никак не мог понять, почему люди, у которых есть деньги, не бегут купить всю эту лавку, все эти плотные тома, которые так сладко ложатся в ладони, насыщают глаз и ласкают душу и совсем недорого стоят. Он перевернул страницу, достал из кармана лупу и принялся разглядывать голубоватый снимок. «Мозаичный пол синагоги в Бет-Шеане. 4 в. н. э.», — гласила подпись. Ицик заметил щербинку на одном из камней в уголке снимка, и это обрадовало его. Значит, пол был настоящий, а не сложенный каким-нибудь ловким обманщиком и не подрисованный фотографом.

— Я старик, — продолжал между тем недогадливый реб Менахем, — ты можешь мне открыться. Скажи, что за причина? Почему бы тебе не жениться, не иметь семью? Разве тебе не хочется оставить на белом свете какое-нибудь живое существо — твое подобие? Ты ведь не станешь гнаться за приданым, верно? Послушай меня, Ицик: зачем тебе твое одиночество? Зачем ты бежишь от жизни? Она сама убежит от тебя в конце.

— Реб Менахем, — сказал Ицик вежливо, — я не хочу на вас обижаться, но я прошу, чтобы вы оставили меня в покое с этими разговорами. Если хотите, я расскажу вам одну историю. — Он остановился, будто выбирая, какую историю из многих известных ему историй можно поведать старику, и наконец начал, поглаживая свою выбритую щеку: — На втором этаже нашего дома в Варшаве жила женщина — молодая женщина. Она родилась в Германии, но ее выслали в Польшу как дочь бывших польских подданных. В Польше она вышла замуж. Муж у нее был офицер, и его арестовали в самом начале войны. Ее звали Эмма. Она осталась одна с ребенком.

В Варшаве у нее никого не было. Не подумайте ничего, реб Менахем, я с ней никогда даже словом не перемолвился. Понимаете, это была женщина не для таких, как я,—слишком красивая и слишком нарядная. И вот в тот вечер она вышла из дому...—Иццик замолчал и взглянул на старого букиниста.

Тот устал был в книгу, чтобы в бет-шеанской синагоге найти убежище от неотвратимо надвигающегося на него рассказа. И тут Иццик понял, что не может передать историю Эммы реб Менахему, а должен сохранить ее для себя. Он поднялся и, не простясь, вышел из магазина. Когда реб Менахем оторвал глаза от книги, Иццика уже и след простыл.

Дома Иццик заперся в своей комнате и не вышел из нее ни в тот день, ни на следующий. Реб Менахем пришел провести его и из-за двери просил прощения за свою глупость и за то, что растревожил чужую рану. Но Иццик злился не на букиниста, а на самого себя. Зачем он раскрыл рот? Разве этот старик из Кейптауна и Эмма могут встретиться в какой-то точке? Разве у них найдутся силы заметить друг друга?

Выбравшись на третий день из своего заточения, Иццик отправился наконец в мастерскую, где в течение нескольких последних лет бок о бок с хозяином, пожилым евреем из Венгрии, корпел над побитыми и утомленными временем часами. Бок о бок в буквальном смысле, поскольку в этой лавчонке им двоим не всегда удавалось разминуться, не наткнувшись друг на дружку и на расставленные и развешанные повсюду часы.

— Я требую прибавки! — объявил Иццик с порога. — Меньше чем за двадцать пять фунтов я не согласен гнить в этой щели!

От неожиданности хозяин выронил приставленную к глазу лупу и едва успел подхватить ее.

— Ты что, спятил? — сказал он. — Впрочем, что я говорю — ясное дело, спятил. Я и сам хотел бы зарабатывать двадцать пять фунтов.

— Те деньги, что вы мне платите, это насмешка, — настаивал Иццик. — Такой часовщик, как я, не может получать меньше двадцати пяти фунтов.

— Возможно, — согласился хозяин. — Но в таком случае тебе придется поискать свой заработок в другом месте.

Так Иццик лишился работы. Он лежал на кровати и старался вспомнить, в каком платье Эмма впервые

появилась на их улице. За этим занятием его застал Дов Каминский. Дов работал теперь в Институте памяти жертв Катастрофы, где собирали документы, материалы, свидетельства и описания. Целыми днями Дов вместе с другими сотрудниками заносил на карточки имена, фамилии, прозвища, места рождения и пункты смерти. Дов решил, что обязан помочь Ицику, но плохо представлял себе, что именно он может сделать. Он решил подключить к данному вопросу Мойшеле. Мойшеле уже лет пять как жил в Тель-Авиве и работал в автобусном кооперативе.

Мойшеле, видимо, не догадывался, какое гиблое дело на него взвалили. Он разволновался и, горя желанием спасти друга, заявил, что Ицик немедленно должен перебраться в Тель-Авив.

— Нечего тебе сидеть тут среди всяких мракобесов! — сказал он Ицику. — Тель-Авив — это другое дело. Большой город, куча возможностей. Совсем иная атмосфера.

Неизвестно отчего, но Ицик согласился на переезд, и теперь Мойшеле пришлось бегать по городу, подыскивая земляку квартиру и работу. Главное — работу. Основная беда заключалась в том, что тель-авивцы, в большинстве своем чисто выбритые и аккуратно подстриженные, с опаской и даже неприязнью взирали на человека, у которого вся растительность на лице отчего-то сместилась на один бок. На приличных предприятиях с Ициком не желали разговаривать. Достаточных связей Мойшеле не имел, так что в конце концов Ицику пришлось удовольствоваться местом часовщика в точно такой же мастерской, какую он оставил в Иерусалиме. Жалованья ему назначили семь фунтов (в Иерусалиме он получал восемь). Квартира нашлась на шестом этаже в центре города. Состояла она из довольно длинного и широкого коридора, который некогда вел в другое крыло здания, но давно уже был перегороджен и превращен в некое подобие жилья. К коридору примыкала застекленная веранда, являвшаяся по существу куском крыши. Летом спать на веранде было даже приятно, но зимой промозглый ветер просвистывал ее насквозь, так что приходилось перебираться в коридор и втискивать кровать в промежуток между выщербленной железной раковиной и газовой плитой. Эта плита имела особую историю.

В первые годы своей тель-авивской жизни Ицик готовил еду на примусе. Однажды в понедельник в начале августа он, как обычно, вышел из дому — было



без четверти четыре, и ему, как обычно, нужно было успеть в мастерскую к четырем. Он прошел два квартала и вдруг почувствовал себя скверно — у него похолодело в груди и потемнело в глазах. Чтобы не упасть, он присел на ступени какого-то магазинчика. «Эта жара кого угодно доконает», — подумал Ицик, проводя рукой по шершавому цементу ступеньки и не чувствуя собственной ладони. Он закрыл глаза и откинулся головой к стене. Просидев так некоторое время, он вдруг ощутил на своем плече прикосновение чьей-то руки. Оторвав затылок от стены, Ицик увидел перед собой рыженькую девушку в пестром сарафанчике. Два ярко-голубых глаза глядели на него с участием и любопытством.

— Меня зовут Хен, — сказала девушка, не отрывая руки от его плеча. — Тебе нехорошо?

Ицик стал уверять, что нет, ничего подобного, он в полном порядке, и в подтверждение своих слов вскочил на ноги, но тут же закачался и едва не грохнулся.

Несмотря на все его возражения, девушка проводила его домой и уложила в постель. Напоив его чаем и убедившись, что он пришел в себя, она предложила сходить в мастерскую и сообщить хозяину о его нездоровье. На следующий день она заскочила навестить своего подопечного и принесла ему баночку соленых огурцов и пачку печенья. Огурцы Ицик съел, а печенье скормил голубям, которые были его приятелями и соседями по крыше. А еще через два дня, в четверг, Хен ввалилась в жилище Ицика с газовой плитой.

— Что это? — спросил Ицик. — Как ты это дотащила? Это же страшная тяжесть!

— Ничего, — ответила Хен, — я сильная.

И прибавила, что она занимается каким-то скетингом. Ицик не понял слова.

Хен перевернула всю его квартиру вверх дном, все перетряхнула, перетерла, перемыла и страшно напугала и огорчила Ицика, обозвав хламом и мусором несколько весьма ценных, любовно хранимых вещей. Ицик с трудом спас свое достояние. После этого она заявила, что вообще ей здесь ужасно нравится, и попросила разрешения поглядеть книжки. Такое желание немного смутило Ицика, он не терпел, чтобы кто-нибудь притрагивался к его книгам, но отказать Хен не посмел. К счастью, она взяла с полки не самый ценный том. Усевшись с ногами в старое протертое кресло, Хен вытащила из кармана джинсов пачку сигарет и протянула Ицику.

— Хен-Хен<sup>1</sup>, — сказал Ицик, покачав головой.

Тогда Хен закурила сама и стала листать книгу. Ицик обвел взглядом свою преображенную квартиру.

— Слушай! — спохватился он. — Эта плита... Она ведь стоит денег.

— Глупости! — сказала Хен. — Она нам совершенно не нужна. Мы недавно купили новую, с духовкой.

Когда она покинула его жилище, Ицик выбрался на крышу, чтобы сверху увидеть, как она будет идти по улице.

— Хен, Хен... — пробормотал он, когда девушка скрылась в переулке. — Златокудрая царица.

Ночью Ицик не мог спать. Утром он отправился на работу, но то и дело откладывал лупу и как-то странно вздыхал. Хозяин решил, что он все еще нездоров и отослал его домой.

Следующей ночью Ицик опять спал скверно и принял решение немного подстричь бороду. Не сбрить, но только подстричь немного — чтобы не болталась, как ослиный хвост.

Однако утром, с первыми лучами солнца, он возненавидел себя за то, что едва не совершил поступка столь чудовищного и непоправимого. При свете дня он принял новое решение — запретить Хен показываться ему на глаза. Если она явится еще раз, он откроет дверь и скажет, что не пристало ей ходить в дом к одинокому мужчине. Нет, вообще ничего не скажет, а просто не станет открывать. Успокоившись на последнем варианте, Ицик мирно провел субботу и в ночь на воскресенье спал почти до самого утра. В воскресенье он просидел весь день не разгибаясь в мастерской и даже не пошел домой обедать. Хозяин сказал, что он нарочно изводит себя, чтобы снова свалиться.

Вечером по дороге домой он зачем-то остановился возле цветочного киоска и спросил, сколько стоит букет маргариток. Мальчишка-продавец разинул рот и ничего не ответил. Маргариток Ицик не купил, но дверь открыл. И не сказал Хен ни слова.

В понедельник Хен притащила две громадные жестянки из-под маслин и посадила в каждую по лимонному деревцу. Глядя на ее хлопоты, Ицик подумал, что не мешало бы поговорить с хозяином о ремонте. Если укрепить покосившиеся рамы, покрасить стены и побелить потолок, квартира будет выглядеть вполне прилично.

---

<sup>1</sup> Хен-хен — благодарю (*иврит*).

В среду Хен привела к Ицику врача. Это был старичок, очевидно, пенсионер, почти глухой — каждую фразу ему приходилось повторять дважды и весьма громко. Поначалу врач даже понравился Ицику. Он расспросил его об обмороке и поинтересовался, часто ли с ним такое случается. Ицик сказал, что никакого обморока в сущности не было — просто слегка закружилась голова. Отослав Хен прочь с веранды, врач велел Ицику раздеться и прилечь на кровать. Ицик подчинился, и старичок долго и весьма внимательно выслушивал, простукивал и прощупывал все его тело с головы до пят. Ицик почувствовал, что этот человек любит свою профессию, и преисполнился к нему уважением. И потом, когда врач позволил ему одеться и уселся за стол, отношения начали портиться. Старичок раскрыл свой тощий потрепанный портфельчик, вытащил оттуда какую-то бумагу и принялся писать, вслух приговаривая:

— Так, увеличение печени... Нарушение работы желудочно-кишечного тракта... Аритмия и запущенное воспаление плечевого сустава...

Ицик попытался возразить, что никаких аритмий и воспалений у него нет и никогда не было, но старик не унимался. Он как будто нарочно старался вывести Ицика из себя и опорочить его перед Хен.

— Боли в правом подреберье... — бормотал доктор, шустро заполняя лист мелкими кругленькими буквами.

— Какие боли! — заорал Ицик. — Разве я вам говорил про боли?

— Смещение третьего и четвертого позвонков...

Тут Ицик не выдержал, выдернул из-под руки незваного лекаря вздорную бумагу и написал аршинными буквами поперек подлого навета: «Я здоров!!!» Доктор возмутился, вскочил на ноги и стал объяснять Ицику, что взобрался сюда, на шестой этаж, исключительно ввиду тяжести его, Ицика, состояния. Это уже была откровенная беззастенчивая клевета, поскольку, будь старикашка даже самим Гиппократом, он не мог знать ни о каком состоянии Ицика до того, как осмотрел его. Но самым ужасным, самым непереносимым, самым обидным было то, что все это издевательство подстроила нежная жар-птичка по имени Хен. Коварная любопытная синеокая предательница.

Ицик выкинул обоих из квартиры, но долго еще не мог успокоиться и даже решил съездить в Иерусалим, повидаться с реб Менахемом и узнать, нельзя ли ему вернуться на прежнее место.

В Иерусалиме выяснилось, что букинистического магазина больше не существует. Реб Менахем, — сказали соседи, — тяжело заболел, и дочка увезли его к себе в Кейптаун. В помещении бывшего магазина расположилась какая-то посредническая контора, а куда делись книги, никто толком не знал. Зато у часовщика дела пошли блестяще — правда, он перестал быть часовщиком в истинном смысле этого слова и занялся торговлей: часы и ювелирные изделия.

— Если бы ты сейчас попросил у меня прибавки, — воскликнул он благодушно, — я бы не отказал. Помнишь, как мы с тобой тут мерзли? Теперь у меня отопление — чудо! Жаль, что ты не подходишь для торговли.

Чтобы поездка не оказалась вовсе уж напрасной, Ицик решил заглянуть к Дову Каминскому. Дов угостил его обедом и заставил прослушать несколько пластинок — он приобрел стереопроеигрыватель и увлекся старинной музыкой.

Вечером Дов пошел проводить Ицика на автобус. Стояла чудесная тихая погода, было не холодно и не слишком жарко, и оба приятеля не сговариваясь задрали головы и взглянули на звезды.

— Как ты думаешь, — сказал Дов, — ведь если здесь столько сосен, то должны быть и белки. Ты когда-нибудь видел в Иерусалиме белку?

Ицик вспомнил, что один раз в жизни видел живую белку, но не в Иерусалиме, а в Варшаве — в витрине магазина, где стояли клетки с разными животными и цветными попугайчиками. Белка была небольшая и довольно облезлая, но старательно крутила колесо, чем и привлекала внимание прохожих.

Дожидааясь автобуса, приятели присели на скамейку, и тут Дов вернулся к их давнишнему разговору:

— Помнишь, Ицик, ты сказал — там, в Регенсбурге, — что когда-нибудь они все пройдут и оставят меня в покое. Но они все идут, все идут, ты знаешь...

Ицик не смог припомнить ничего такого.

— Может быть, их больше, чем нам казалось? — продолжал Дов, не дождавшись ответа. — Может быть, мы чего-то не учли? Но почему они выбрали именно меня? Ведь нас там было тридцать...

— Зря ты пошел на эту работу, — сказал Ицик, но не уточнил, что он имеет в виду — нынешнюю работу Дова в Институте памяти или прежнюю, в лагере смерти.

В это время подошел автобус, Ицик скрылся в его дверях, а Дов остался сидеть на лавке.

Года через три или четыре после возвращения из Иерусалима Ицик услышал стук в дверь. Он почему-то вообразил, что пришла Хен, и так разволновался, что не сразу справился с несколько проржавевшим замком. Но это была не Хен, это был хозяин квартиры, а с ним какая-то надушенная дама и невысокий господин в бархатном берете.

— Это же просто великолепно! — воскликнула дама. — Здесь можно сделать прекрасный пентхауз!

Ицик почувствовал, что у него земля уходит из-под ног. Его изгоняют. Куда же он денется? Куда он денется со всеми своими книгами, со всеми вещами, которых столько скопилось за многие годы? Куда он пойдет?

Хозяин удалился вместе с восторженной дамой и задумчивым господином, а Ицик надолго потерял покой. Впрочем, в конце концов все как-то утряслось и устроилось. Через несколько месяцев Ицика действительно попросили выехать, но с помощью верного Мойшеле ему довольно быстро удалось найти новую квартиру — правда, уже не в центре города, а на самой дальней окраине, где в низеньких неказистых домиках помещались смуглые и шумные евреи из арабских стран. Мойшеле организовал и переезд. Автобусный кооператив «Дан» выделил грузовую платформу, обвешенную со всех сторон старыми потрепанными шинами и снабженную надписью «тягач». В этом экипаже ранним апрельским утром Ицик вместе со своим скарбом был доставлен на новое место жительства.

Добираться до работы теперь приходилось на автобусе, который вечно застревал в узких душных улочках влажного и яркого, суматошного и бесконечного Тель-Авива. Не могло быть и речи о том, чтобы проделывать такую дорогу дважды в день, поэтому долгий обеденный перерыв Ицик просиживал в мануфактурной лавке гостеприимного Нисима.

Нисим, так же, как все его соседи, запирал лавку на обед, но никуда не уходил, а болтал с приятелями или играл в шеш-беш<sup>1</sup>. Ицик тоже постепенно освоил игру, но не пристрастился к ней так, как другие. Среди посетителей лавки нашелся земляк Ицика, еврей из Лодзи, мужской портной, до войны — по его словам — славившийся своими костюмами, но теперь вынужденный довольствоваться пошивом одних брюк, поскольку пид-

---

<sup>1</sup> Шеш-беш — популярная настольная игра, типа нардов.

жаки в Израиле не пользуются спросом. Звали портного Яков.

— Что делать, Ицик,— говорил он, перетряхивая в ладонях кости и шумно вздыхая,— мертвые умерли, да будет их память благословенна, а живые должны жить. Что делать... Живому нельзя жить на кладбище. У меня есть дети, и мои дети ни о чем не знают. Неужели ты думаешь, я стану им рассказывать?

Иногда Яков начинал сердиться.

— Ты думаешь, другим легче? — набрасывался он на Ицика.— Ты думаешь, мое сердце не скорбит о тех, что остались там? Ты потерял одного сына, а я семерых!

Ицик старался не обращать на него внимания. В лавке Нисима, плотно, до самого потолка забитой тяжелыми рулонами тканей, было уютно и прохладно. Нисим не любил расставаться со своим товаром и не терпел покупателей.

— Сегодня не торгуем,— объявлял он какой-нибудь тетке, пытавшейся вступить в пределы его владений.— Что значит, почему? Ты не видишь, что нет электричества? Материю, мамаша, не выбирают в потемках. Нет, моя госпожа, я не могу продавать без света.

Если же попадался какой-нибудь исключительно настырный тип, Нисим мрачнел, принимал суровый и грозный вид и брался за скобу железной двери.

— Поторопись, господин, я должен уходить. Нечего здесь покупать, здесь ничего не продается. Разве ты не знаешь, что сегодня праздник?

Расправившись с покупателями, Нисим сразу веселел, усаживался на низкий плетеный табурет и приступал к своему обычному рассказу.

— В Дамаске у меня была продуктовая лавка,— проносил он задумчиво и втягивал воздух с такой нежностью, будто ноздри его улавливали запах дамасской улицы.— И вот, представьте себе, заходит ко мне однажды женщина и говорит: дай мне в долг. Ну, скажи, Яков, ты дашь в долг человеку, которого видишь первый раз в жизни? И я ей то же самое говорю. А она говорит: если не хочешь поверить в долг, дай так, потому что мне нечем накормить детей, даже горсти муки нет у меня в доме. Тогда я ее спрашиваю: а где же, моя дорогая, твой муж? Мой муж, говорит, далеко отсюда и в таком месте, что об этом нельзя и говорить. Тогда я ей говорю: если твой муж в таком месте, что даже говорить нельзя, то уж так и быть — приходи и бери, сколько тебе потребуется.

И так она, можете мне поверить, приходила месяц, а может, и больше, и я давал ей все, что надо: и хлеб, и масло, и вообще что придется. А потом в один прекрасный день не пришла — исчезла, представьте себе, будто никогда ее и не было. Ну что делать, исчезла и исчезла — мало ли что бывает. Хотя и брала она у меня целый месяц все, что ей вздумается, но я еще, славу Богу, от этого не разорился. И вот проходит после этого три года, и я запираю свою лавку в Дамаске и отправляюсь себе, с Божьей помощью, в Израиль. А чтобы из Дамаска пройти, например, в Хайфу, сначала надо идти на Бейрут. Но не в этом дело. Шли, конечно, только ночами, дети плачут, старики, случается, падают от усталости. Но вы это и без меня знаете. Главное, что в Израиль я прихожу голый и босый и без гроша в кармане. Что делать? Иду на биржу труда, а там меня спрашивают, сколько у меня детей. Я говорю: один, один сын у меня, чтобы он был здоров. Тогда, говорят, мы тебе работы дать не можем, потому что мы даем работу только многодетным. И получается так, что один ребенок может хоть помереть, это им не важно. Иду я тогда обратно с этой чертовой биржи и прохожу вот по этой самой улице. И вдруг, понимаете, слышу — кричит кто-то за моей спиной. Стой, кричит, остановись. Ну, думаю, уж не вора ли ловят? И кто же тут вор, уж не я ли? Может ли голодный человек как следует соображать? Конечно, нет. Остановился, смотрю, подбегает какой-то еврей, отроду я его не встречал и не видел, но вроде бы земляк. Ты, говорит, Нисим, у которого в Дамаске была продуктовая лавка. Это, говорю, правда, но откуда ты меня знаешь? Я, говорит, оттуда тебя знаю, что ты мою жену и детей от голода спас и как родной отец поддерживал, пока я сумел их вызволить. Так что теперь ты будешь моим компаньоном. И приводит меня в эту лавку. Тогда тут все еще было новое, не то что теперь. И вот я вам скажу, счастье нам с ним, с этим Меером — его Меером звать — такое счастье нам Бог послал, что через год мы уже разделились — я остался тут, а он открыл другой магазин — на Аленби, вы знаете. Кто не верит, пусть спросит, как мы с Меером начинали. А теперь, слава Творцу и Его имени, мы столько имеем, что дай Бог каждому. Да укрепит нас Господь и да поможет он нам выстоять против всех напастей...

Растянувшись на прохладном полу и подложив под голову упругий рулон какой-нибудь байки, Ицик задремывал под тот рассказ, и ему виделись Меер, жена

Меера и какой-то странный город, в котором он в жизни не бывал, но знал все улицы и помнил все здания.

Как ни странно, болтовня Нисима нисколько ему не мешала и не раздражала, а наоборот, обволакивала и успокаивала, как что-то родное и давно знакомое. Со временем Ицик догадался — это оттого, что речь Нисима не течет и не движется, а висит в воздухе вместе с запахом пыли, старых материй и крепкого кофе, которым запивают выигрыши и проигрыши.

Только Яков с каждым днем становился все дурее и настырнее. То и дело он приставал к Ицику со своими поучениями, и терпеть его становилось все невыносимее.

— Гордец! — говорил Яков, и его правая щека при этом подергивалась от злости. — Он воображает, что его потеря больше всех других потерь!

Ицик долго молчал, но потом Яков надоел ему.

— Больше всех твоя потеря — ты потерял самого себя, — сказал он портняжке.

— Оставь, Ицик, оставь его, — запричитал Нисим. — Да утешит Господь нас всех..

— Я начал сначала, — не унимался Яков. — Один Бог знает, как мне было тяжело, но я начал сначала. Да, сказал я себе, Дом Израиля не восстановишь скорбью. И вот — теперь у меня есть сын и дочь, и они не подозревают, что я ношу в сердце.

— Ничего ты не носишь там, кроме своего предательства, — отвечал Ицик. — Кто бы ни вынес приговор, но ты его подписал. Твоим детям уже некуда вернуться, потому что если те вернутся, то куда же ты денешь этих? А? Тебе придется выбирать между ними, не так ли? Кого же ты выберешь — тех или этих?

— Безумец! — шипел Яков. — Пусть земля поглотит расточителя, пускающего по ветру дни своей жизни!

— Оставь его, — уговаривал Нисим. — Пусть обретет он то, что ищет. У каждого своя дорога в жизни — да поможет Бог нам всем, и тебе, и ему, и всему дому Израиля...

Однажды осенью Ицик встретил на улице Хен, но ее рыжие кудри и голубые глаза теперь почти не взволновали его. Он прошел бы мимо, если бы она сама не остановила его.



— Ицик! — воскликнула она. — Боже, как ты изменился!

Он усмехнулся.

— Ты ошибаешься — я все тот же. — Кстати, — прибавил он, немного смягчившись, — одно дерево из тех двух, что ты посадила, — помнишь? — выросло. А другое засохло. Хотя я поливал их одинаково.

— Не важно... — пробормотала Хен.

— Я оставил его там, на крыше, — объяснил Ицик. — Надеюсь, его продолжают поливать. На нем даже были лимоны. Но я не мог забрать его с собой.

— Не важно, — повторила Хен. — Какое это имеет значение? Расскажи лучше, как ты живешь.

Однако Ицик не пожелал лукавить с ней и давать повод напрасным надеждам.

— Послушай, — сказал он твердо, — я вел себя глупо, я знаю. Но теперь ничему этому нет места. Давай оставим друг друга в покое.

Хен посмотрела на него с удивлением, но не стала возражать.

Весной Ицик попал в больницу. Случилось это так. Он шел куда-то по своим делам, а может, и без всякого дела — впоследствии он никак не мог вспомнить, куда и зачем он шел. Он шагал по широкой гладкой улице, как вдруг его глазам открылось странное зрелище. Несколько грузовиков с высокими бортами, доверху заставленные цветными дырчатыми пластмассовыми ящиками, выстроились перед каким-то увесистым зданием. Поверх ящиков высились крепкие плотные мужчины. Мужчины что-то вскрикивали, обращаясь к глухим блестящим окнам, а потом вдруг стали хватать ящики и швырять их на мостовую. Тут выяснилось, что все ящики набиты большими белыми птицами. В считанные минуты площадь перед зданием и даже прилегающие к ней улицы наполнились крылатыми белыми существами, пыгающимися взлететь или бегством спастись от шлепавшихся на них с высоты новых и новых ящиков. Многие не успевали выбраться наружу и оказывались погребенными под грудой пластмассы. Крик избиваемых птиц сливался с головами взбешенных мужчин и гудками автомобилей, которым это мероприятие мешало проезжать по улице. Туча белых перьев взвивалась в воздух после каждого грохнувшегося на асфальт ящика. Птицы металась, наталкивались на стены и на прохожих, и одна из них, потрясая переломанным крылом, кинулась Ицику под ноги. Ицик

шарахнулся в сторону и тут же был сбит двигавшейся навстречу машиной. К счастью, машина ползла на малой скорости, так как вся проезжая часть улицы была завалена давленной птицей.

Потом уже Ицик узнал, что это была демонстрация мошавников<sup>1</sup>, протестовавших перед зданием министерства против низких закупочных цен, установленных на выращиваемых ими цыплят кооперативом «Тнува».

Ицик отделался переломом ноги и несколькими ссадинами, но ввиду общего истощения и полного отсутствия каких-либо родных провел в больнице целый месяц. Когда он снова оказался в городе, про цыплят давно уже забыли. Газеты пестрели сообщениями о новых забастовках и демонстрациях.

Ицик отправился в свою мастерскую и по дороге хотел заглянуть в лавку Нисима, но лавка исчезла. Ицик трижды прошел мимо того места, где была лавка, но так и не нашел ее. Не было ни широких полок, ни тканей, ни самого Нисима. Голубоглазый лентяй Нисим, добравшийся некогда пешком из Багдада в Тель-Авив, взял и ушел вдруг куда-то дальше, не сказав никому ни слова и не поставив в известность о своих планах ни друзей, ни соседей. От всех сиест, проведенных в прохладном сумраке лавки, от всех разговоров, от стука костей и запаха кофе остался только грязный провал между двух зданий, воняющая сыростью пропасть, возле которой копошились трое рабочих. Ицик спросил про Нисима, но они лишь пожали плечами.

Через некоторое время провал прикрылся широким стеклом и над ним замигала надпись: «Парикмахерская». Новый хозяин, молодой парень с розовыми блестящими щеками, самодовольно прохаживался между двумя никелированными креслами и с восторгом заглядывал в громадное зеркало, укрепленное на стене.

— Где же Нисим? — спросил у него Ицик.

— Разорился твой Нисим! — воскликнул парень радостно. — Вылетел в трубу!

Ицик не поверил ему. Как может разориться человек, у которого вся лавка забита превосходным товаром? У которого на полках столько тканей, что в них можно завернуть весь Тель-Авив?

— Весь этот хлам выкинули на помойку, свезли в Хадеру на бумажную фабрику! — заявил парикмахер.

---

<sup>1</sup> Мошав — сельскохозяйственное поселение (*кфар*).

Ицик не стал продолжать разговора. Но нахал приметил его и, если в парикмахерской не было клиентов, высовывался в дверь и кричал:

— Эй, Ицик! Заходи, побрею!

Приближаясь теперь к этому месту, Ицик старался переходить на другую сторону улицы, но иногда забывался и оказывался вынужденным выслушивать глупые издевательства.

— Что это за пугало? — спросил однажды какой-то клиент.

— Так, сумасшедший, — ответил парикмахер.

Это замечание задело Ицика, он остановился и перешагнул порог парикмахерской.

— Кто сумасшедший? — спросил он, надвигаясь на попятившегося наглеца. — Кто сумасшедший, я спрашиваю? Те, что все забыли, или тот, кто помнит?

— Иди, иди, — пробормотал побледневший парикмахер и с этого дня оставил Ицика в покое.

Однако нельзя сказать, что молодчик был так уж неправ. Хозяин Ицика тоже стал замечать за своим помощником странности. Получая в руки часы, Ицик, вместо того чтобы отыскать и устранить неисправность, принимался совершенствовать механизм. Человек, сдавший в починку обыкновенный будильник, получал обратно музыкальную шкатулку или часы с кукушкой. Клиенты относились к таким сюрпризам по-разному. Некоторые восхищались талантом мастера, зато другие возмущались непрошенными изменениями. И уж во всяком случае никто не собирался за них платить. Все попытки хозяина вразумить Ицика и заставить его отказать от этих фокусов ни к чему не привели. И тогда скрепя сердце хозяин объявил, что вынужден расстаться со своим работником.

Ицик выслушал известие спокойно, но, покинув мастерскую, вдруг впервые в жизни почувствовал себя отверженным и сломленным. Собственно, у него не было никакой причины впадать в тревогу и отчаянье. Поскольку он проработал в мастерской двадцать с лишним лет, ему полагалось выходное пособие в размере двадцати месячных зарплат. Хозяин не собирался ущемлять его права и выплатил деньги полностью до последней копейки. Но, оставшись без работы, Ицик потерял путеводную нить. Целыми днями он бродил теперь по пустырю возле своего дома и то и дело нагибался, будто надеясь отыскать в колючем бурьяне какое-то сокровище.

В городе он почти не появлялся, и поэтому все удивились, увидев его в Судный день на ступенях Большой синагоги. На плечах у него вместо талита<sup>1</sup> красовалось драное полотенце, а голова была обнажена. Ицик вертелся и вытигивал шею, будто выглядывая кого-то в толпе. Евреи, не ожидая от этой встречи ничего приятного, старались не задевать его. Но тут на свое несчастье к синагоге подошел Яков.

— Скоморох! Шут гороховый,— прошипел Яков, поравнявшись с Ициком и, видно, позабыв, что в такой день не пристало множить обиды.— Горе надо носить в сердце, а не на кончике бороды!

Ицик ничего не ответил, только слегка прижал Якова к стенке, так, чтобы тот не мог исчезнуть.

— Слышишь, Бог?— начал Ицик не слишком громко, но в застывшей вечерней тишине его дребезжащий голос прозвучал не хуже трубного гласа.— Слышишь, что говорит этот человек? Он говорит, что скоморох и шут гороховый тот, кто бреет полбороды. А ты, Бог Авраама, Ицхака и Якова, выбривший половину своего народа, что ты на это скажешь? Тебе не кажется, что мое лицо—это только зеркало, а?—С этими словами Ицик хотел задрать голову к небу, но тут же согнулся, закашлявшись, а Яков забился в его руках, как жертва приношения.

Ицик все кашлял, а Яков, не в силах вырваться из западни, завопил и зарыдал в голос.

Не только те, что собирались войти в синагогу, но и случайные прохожие почувствовали себя неловко. Кто-то бросился разнимать приятелей, и тут Ицик совсем лишился разума и, стукнув Якова головой об стену, покатился вместе с ним по ступеням.

Судный день оба провели в больнице. Но Якова наутро отправили домой, а Ицика перевели в специальную лечебницу, где он постепенно успокоился и пришел в себя.

Раввин Большой синагоги навестил его и рассказал, что он и сам родился где-то там, в Польше, возможно, даже в той же Варшаве, и тоже потерял всех близких, впрочем, он их почти не помнит, поскольку был в те дни совсем ребенком. Еще он сказал, чтобы Ицик не смущался и продолжал посещать синагогу, потому что, если даже нет иного утешения, молитва утешение сама по себе, а дом Божий, так же, как Его сердце, открыт для

---

<sup>1</sup> Талит— молитвенное покрывало (*исфит*).

всех, стало быть, и для Ицки. Может, для него даже в большей мере, чем для прочих.

Ицик не стал возражать, но и злоупотреблять своим преимуществом тоже не захотел: по выходе из лечебницы он не появился в синагоге ни разу — точно так же, как и прежде, до прискорбного происшествия.

Помимо раввина у Ицки побывал Дов Каминский.

— Посмотри, посмотри, что пишет этот антисемит! — возмущался Дов, тыча в Ицкика мятой газетой на английском языке. — Он смеет утверждать, что никакой Катастрофы вообще не было. Что евреи все это выдумали ради гешефта! Я хотел бы посмотреть на него на моем месте!

Ицик, успокоенный лекарствами и нежным отношением медсестер, постарался утешить друга.

— Понимаешь, это как часы, — сказал он. — Раньше люди дорожили часами, берегли их, чистили, чинили, передавали от отца к сыну. А сегодня? Сегодня часы ничего не стоят. Каждый мальчишка может купить их вместо мороженого. Так зачем их беречь? Теперь другие цены, и ты им надоел с твоей очередью, понимаешь?

Дова такое объяснение не удовлетворило. Ему хотелось наконец увидеть свет в конце тоннеля — увидеть, что все, кого следовало побрить, уже побриты. Ему хотелось один раз в жизни уснуть спокойно. Он завидовал Ицкику, который как барин валялся на койке, окруженный заботой медперсонала, и не должен был вспоминать никаких имен.

Мало того, что Ицкика подлечили и подкормили, ему еще объяснили, что он, как все люди его возраста, может получать пенсию. Молоденькая социальная работница возмущалась, что никто не позаботился о нем прежде. Тут, правда, выяснилось, что хотя последние двадцать три года Ицик прожил в Тель-Авиве, но поскольку он так и не удосужился заявить о перемене адреса, то по-прежнему считался иерусалимцем. Для оформления бумаг требовалось съездить в столицу и побывать в нескольких учреждениях.

Окрепнув и собравшись с духом, Ицик отправился в поход по канцеляриям. Какой-то чиновник сказал ему, что он должен наклеить на свое прошение гербовую марку, и объяснил, что такие марки продаются на почте.

Ицик направился к зданию центрального иерусалимского почтамта, вошел в высокие двери и стремительно зашагал к окошечку с надписью «марки». Эта стреми-

тельность в последнее время стала для него спасительной привычкой — она помогала оставлять за спиной все усмешки и ядовитые замечания. Он не смотрел по сторонам, но его внимание привлекли рисунки на стене над головами почтовых служащих. Ицик мог поручиться, что этих росписей прежде не было. Тяжелое массивное здание почтамта было ему памятно.

Разглядывая рисунки, Ицик принялся вертеть головой, и тут полусонное бормотание высокого зала прорезал женский крик. Какое-то странное чувство подсказало Ицику, что этот крик относится к нему. Мгновение он стоял неподвижно, не смея поверить своим ушам, а потом начал осторожно оборачиваться. Пожилая женщина, удивительно похожая на тетю Сару, лежала на полу без чувств. Над ней склонились две приятельницы. Ицик подскочил, оттолкнул их обеих и обнял свою жену, свою Фейге.

Фейге прибыла в Израиль в том же году, что и Ицик, только на другом пароходе, и сразу поселилась в кибуце на юге страны. Там она и прожила, можно сказать, безвыездно тридцать с лишним лет. Так что следует признать, что в каком-то отношении англичанин-антисемит был прав — подсчеты Дова и всего его института нельзя считать абсолютно надежными. Если муж и жена могут в течение почти сорока лет — каждый со своей стороны — числить другого погибшим, в то время как они проживают менее чем в ста километрах друг от друга, то какова вообще цена всем этим утверждениям о шести миллионах?

Что еще остается добавить к нашей истории?

Встретившись с женой и перебравшись на постоянное жительство в кибуц, Ицик наконец отказался от своего нелепого полубригиты и постепенно сделался похож на обыкновенного старого еврея. Хотя ему так и не вернули сына, но кое-что он все-таки, согласитесь, получил. И потому, нельзя сказать, что он нарушил обет — **ведь он не побрил правую щеку**, он просто перестал выскребывать левую.

---

## ВОРОТА МИЛОСЕРДИЯ

— Если бы не кровь, если бы не эта кровь на моей одежде, я был бы, как все, у меня был бы дом, жена, дети...

— Чисты, как снег, твои одежды...

— Если бы я умел рассказать тебе, что они делали со мной, ты увидел бы кровь. Если бы я сумел рассказать, как били меня кнутом, как жгли мои ноги огнем, как ломали кости моих рук...

— Чисты, как снег, твои одежды, как снег на вершине Хермона...

— Где ты был, когда я звал тебя?

— Я слышал твой стон...

— Я так хотел молиться за них. Я пытался молиться за них... Зачем ты покинул меня?

— Я будил тебя, но ты, видно, слишком устал и не смог проснуться.

— Я умер, но они заставили меня вернуться к жизни. Если бы я мог рассказать тебе, как содрогалось мое тело на плахе...

— Не думай об этом.

— А когда они поверили, что я мертв, и бросили меня возле источника в долине, дети стали плясать возле моего бездыханного тела и тянулись ручонками к моим глазам. И я не мог прикрыть глаз, потому что руки мои были перебиты. Где ты был тогда?

— Забудь об этом, мы идем в Иерусалим.

---

## ГОЛУБЫЕ ЛИЛИИ

*И, может быть, рукою мертвеца  
Я лилию добуду голубую.*

*Н. Гумилев*

Я карабкалась вверх, ноги скользили на вязкой глине, и, чтобы не съехать обратно, приходилось цепляться руками за торчавшие из земли камни и проволоку. Я задышалась и останавливалась, но ползла дальше. Я была слишком стара и слаба, а овраг слишком глубокий. Мне не следовало пускаться в дорогу.

В конце концов я все-таки выбралась наверх. Тут можно было распрямиться и оглядеться. Я принялась вытирать руки о подол, но пальцы то и дело попадали в дыры — от платья и пальто остались одни лохмотья. Место было знакомое. Там, где теперь зиял овраг, раньше мостился огромный дом — каменное чудовище на четырех широко раздвинутых лапах, увенчанное маленькой головенкой на длинной шейке — пятиконечной звездочкой на высоком шпиле. А еще раньше тут стояли другие дома. Их я тоже помнила. Они стояли в ряд, как и положено зданиям, составляющим улицу, и когда их вздумали рушить, падали с трудом, цепляясь друг за дружку то крышей, то общей стеной, то толщенным двойным перекрытием. В крайнем доме почему-то долго светилось одно окошко. Целый месяц, если не больше, оно висело на высоте, одинокое светящееся окно посреди темной обреченной улицы, и задерживало план сноса. По Москве поползли домыслы и легенды относительно странной задержки, говорили, например, что это чета строптивых пенсионеров отказывается покинуть насиженное место и перебраться на меньшую площадь на окраине. Но потом свет в окне потух, и крайнего дома тоже не стало. В конце поверженной улицы вырыли громадный котлован и начали возводить в нем высотное здание — громоздкое и неуклюжее. Впоследствии говорили, что его верхние этажи



так раскачиваются, что у жителей с непривычки кружится голова.

Я прошла через пустырь — прежде здесь были площадь и сквер. По широкому ущелью Садового кольца несло холодом и сыростью. На углу улицы, в которую я собиралась войти, стояла длинная недвижимая очередь. Люди молчали, и каждый пытался укрыться от ветра за спиной того, кто стоял впереди. Я обогнула очередь и увидела знакомый особняк. Правый флигель превратился в развалины, но левый еще стоял. Только пустые окна запали черными дырами. А ворота исчезли совсем, старинные чугунные ворота, закрывавшие некогда въезд во двор. Деревьев тоже не стало — наверно, были срублены на дрова. Раньше тут было много деревьев, справа от ворот росли вербы, каждую весну они покрывались нежными пушистыми барашками. В центре был разбит цветник, и на нем стояла статуя; называлась «Мысль», но потом, как шутили писатели, она сделалась тут неуместной и ее заменили памятником Льву Толстому. Вдоль въезда полукругом тянулись кусты с блестящими жесткими темными листьями, и висели на низеньких столбиках чугунные цепи. Зимой в цветнике лежал снег. Детей здесь не было, а взрослые ходили исключительно по дорожкам, и поэтому только мои следы отпечатывались на белом пушистом покрове. Я приходила сюда с отцом. Осенью во дворе опадали листья, и переспелые яблоки шлепались на землю — молоденькие яблоньки уже давали урожай, но литераторы почему-то не зарились на их плоды, а посторонним сюда не было входа.

Теперь не осталось ни памятника, ни цветника, ни даже асфальта, ведущего к главному зданию. Все безнадежно затянула грязь, крутая липкая грязь. Кучи мокрого мусора громоздились под стенами. Тяжелая дверь с медным кольцом, возле которой в прежние времена стоял швейцар, исчезла. Три доски, кое-как неумело сколоченные ржавыми гвоздями, заменяли теперь дверь. Я вошла в здание.

Мраморная лестница была разбита, и чтобы взбираться наверх, возле стены поверх искалеченных ступеней устроили дощатый настил с поперечными планками. Ниша, где обитала моя любимица, прекрасная Венера, была пуста.

Я прошла по коридору и заглянула в какую-то комнату. На полу грудами были свалены книги, журналы,

какие-то растрепанные рукописи, кипы служебной переписки и бухгалтерские ведомости. Пожилая женщина стояла посреди комнаты на коленях и пыталась отыскать что-то среди всего этого хаоса. Увидев меня, она приподнялась и спросила:

— Кого вам нужно?

Я назвала свою фамилию.

Она подумала.

— Пойдите... Да, я, кажется, припоминаю: она что-то писала, какие-то рассказы... Что-то в этом роде... Но она у нас не работает.

— Я знаю,— сказала я.— Но, может быть, вы что-нибудь слышали о ее семье? Я бы хотела узнать... Может быть, вам известно, где ее дети?

Она покачала головой.

— Нет, что вы!.. Наверно, никого и не осталось. Впрочем, мы не в курсе... Видите, что тут творится — людей не хватает, а надо как-то спасти последнее, ведь жалко, того гляди, растащат на растопку.

Она еще продолжала жаловаться, но я уже не слушала ее. Я прикрыла за собой дверь и побрела по коридору. Придерживаясь за стены, я спустилась по серому дощатому настилу в вестибюль и покинула особняк. Прошла через двор, миновала недвижимую очередь и выбралась на площадь. Над руинами зданий метался ветер. Я пересекла пустырь и стала спускаться в овраг. Огибая груды битого кирпича и ржавого железа, я сползала все ниже и ниже, пока не достигла дна. На дне было теплее. Я села на какой-то выступ и постаралась больше не двигаться.

Темнело. Какой-то человек шел по склону оврага. Ветер и холод не смущали его, он двигался не спеша, не сгибаясь и не оскальзываясь, легко вытаскивая ноги из мокрой глины. Я зачем-то решила окликнуть его, но он, как видно, не услышал. Я попыталась приподняться ему навстречу, но не смогла: тело окоченело от холода. Он продолжал свой путь, не замечая меня. Я протянула к нему руки, надеясь задержать его, но он невозмутимо прошагал мимо. Я посмотрела ему вслед. Балахон из грубой бумажной ткани развеивался на ветру, непокрытая, давно не стриженная голова была высоко поднята. Может быть, он был глух, но скорее всего, безумен. Когда он окончательно скрылся из виду, я опустила глаза и вдруг заметила возле своих ног голубенький цветок. Бледный, напитанный влагой стебелек увенчивала прозрачная, еще

не совсем раскрывшаяся чашечка. Я наклонилась, дотянулась до стебелька рукой и сжала его в онемевших пальцах. Откуда он взялся тут — лесной подснежник, — на этой холодной и топкой глине? Я еще раз глянула в ту сторону, где скрылась фигура в сером балахоне, но ничего не увидела. Вокруг было пусто.

Только мягкий перламутровый свет тек со склона оврага.

1962

---

## УБЕЖИЩЕ

Вечер начался славно, Инна читала новые стихи. Слегка поскрипывала спинка стула, на котором она сидела, и этот звук отчасти отвлекал собравшихся от смысла слов, сбитых в тугие строки. Олег, уже знавший стихи, неслышно передвигался по крошечной кухоньке, в том узком пространстве между окном и плитой, которое еще оставалось свободным от стульев и табуреток. Вот он достал из шкафчика рюмки тонкого затуманенного стекла, но, не решившись поставить на стол, удержал в руке. Подставочки рюмок сплелись в две хитрые двойные восьмерки и брызнули радугой.

«Интересная линия», — подумал литературовед Зароскин, фронтовой друг Олега, а теперь к тому же и сосед по кооперативному дому, но тут же смутился, отвел взгляд от рюмок и заставил себя сосредоточиться на стихах.

Рядом с Зароскиным, недвижно уставившись в фармаковою красную крышку кухонного столика, сидел крутолобый Женя. Женя когда-то работал редактором в том издательстве, где вышла первая Иннина книжка, а теперь оставил службу и вел вольное существование: пописывал статейки и переводил с норвежского. Свитер тонкой шотландской шерсти обтягивал его могучие плечи.

Олег решил наконец пристроить рюмки на краешке стола и бесшумно сдвинулся к плите. Поколдовав над кастрюлькой с каким-то ароматным варевом, он обернулся взять с полочки английский перец и столкнулся взглядом со Стеллой. Та стояла, привалившись спиной к косяку кухонной двери, курила и стряхивала пепел в пустую пачку «Мальборо». Олег улыбнулся ей привычно-приветливо, и она тоже ответила ему милой полуулыбкой. Шесть лет назад Инна, будучи временно исключенной из

Литинститута за идеологическую незрелость, сотрудничала ради хлеба насущного в молодежной газете, там-то и состоялось их со Стеллой знакомство. Из-за сложных отношений с родителями и бывшим мужем Стелла теперь третью неделю проживала у Инны с Олегом. Работала она все в той же газете и на той же самой должности, что и шесть лет назад.

Позади Зароскина сидел Аракел Петросянов, в кругу друзей — Арик, молодой, но уже бойкий переводчик всех армянских поэтов, как ныне здравствующих, так и покойных. За Ариком помещался Георгий, сатирик и драматург. Георгий был постарше и Аракела, и Инны, но так же, как и они, в свое время окончил Литинститут.

Читая, Инна смутно различала у себя за плечом передвижения Олега, но ничто не могло сейчас занимать ее, кроме стихов. Щеки ее покрылись густым тяжелым румянцем, в глазах пылал глубокий индиговый свет.

— Марина Цветаева! — выдохнул Зароскин по окончании очередного стиха. В последнее время за ним прочно утвердилась слава специалиста по Цветаевой. — Ее голос! Как хотите — я начинаю верить в переселение душ.

Инна не обиделась, но резонно возразила:

— В таком случае придется предположить, что до четырех лет у меня вообще не было души. Когда Марина покончила с собой, мне было четыре года.

— Ну что ж, с точки зрения поэтической, может, и не было, — не сдался Зароскин. — Кто знает? Зато сейчас есть!.. — И в восхищении покачал головой.

Инна продолжала читать. Было это похоже на Цветасву или нет, но это несомненно было талантливо, круто и ревниво.

Умолкнув наконец, Инна судорожно втянула в себя воздух и поискала рукой сигареты. Пальцы ее вздрагивали. Олег торопливо придвинул ей пачку. Прежде чем закурить, она обвела всех сидящих темным, ничего не видящим взглядом.

— Очень здорово, — сказал Арик. — Просто потрясающе.

Инна перевела взгляд на него и слегка прищурилась, словно оценивая степень его искренности.

— Эдит Пиаф... — произнес Зароскин неторопливо-раздумчиво и после некоторой паузы закончил: — ...была маленькая женщина. Но как она покоряла слушателей. — Он опять покачал седеющей головой. — Удивительно...

Инна ждала продолжения. Зароскин замялся.

— Дар — это всегда таинство и тайна, — сообщил он наконец. — Что тут можно сказать? Я постараюсь написать. Не обещаю, но постараюсь.

— Да, замечательно, — вздохнул Женья.

— Наша Эдит Пиаф! — зачем-то повторил чужие слова Георгий.

Стосвечовая лампа без абажура слишком ярко освещала все лица.

— Прочти еще что-нибудь, — попросил Женья.

Зароскин был уверен, что Инна откажется, и даже сделал некий протестующий жест, но она не усмотрела в Жениной просьбе ничего чрезмерного и стала читать — правда, с тем оттенком лукавства в голосе, который должен был показать — это уже не всерьез:

Тропинка по склону петляет,  
В ущелье рокошет  
                                проворный поток,  
Тринадцатый год проживает  
В пустынной пещере  
                                опальный пророк.  
Орел его пищей небесной снабжает,  
И ангел-хранитель от бед охраняет,  
И некто в хитоне порой навещает,  
Хоть мудрость седая  
                                хитонам не впрок.

С той же задорной интонацией Инна прочла вторую строфу, третью и четвертую и была уже близка к концу своей баллады, но тут в уголке у двери возник Федя, Феденька. Его, разумеется, не приглашали, но он, тем не менее, пришел, как всегда, бочком просочился в квартиру и потирал теперь руки, будто с морозца, хотя на дворе стояла весна. Феденька был сыном одного известного, но уже лет пятнадцать как почившего в бозе писателя. Папина слава долго открывала перед ним двери многих домов, но наконец в один прекрасный день он надоел всем окончательно и бесповоротно. Наименее щепетильные хозяева пару раз уже выгоняли его без лишних церемоний, но смутить и обидеть Федю было трудно, он все равно появлялся там, где собирались хорошие люди. Заметив Федю, Инна на секунду замолкла, закусила нижнюю губу, но потом продолжала:

У входа хозяин встречает —  
Пропахла сосновой смолой борода.

С одежд моих грязных стекает  
На коврик у двери жилища вода,  
Но вид мой сго не смущает:  
Он ласков и весел, он знает,  
Как трудно добраться сюда.

— Чудненько! — произнес Федя нараспев, продолжая потирать руки и радостно улыбаться. — Ей-Богу, славненько и чудесненько! Жаль, что я опоздал. Весьма сокрушаюсь. Задержался у Садовского. На следующей неделе начинаем репетиции «Чужого человека».

Никто не откликнулся на это сообщение; все знали, что он уже второй год как изгнан из театра. Стелла неторопливо отделилась от косяка, подошла к окну, сдвинула в сторону что-то, стоявшее на подоконнике, и приоткрыла раму. Запах весенней ночи ворвался в тесное пространство кухоньки.

Олег поставил на стол бутылку коньяку и тарелки с закусками; собравшиеся одобрили взглядом пять звездочек и розовую ветчину, а Феденька прямо-таки просиял. К главному успел, не опоздал.

— Слушайте, — поежился Арик, — зачем открыли окошко? Кому он нужен — этот свежий воздух?

Женя слегка повел рукой и прихлопнул раму. Олег стал разливать коньяк по рюмкам, и разговор постепенно сместился со стихов на темы окололитературные и вообще внелитературные.

— Вы слышали, Крушнина собираются турнуть, — сказал Женя.

— Вот уж о ком не стану жалеть, — откликнулся Георгий.

— Не скажи, — заметил Арик, — он далеко не худший из всех возможных.

Рюмки были подняты, опрокинуты и наполнены снова.

— А Зверев-то застрелился, — сообщил Феденька, все так же потирая руки.

Который — отец или сын? — поинтересовался Арик.

— Отец, — отвечал Федя с ясной улыбкой. — Вернулся из Англии и обнаружил, что сынок в его отсутствие пропил именной пистолет. Да еще, представляете, снял, поганец, финский паркет по всей квартире. Папаша, ничего не подозревая, открывает дверь, а пола, извиняюсь, нету! Нетути паркетика, будто никогда и не бывало.

— Сложная какая-то операция,— заметил Женя.— Паркет снимать.

— Почему сложная? Позвал рабочих, они ему за пол-литра в момент ободрали всю квартиру.

— Почему бы и нет? — согласился Зароскин.— С поцелуйчиком.

— И из-за таких пустяков стреляться? — удивился Арик.— И это называется — большевик?

— Ну, старик,— сказал Георгий,— пистолет все-таки. Торговля огнестрельным оружием.

— Позвольте,— сказала Стелла,— если сын продал пистолет, то из чего же папаша застрелился?

— Действительно! — поддержал Зароскин.

— Очевидно, из охотничьего ружья.

— А может, у него на этот случай имелся запасной пистолет,— догадался Георгий.— Может, у него было два именных пистолета.

— Или одолжил у боевого товарища,— предположил Арик.

После третьей рюмки про Зверева забыли, и общая беседа понемногу распалась.

— А ты, старик, я слышал, норвежцев переводишь? — поинтересовался Георгий.

— Их самых,— кивнул Женя.

— Вот интересно все-таки,— вздохнул Георгий,— почему в этом мире один человек рождается в Осло, а другой — в Бескудникове? От чего это зависит?

— От направления ветра,— сказал Арик.

— В Бескудникове никто не рождается,— заметил Зароскин.— Рождаются люди на Арбате, на Кудринке, в крайнем случае, на Тверской-Ямской, а в Бескудниково они переезжают, достигнув солидного возраста и прочного общественного положения.

— А также всенародного признания,— заключил Арик.

— Переезжают, уплатив предварительно кооперативные взносы,— уточнил Олег.

— А может, у меня имеется справка от психиатра о том, что мне противопоказано жить в Бескудникове,— упорствовал Георгий.

— Жить вообще противопоказано,— сказал Арик.

— Да... От этого умирают,— прибавил Женя просто-душно.

— А бывает, что и стреляются,— вздохнул Зароскин.

— Давайте, ребята, лучше выпьем,— предложил Феденька.



— Ты прав, старик,— поддержал его Георгий, но Олег виновато развел руками — бутылка была опростана и исчерпана.

— Минуточку,— сказал Георгий, аккуратноенько выбираясь из-за стола и скрываясь в прихожей.

Он скоро вернулся и водрузил на стол бутылку водки.

— Хватит напиваться! — воскликнула вдруг Инна с той же упругой страстью, которая звучала в ее стихах.

Олег поспешно отставил рюмку и мило при этом улыбнулся.

— Каждый раз он напивается, как сапожник! — продолжала Инна уже не столь грозно, снизойдя отчасти к смущению гостей.

— А что,— спросил Женя,— разве сапожник напивается как-нибудь иначе?

— Это анахронизм, старик,— пояснил Георгий. — Теперь все пьют и напиваются в равной мере, а раньше каждый пил в соответствии со своими занятиями.

— Раньше было классовое расслоение общества,— подтвердил Зароскин.

— А... Ну, тогда выпьем! — решил Георгий.

— Стеллочка, признайтесь,— бормотал между тем Феденька, норовя коснуться Стеллиной руки,— вы тоже пишете стихи. Я чувствую, что пишете. Ведь пишете?

— Что ты, старик, вяжешься,— заметил Женя со вздохом. — Может, она в самом деле пишет?

— Так я про это и говорю,— не сдавался Федя.

— Я пишу как Ахматова,— ответила Стелла не без вызова.

— Ахматова — слабый поэт,— тотчас откликнулась на ее заявление Инна. — Вся беда в том, что она их всех пережила.

— Живой классик,— поддакнул Олег.

— Слабый поэт? — подхватил Георгий. — Слабый поэт — это хорошо. Чем поэт слабей, тем легче его переводить.

— Да, но Ахматова, к сожалению, пишет по-русски,— заметил Арик. — Куда же ее переводить?

— Неважно, куда-нибудь,— отмахнулся Георгий.

Поспорили немного о переводах. Феденька тем временем укрепил свои позиции возле Стеллы.

— Он ведь что? — говорил он полушепотом, приятно улыбаясь. — Он всего лишь поспать хотел. Устал человек.

А вокруг шум и суета. Ну, и лег в диван. А Глашенька его, знаете Глашеньку? — очень даже милашенька! — Глашенька прибрать малость решила, ну, и выплеснула всякую гадость из пепельницы в окошко. А там, под окошком, в тот момент дамочка какая-то проходила, ну, ей окурками платье и попортило, она объясняться пришла, а тут морда опухшая из дивана высовывается. «В чем, — говорит, — состоят ваши претензии?»

— Прекрати рассказывать нам про этих подонков! — воскликнула Инна весьма решительно. — Все они подонки и провокаторы, которые с заднего хода пытаются вломиться в литературу!

— Альфонсы и профурсетки, — подтвердил Зароскин, — и в жизни, и в литературе.

— Все их творчество инспирировано КГБ! — продолжала Инна.

— Ну, старуха! — сказал Женя, хмурясь. — Ну, как можно инспирировать творчество?

— Песни у него есть хорошие, — заметил Георгий.

— Все это делается по заданию КГБ, — не сдавалась Инна. — И этот твой приятель, который спит в диване, получает от них зарплату!

— Тогда давайте разоблачим их, — предложил Женя.

— Они неуязвимы, — сказал Олег.

— Почему?

— Потому что каждый из них состоит на учете.

— Ангелы тьмы, — сказал Георгий, — и спят в диванах. Я, между прочим, тоже подумываю, не встать ли мне на учет. Подстраховаться отчасти.

— Тогда тебя не будут пускать за границу, — предупредил Женя.

— А меня, старик, и так никуда не пускают. — Георгий побарабанил пальцами по крышке стола. — Никуда не пускают, старичок.

— Господа! А что, если нам тоже пойти поспать? — зевнул Арик.

— Здоровое предложение, — согласился Зароскин и поднялся, опираясь на палочку, — на фронте он получил ранение в ногу. — Было, как говорится, чрезвычайно приятно... Инночка, не думайте, я не забыл ни слова из того, о чем мы говорили, можете на меня положиться. Мы это еще обсудим.

Инна вышла в прихожую проводить его. Зароскин удалился, и все остальные тоже вдруг осознали, что время позднее и пора расходиться. Они постепенно

переместились из кухни в коридорчик, но здесь снова задержались.

— А что, ребята, не поехать ли нам куда-нибудь? Давайте куда-нибудь поедem,— предложил Феденька.

— Куда же, например? — спросил Арик. — ЦДЛ закрыт...

— Да, это свинство,— сказал Георгий. — Именно в тот момент, когда в нас созревает желание посетить их, они закрываются.

— Поедем по домам — спать,— сказал Арик.

— По-моему, ты прав, старик,— вздохнул Женя. — Как всегда.

— А Игорь сейчас в Ялте,— произнес Феденька задумчиво.

— Он что, пьесу пишет? — спросил Георгий.

— Кажется...

Олег между тем принялся мыть посуду.

— Он это делает мне назло,— отметила Инна. — Каждый раз, когда у нас гости, он назло мне моет посуду.

— Почему же назло? — возразил Олег недоуменно. — Не назло, а просто люблю, чтобы в доме было чисто. Знаете, когда я отношу белье в прачечную,— признался он не без удовольствия,— у меня появляется ощущение какого-то важного свершения. Как будто я перевел хороший рассказ.

— Оставь, я завтра приберу,— сказала Стелла.

— Посуду надо не мыть, а сдавать,— изрек Арик.

— А что, ребята, давайте поедem в Ялту,— произнес Феденька без особенной надежды.

— Нет! — решила вдруг Инна. — Мы поедem в лес. В лес за грибами! В такую ночь спят только свиньи! Олег, мы едем за грибами! Берем корзины, кошелки, пакеты и едем в лес!

— За грибами? — усомнился Георгий. — Рановато.

— Ничего не рановато,— возразила Инна. — Грибы надо собирать на рассвете!

— Да, но не в апреле месяце.

— Уже почти май!

— Надо говорить не «за грибами», а «по грибы», — уточнил Женя.

— Пускай Зяц и Заурих говорят «по грибы»! Наберем грибов и пожарим их с картошкой.

Инна устремилась в чуланчик за тарой, а гости между тем выступили на лестницу.

— Только не шумите! — предупредил Олег. — А то сосёды опять накатают на нас жалобу. Они каждую неделю строчат на нас доносы то в милицию, то в КГБ.

— И правильно делают! — воодушевился Женья. — Нечего по ночам печатать деньги!

— Тем более на пишущей машинке! — поддержал его Георгий.

— Порядочные советские люди по ночам спят!

— Не все, не все, — сказал Арик, — некоторые стоят на трудовой вахте.

— Тихо вы, черти! — попыталась урезонить их Стелла, перевешиваясь через перила.

Олег вернулся в опустевшую кухню.

— Ну что ты там копаешься! — воскликнула Инна. — Вечно все должны его ждать!

Олег не откликался, и Инне пришлось взглянуть, чем он там занимается. Он старательно протирал тряпочкой красную блестящую фармайку.

— Ты же знаешь, — произнес он наконец, — я договорился, что мы с Маринкой завтра пойдем в зоопарк.

— Нет! — сказала Инна глухо. — Ты не сделаешь этого! Ты не оставишь меня. Ты не оставишь меня одну!

— Я целый месяц обещаю ей...

— Но сегодня ты не бросишь меня!

Стелла зашла в кухню и остановилась возле двери.

— В такой день ты меня не бросишь! — повторила Инна.

— Девочка ждет целый месяц, — попытался объяснить Олег.

Инна придвинулась к окну и прижалась лбом к раме.

— Хорошо, иди, — сказала она. — Иди. Но не рассчитывай, что ты найдешь меня, когда вернешься.

— Это в конце концов невыносимо, — сказал Олег, оставляя тряпку. — Неужели я не имею права раз в месяц повидаться с дочерью?

— Повидаться с дочерью? — сказала Инна, оборачиваясь. Глубокие черные круги залегли у нее вокруг глаз, и все лицо приобрело вдруг зеленоватый пастельный оттенок. — А где моя дочь? Где мой ребенок?! Ты забыл, что я пожертвовала им — ради того, чтобы быть с тобой? Ради того, чтобы быть с таким ничтожеством... — Она как будто хотела присесть на табуретку, но вместо этого медленно-медленно съехала по стене на пол.

Стелла вздохнула. Олег тоже вздохнул и снова взялся за тряпку.

— Хорошо,— сказал он,— если ты настаиваешь, поедем в лес. Если это так важно...

Инна посидела с минуту неподвижно, потом поднялась и вышла вон из квартиры. Стелла последовала за ней. Олег взглянул на часы, снял с вешалки в прихожей куртку, закрыл квартиру на два замка — верхний и нижний — и стал спускаться.

На улице светало. На фоне бледного неба темные костяшки одинаковых типовых шестнадцатиэтажных ба-шен выглядели нежилыми. Слегка серебрились неосвещенные окна. Скверик перед домом уже освободился от снега, только в одном углу, куда солнце не добиралось, лежала остроконечная, спрессовавшаяся в серую многослойную глыбину льдина. Из-под нее по асфальту тянулись набухшие и перекрученные водяные струйки. Арик принялся разогревать свой новенький беленький «москвич».

— А у меня на «Беггах» сторож знакомый,— произнес Феденька мечтательно.

— Ну и что? — спросил Георгий.

— У него всегда есть.

Никто сим сообщением особенно не воодушевился.

— Знаете, господа,— сказал Арик,— я думаю, я все-таки поеду спать.

— Никуда ты не поедешь! — сказала Инна, мгновенно возникшая возле его машины.— И никто в такое утро спать не будет.

— Ну почему же...— запротестовал Арик, но не слишком убедительно.

Олег показался из подъезда и молча принялся раскочегаривать свою издавшую виды «победу».

— Знаете что? — спохватился вдруг Феденька.— Походите минуточку, ладно? Не уезжайте без меня, да? Я только звякну... Звякну только.— И, тревожно оглядываясь на ходу, скоренько зашагал к автомату, установленному за углом.

К тому времени, когда он вернулся, весело потряхивая зажатými коробочкой ладонями, Женя и Стелла уже сидели в «москвиче». Феденька покрутился возле машины, словно что-то проверяя, склонился к шинам, заглянул под капот и уселся наконец спереди рядом с Ариком. Георгий устроился у Олега. Обе машины выехали со двора и свернули на пустынный проспект.

— Так куда мы едем? — спросил Арик.

— Вперед, старик, — сказал Женя, — вперед и выше.

На перекрестке стоял одинокий милиционер. Федя не утерпел и высунулся из окошка.

— Товарищ милиционер! Мы в Ялту правильно едем?

— Пока что правильно, — откликнулся милиционер равнодушно.

— У тебя клапана немного постукивают, — заметил через некоторое время Феденька.

Арик взглянул на него встревоженно.

— Нет, ничего страшного, — успокоил Федя. — Я думаю, обкатается. — И как бы невзначай прибавил: — Сюда, старик, сюда.

Арик свернул, Олег свернул следом. Хлебный фургон прокатил навстречу им по пустой улице.

Возле станции закрытого на ночь метро маячила женская фигурка, вблизи оказавшаяся Катенькой.

— Катя? Как она тут очутилась? — спросил наивный Женя.

— Надо полагать, Федя позвонил ей, — объяснила Стелла не без язвительности, — и доложил, что мы собираемся куда-то ехать.

— Правда? — сказал Женя.

Арик притормозил, Стелла придвинулась к Жене, Катя скользнула на заднее сидение, и обе машины покатили дальше, только теперь Олег оказался впереди.

— Ты все же, когда будешь в гараже, попроси, чтобы проверили, — продолжил Феденька тему клапанов и после некоторой паузы поинтересовался, не оборачиваясь:

— Ну что?

Вопрос этот относился к Кате, но та не спешила отвечать.

— Что — что? — изрекла она наконец.

— Ну, вообще. Как дела? На работе как? Что Константин — здоров?

— Тебе-то какая разница, здоров он или нет? — откликнулась Катя, опять-таки не сразу.

— Ну как же... Все же муж твой, член семьи. Значит, все в порядке?

Катя отвернулась и уставилась в окошко.

— Куда же мы все-таки едем? — сказал Арик.

Никто ему не ответил. Рассвет набирал силу, воздух вокруг сделался перламутрово-серым и каким-то пушистым.

— Ребята, это Хасан! — воскликнула вдруг Стелла. — Честное слово, это Хасан.

Высокий стройный мужчина шагал по предутренней Москве.

В другой машине Хасана тоже заметили. Все остановились.

— Хасанчик, старичок! — сказал Арик. — Ты откуда и куда?

— Домой, — ответил Хасан, склоняясь и заглядывая в машину. — А откуда? От прекрасной женщины. Откуда же еще?

— Хасан, едем с нами! — закричала Инна, распахивая дверцу.

— Не могу, старики. Ей-Богу, не могу... У меня сегодня встреча на Мосфильме.

— А ты перенеси, — подсказал Женья.

— Смеешься, старик. Встречи назначают они, а не мы. Но какая ночь!... Подумайте — какая ночь! Пустынь, блеклость... А я ведь чувствовал, что вы не спите. Правда, чувствовал. Даже как-то потянуло заглянуть — но не мог...

— Ладно, давай садись, чего уж там, — сказал Арик.

— Мосфильм, старик, Мосфильм, — развел руками Хасан и рассмеялся приятным баском, — большие надежды. Можно даже сказать, великие. Если примут сценарец, стану Большаковым.

— Тогда прощай, — сказал Арик.

— Да, поезжайте, — промолвил Хасан раздумчиво. — А вы, собственно, куда?

— Сами не знаем, — ответил Арик.

— Думаем в Ялту махнуть, — сказал Феденька.

— Никакой Ялты! — вмешалась Инна. — Мы едем в лес.

— В лес? — повторил Хасан. — Дивно! Да, в такое утро надо ехать в лес. Старики, вы гении. Это неповторимое утро... А я знаю такое место... Но вы без меня не найдете...

— Так садись, — сказал Георгий.

И Хасана усадили в машину Олега.

— Боже, какая ночь... — повторил он в упоении.

— Почитай стихи, — попросила Инна.

Хасан улыбнулся, но читать не стал.

— Нет, старуха, не сейчас... Сейчас не могу... Но как это славно — что мы встретились... Я потом почитаю, — пообещал он. — Я пишу... Много пишу.

Проехали по Садовому кольцу, мимо толстых в своих ватниках дворничих, свернули к окраинам, проехали длинную скучную улицу, застроенную в давние купеческие времена двухэтажными деревянными домиками на высоких каменных фундаментах, и въехали в район двухэтажных желтых барakov — детищ первых пятилеток. Совершенно голая, без единого деревца, глинистая земля и обильный бумажный мусор отделяли барак от барака. Потом справа потянулась чугунная ограда кладбища. Кладбище выглядело куда веселее, чем стан живых. Тут росли деревья и развесистые кусты, уже окутанные первой нежнейшей листвой. За кладбищем открылся свежий, еще строящийся микрорайон. Одинаковые плоские пятиэтажные коробки, выкрашенные по торцам грязноватой фиолетовой краской, утопали в жидкой, разбитой колесами самосвалов, глине. Несколько однотипных шестнадцатиэтажных башен вздымались к небу надгробными плитами.

— Кладбище для великанов, — сказал Георгий.

— Для пигмеев, — уточнила Инна.

— Да, для простых советских пигмеев, — согласился Георгий тоскливо.

— Оставьте, — вздохнул Хасан. — Несчастные люди, получили квартиру... Пускай живут... Купят торшер, будут рады. Маленькие несчастные люди...

— Не меньше и не несчастнее нас, — сказал Олег.

— О да, старик, да! — воскликнул Хасан нараспев. — Неужели ты подумал, что я возношусь? Ты не понял, старик. Я не про это... Разве я не знаю, что я ничтожнейший из отверженных?

Он хотел продолжить, но тут их машину обогнал, щедро расплескивая жидкий цемент, грузовик с высокими железными бортами. Хасан невольно съехал и замолк.

Город кончился, потянулись пригороды — серые приземистые домишки, подгнившие заборы, почерневшие от времени колодцы и редкие елочки по сторонам дороги. То тут, то там паслась неизвестно чем промышляющая коза.

Вдруг впереди на шоссе встала стена дыма.

— Сбрасывай скорость, сбрасывай! — завопил Феденька. — Ты что? А если у тебя пятитонка навстречу? Это же элементарно!

Машина потонула в дыму, стекла мгновенно затянуло белым, будто их облили масляной краской, и даже шум мотора стал как будто глуше.



— Я думал, проскочим,— сказал Арик.

— Проскочим! Откуда ты можешь знать, что там? Нарвешься на такое!..— Федя вздохнул и покачал головой.

— Как в бане,— сказала Катя.— Не хватает только несприличных надписей.

— Ну, это мы мигом,— откликнулся Арик.

Машина ползла, непрерывно сигналив, и оттого, что она еле двигалась, облако снаружи казалось тугим и тяжелым.

— Жгут что-то,— догадался Женя.— Наверно, что-нибудь мокрое.

И вдруг, так же неожиданно, как и возник, дым рассеялся. Машины вынырнули из липкой белизны и снова помчались по накатанному до блеска шоссе.

Опять потянулись по сторонам чахлые елочки, серые дощатые сараи, покосившиеся избы и разъехавшиеся заборы. Наконец слева показался лес.

— Здесь, ребята,— сказал Хасан,— сворачиваем.

Обе машины съехали на просеку и двинулись по ней, раскачиваясь на корнях. Подпрыгнув на сидении и ойкнув, Стелла обхватила Женю за шею. Он не возражал. Катя уцепилась за ручку двери.

— Я не уверен, что мы проедем,— заволновался Арик.

— Проедем, старик, проедем,— успокоил Федя.

— «Он ласков и весел, он знает, как трудно добрат-ся сюда»,— продекламировал Женя.

В просвете между деревьями показалось поле, засеянное каким-то озимым злаком. Свеженькие молоденькие всходы радовались своему освобождению из-под снега. Потом опять потянулся ельник, сменившийся вскоре веселенькой сосновой рощей, и тут же песок под колесами сделался глубоким и непролазным. «Москвич» забуксовал.

— Приехали, что ли? — сказал Арик, вылезая из машины.

Сосны раздвинулись, показался широкий, удивительно чистый и светлый берег. И такой же широкой и светлой была река. Сквозь мелкую струящуюся воду просвечивало золотистое дно. Прозрачные ивы, розовые от нависшего над кручей солнца, замыкали с обеих сторон песчаную отмель.

— Старик, ты гигант! — воскликнул Женя, обращаясь к Хасану.— Что бы мы без тебя делали!..

— Клондайк,— вздохнул Георгий.

— Ради такого утра стоит жить,— сказала Инна.

Хасан скинул с себя одежду и, оставшись в одних трусах, заскакал по мелководью. Через минуту он скрылся в сизой тени противоположного берега и принялся нырять и плескаться. Все остальные мужчины — кроме Арика — последовали его примеру. Арик растянулся на песочке, оперся головой на локоть и стал наблюдать за купающимися.

Стелла сбросила туфли, приподняла руками подол и осторожно шагнула в реку. Вода затрепетала, засеребрилась и свернулась трубочками вокруг ее ног.

Катя отошла под сосны и уселась в их тени.

— У тебя есть купальник? — спросила Инна у Стеллы.

— Откуда? — изумилась та. — У меня его в жизни не было. То есть был когда-то, лет десять назад, — уточнила она, поразмыслив, — мамин, но с тех пор поизорвался.

— А я купила себе на съезде, — сообщила Инна. — Жалко, не догадалась захватить. Что же будем делать?

— Будем купаться голые, — решила Стелла.

— Ты с ума сошла? — сказала Инна.

— А что такого? Отойдем подальше, и все.

— Катерина! — закричал Феденька из реки. — Иди купайся! Что ты сидишь, как дура? Сидит, как клуша, как тетя Мотя. Думаешь, тебя упранивать будут?

— Ничего я не думаю, — произнесла Катя вполголоса и продолжала сидеть.

Инна и Стелла побрели вдоль берега по краю воды и скрылись в зарослях ив.

Хасан вышел наконец из реки, взмахнул руками, точно крыльями, потом легко согнулся и дважды коснулся локтями земли.

— Как это у тебя, старик, получается? — изумился Женья и попытался повторить упражнение, но с трудом дотянулся до песка кончиками пальцев.

— Он марсианин, — сказал Георгий. — Ты разве не знал?

Инна и Стелла отыскивали удобную прогалину в кустах и принялись раздеваться.

— Что это у тебя? — спросила Инна, взглядом указывая на широкий темный шрам, разделявший надвое Стеллин живот.

— Кесарево,—пояснила Стелла подчеркнуто бесстрастно.

— А где же ребенок? Умер?..

— Зачем мне, собственно, ребенок? — ответила Стелла.

— Куда же он делся?

— Никуда. Его, собственно, и не было. Так, первая беременность. По молодости, по глупости. Аборт уже поздно было делать, стали вызывать преждевременные роды, но что-то у них там пошло не так. Неважно, мне это не мешает. А у тебя красивая грудь, ты вполне можешь ходить без лифчика,—прибавила она.

— Ты делала аборты? — переспросила Инна, отменяя комплимент и всем своим видом и голосом выражая ужас и осуждение.

— А ты — нет?

— Только один! — воскликнула Инна горячо. — Когда ушла от Казанского. Но я еще вернусь к нему!

— Зачем? — удивилась Стелла. — Олег гораздо интереснее.

— Ты ничего не понимаешь,—сказала Инна.

Они медленно, очень медленно заходили в воду.

— А этот Женя — он женат? — спросила Стелла.

— Нет, но он глуп как пробка.

— Однако он очень славный громадный медведь,—возразила Стелла.

Феденька выбрался на берег, попрыгал на одной ноге, делая вид, будто вытряхивает воду из уха, и подскочил к Кате.

— Сидишь? Капитанская дочка! Сиди, сиди. Все-таки хорошо, что ты вышла за Константина.

— Конечно хорошо,—согласилась Катя, поглубже заворачиваясь в жакет.

Феденька глянул на нее грозно, махнул рукой и отошел.

После купания все растянулись на песочке — обсушиться и согреться.

— А что это, собственно, за речушка? — поинтересовался Георгий.

— Это, старичок, не речушка, а река,—объяснил Федя. — Москва-река называется.

— Такая мелкая?

— Имперская мания величия,— сказал Олег.— В-первых, все реки ничтожны в своих верховьях, а во-вторых, Москва-река, действительно, не так уж глубока и полноводна. Это волжские воды делают ее тем, что мы привыкли наблюдать.

— Да,— протянул Георгий,— все на свете обманчиво. Ну, ладно... Но до чего же хороша! Тепла и обольстительна. Я имею в виду воду. Ты, старик, много потерял, что не искупался,— обернулся он к Арику.

— Да ну их к черту, эти водные процедуры,— отмахнулся Арик,— еще сляжешь от них...

Олег забеспокоился вдруг и поднялся взглянуть, куда исчезла Инна. Все остальные постепенно разморились под солнышком и задремали.

— Я в это утро спать залягу,— бормотал Хасан, раскидываясь на песке и подставляя лицо солнцу.— Взойдет вокруг великий пар... И с крыш торжественно и свято... миры сорвутся... для тебя... Миры сорвутся... без меня...

Катя зашла в лес. Сосны скоро сменились елями, стало прохладней и сумрачней. В одном месте между деревьев открылась поляна, поросшая синими подснежниками. Катя наклонилась и сорвала один.

Олег услышал в зарослях Иннин голос, потом сквозь голые прутья разглядел их самих—и Инну, и Стеллу. Обе лежали, кое-как прикрывшись платьями, и обсуждали какую-то знакомую.

— Кофта в обтяжку, и три верхних пуговицы всегда расстегнуты,— говорила Стелла.

— Это чтобы отвлечь внимание от кривых ног,— поддержала Инна.

Олег предпочел незаметно удалиться, но Инна уловила его передвижения по ту сторону кустов.

— Кто там?— спросила она громко.

Он не ответил.

Стелла села и прислушалась.

— Никого нет,— сказала она.— Тебе показалось.

Арик открыл глаза и потер затекшее плечо. Солнце стояло уже высоко.

— Ну что, поехали домой?— сказал он.

— Зачем же домой, старик? Можно прямо в ЦДЛ,— подсказал Георгий.

Подошли Инна со Стеллой, порозовевшие от солнца и от сна.

— Да, булочки там чудесные,— сказала Инна.

— Вообще, с тех пор, как взяли нового директора, еда стала приличной,— поддержал Олег.

Все потихоньку стали просыпаться, потягиваться, приподыматься и одеваться. И тут из лесу выскочил Феденька.

— Ребята, сюда! — закричал он и замахал призывно руками. — Идите поглядите — Катериночка моя обнаружила нечто удивительное!

— Что такое? — спросил Арик, вздыхая в предвиденье новой задержки.

— Идите, идите! — звал Феденька.

— Объясни, в чем дело, — настаивал Арик.

— Мы нашли погреб, — сказала Катя.

— И в нем кринка со сметаной? — спросил Женя.

— И кое-что еще! — пропел Федя радостно и таинственно.

— О чем не говорят, — подхватил Арик, не удержавшись. — О чем не говорят, о чем не пишут в книгах...

— Вот именно! — торжествовал Федя. — Ни в каких книгах не пишут!

Все потянулись в лесок. Меж трех елок возвышался бугор, усыпанный прошлогодними иглами и похожий на муравьиную кучу. Под ним оказался погреб, обычный деревенский погреб. Большой амбарный замок болтался в скобе, но дужка почему-то была отогнута. Феденька потянул за дощатую дверцу, и та откинулась. Погреб был достаточно глубок, вниз вела деревянная лесенка.

— Прошу, — сказал Федя торжественно.

— На кой черт? — засомневался Арик.

— Спустись, старичок, не пожалеешь.

Арик помедлил, но потом все же поставил ногу на перекладину лестницы.

— Пусто, — сказал он из глубины. — Ни кринок, ни сметаны.

— Ты ошибаешься, старичок! — воскликнул Федя. — На этот раз ты ошибаешься. Прошу всех следовать за мной!

В стене погреба оказалась дверь, солидная дубовая дверь. Федя толкнул ее, и она открылась. Выложенные из кирпича ступени уходили вниз.

— Ничего себе! — присвистнул Женя.

— Ё-моё! — сказал Георгий. — Это что же, метрополитен?

— Не метрополитен, старичок, но нечто в этом роде, и даже более прекрасное, — отвечал Федя.

— Пещера Аладдина, — сказал Олег. — Не помешала бы и лампа.

— Или, по крайней мере, фонарик, — согласился Георгий.

— Все предусмотрено, старик. Электричество казенное. Как и все прочее. — Федя повернул выключатель.

В стене вспыхнул ряд неярких, защищенных полукруглыми решетками ламп.

— Все честь честью, — подтвердил Георгий и не слишком уверенно шагнул вниз.

Остальные помедлили в нерешительности, но в конце концов стали спускаться. Лестница оказалась недлинной и уперлась в новую дверь, весьма внушительной толщины.

— Свинец? — спросил Женя в каком-то восторженном изумлении.

— Что вы, ребята, — проговорил Хасан, — чему вы удивляетесь? Обыкновенное атомное бомбоубежище. Здесь таких полно — правительственные дачи вокруг. Мы прошлым летом, — прибавил он с блаженным вздохом, — встречались тут с одной дамочкой. Такая, я вам скажу, женщина... Папа у нее из этих...

— Прошлым летом в Мариенбаде... — сказал Георгий.

Свинцовая дверь тоже оказалась не запертой, и лестница за ней продолжалась.

— Я не уверен, — сказал Олег, — что мы поступаем правильно.

— Не дело это все, — высказался Арик вполне определенно.

Феденька постарался развеять их опасения:

— Там никого нет.

— Просто он трусит, — изрекла Инна. — Но мы все-таки спустимся туда. Пустите, я пойду вперед. Я жажду видеть, как эти гады устроились!

— Конечно, мы спустимся, — пробормотал Георгий. — Как мы можем не спуститься? Конечно, спустимся. Но одного я все-таки не понимаю: почему убежище на этом берегу? Ведь дачи на том. Или это на случай, если отцы народа пожелают отправиться по грибы?

— Может, это запасной выход...  
— Но почему все открыто?  
— Опять-таки нельзя знать.  
— Великие стройки коммунизма,— вздохнул Женя, утомившись от спуска.

— Катерина! — взревел вдруг Феденька так, что все вздрогнули. — Ты где?

— Я здесь, — отвечала Катя откуда-то с высоты. — Чего ты бесишься?

— Знаете что? — сказал вдруг Арик. — Пойду-ка я надену замок на руль. А то, пока я тут буду лазить по всяким подземельям, у меня там уведут машину.

Он протиснулся мимо ряда спускавшихся и бодро поскакал наверх.

— Как шатко все, как ненадежно, — промолвил Хасан, — но нам завещано вгрызаться в бытие...

Внизу оказалась еще одна дверь, при первом же прикосновении плавно откатившаяся по круглому рельсу в сторону. И тотчас вспыхнул дневной свет.

— Техника на грани фантастики, — сказал Женя.

По стенам довольно просторного помещения располагались шкафы, два дивана и полочка с книгами. В одном углу потолок снижался, здесь стоял обеденный стол со стульями. Рядом со столом помещались плита, холодильник и раковина. Пол был застелен коврами. Феденька хозяйским шагом прошелся по комнате и распахнул все шкафы. Тут оказались подушки, одеяла, постельное белье, но главное — огромное количество консервов.

— Културненько устроились, — сказал Георгий.

— Прошу обратить внимание — ни одной отечественной банки, сплошной импорт, — заметил Женя.

— Обижаешь, старик, — сказал Олег. — А это что? Икра черная, Главсовэкспорт.

— Мы их сейчас раскулачим! — воскликнула Инна. — Мы устроим такой пир, что им, паразитам, не поздоровится! Женя, иди почитай, что тут написано!

— Торт растворимый. Налить в смеситель два стакана молока...

— Торт — это потом. — Инна отставила банку. — Сначала закуски и суп. Найди суп. А это что? Гуляш? Замечательно! О, это вкусно!

— Невкусного здесь не едят, — заметил Олег.

— Есть компот, — доложил Женя.

— Сварим компот!

— Его не надо варить, он готов к употреблению.

— Вот это сервис! А ну, дайте попробовать.

— А это что? Не важно! Открывай все подряд. Мы сожрем здесь все! Ни крошки им не оставим.

— А водяра? Водяра есть? — забеспокоился Феденька.

— Должна быть, — сказал Женя, присоединяясь к поискам. — Французский коньяк тебя устроит? Погоди, кажется, есть и водяра.

— Чудненько, чудненько, чудесненько!.. Пожарим картошку... Катерина! Где картошка? Найди картошку!

— Какую картошку? — отвечала Катя. — Совсем рехнулся?

— В нашем деле без картошки никак нельзя! — сказал Федя и раскланялся на французский манер.

В углу за холодильником обнаружилась невысокая дверца, а за ней крохотная комнатуха с неширокой кроватью и тумбочкой-сейфом.

— Опочивальня самого! — догадался Георгий. — Последний бастион. Берлога. Ах, паразиты, до чего ж трясутся за свою шкуру, до чего ж ценят свое хамское существование!

— Зачем, старик? — поморщился Хасан. — Зачем? Ну, правильно, трясутся. Трясутся, прячутся... Соратников боятся, друзей, врагов, атомной войны, народного гнева. Несчастливые люди...

— Мы не станем унижать их жалостью, — сказал Женя и принялся разглядывать стоявшее на книжной полке.

Весь верхний ряд занимали детективы — Агата Кристи и прочие зарубежные авторы, никогда в Советском Союзе не печатавшиеся и тем не менее чудесным образом присутствующие. Под ними были свалены грудой американские журналы мод. Далее шли разрозненные издания: поваренная книга и сонник, «Гимнастика для всех» и какой-то плотный том — не то дореволюционное, не то заграничное издание, правда, в несоответственно новеньком переплете, — каждая страница была взята в тонюсенькую красненькую рамочку. Непривычный убористый шрифт украшали яти и твердые знаки. Текст был таков: «Это был мужчина, который невольно притягивал к себе сердца. Женщины все до одной были от него без ума. Не будучи обязан считаться ни с кем, он тем не менее прислушивался к мнению многих». Женя захлопнул книгу. За «Тремя мушкетерами» шел «Пятнадцатилетний капитан», а следующая книжка — тоже непонятно где изданная — носила влекущее название «Мадемуазель



Жульетт». Женя полистал ее, но не нашел ничего, кроме скучнейшей псевдофранцузской мелодрамы, сочиненной, скорее всего, какой-нибудь тульской помещицей. Он хотел вернуть «Мадемуазель» на полку, но вдруг заметил между страницами свернутый вдвое листик из блокнота. На листке старческим корявым почерком был записан шестизначный телефон: К-5-26-16. Женя повертел бумажку в руках и сунул зачем-то в карман.

— Ну что, старик, обнаружил классиков марксизма-ленинизма? — спросил Георгий. — Неужели отсутствуют? Жаль. Чертовски хотелось повисить свой идейно-политический уровень.

— А что-нибудь такое буржуазно-разлагающее? — поинтересовалась Стелла.

— Тоже не видать. Библиотека для семейного чтения.

— Вся клубничка в сейфе возле кровати, — объяснил Федя и тут же принялся бушевать за Катиной спиной: — Катерина, дура, сколько раз я тебе говорил — лук кладут вместе с картошкой! Вместе, а не после! До чего же надоело наставлять и воспитывать...

— Представляете, ребята, мы можем жить здесь целый месяц, и никто нас не найдет! — сказала Инна.

— Целый месяц — это ты, старуха,хватила, — откликнулся Женя.

— Странно все-таки, что все так вот доступно и настежь, — произнес Георгий.

— Ничего странного, старик, — сказал Хасан, — перепутали что-то. Велика Россия и безалаберна. Покуда наводили порядок где-то в дальних даях, дома под носом произошли кой-какие накладки. Бывает...

— Да, но вопрос, насколько я понимаю, касается их личной безопасности. И тут разгильдяйство? Это уже настораживает.

— А где, между прочим, Арик? — вспомнила вдруг Инна. — Куда он исчез? Мне это не нравится.

— Мне тоже, — сказал Георгий.

— Струсил и сбежал.

— Как же мы вернемся домой?

— Как-нибудь вернемся, — зевнул Хасан, — зачем волноваться? Зачем трепетать, старики? Будем свободны...

— ...как радиостанция «Свобода», — присовокупил, возникая в дверях, Арик.

— Легок на помине, старик, — сказал Женя.

— Пока над пропастью туманной вы стояли, — прочитал Хасан, откидываясь на диване и ни к кому в осо-

бенности не обращаясь,—взошли подснежники, синеватые вольно...

— А вы знаете, господа,—сказал Арик,—что завтра всенародный праздник трудящихся?

— Какой еще праздник?

— Первое мая.

— Как — Первое мая? — воскликнул Георгий. — Уже? А куда же девалась последняя декада апреля?

— Прожита, старик.

— Того не может быть! — сказал Женя. — Я точно помню, что вышел из дому двадцать первого апреля, в день рождения великого вождя пролетариата Владимира Ильича Ленина. Где же я, простите, пребывал столько дней?

— Тебе виднее, старик.

— Ты все перепутал, старичок. Двадцать первое апреля — день рождения великого вождя немецкого народа Адольфа Гитлера. Ленин родился двадцать второго.

— Ты полагаешь? Не знаю, старики, вы как-то окончательно сбили меня с толку. Теперь я уже ни в чем не уверен.

— Нет, серьезно, давайте посчитаем, какое сегодня число.

— Двадцать седьмое апреля,—сказала Стелла. — И мы садимся за стол. А тридцатого Альтерманов обещал провести меня на Курасаву.

— О, да, старуха! — сказал Хасан. — Это обязательно надо смотреть. Я четыре раза смотрел и четыре раза плакал.

— Не исключено, что в связи с надвигающимся парадом будут перекрыты шоссе,—предупредил Арик.

Никто не проникся его тревогой.

— Ребята, я испеку блины! — воскликнула Инна. — Я умею делать блины.

— Блины — это отменно! — сказал Женя. — С красной икоркой... Н-да... Гениально!

— Выпьем, господа!

— Удивительно своевременное предложение.

— Да здравствует Первомай!

— Но ты не будешь напиваться! — сказала Инна.

— Разве я когда-нибудь напивался? — откликнулся Олег любезно.

— Ах, хорошо! — сказал Женя. — До чего ж хорошо! За здоровье хозяина дома!

— Да, выпьем за то, чтобы у него было слабое и расшатанное здоровье! — хмыкнул Георгий.

— Зачем, старик...— произнес Хасан удрученно.— Если хочешь знать, это в конце концов плебейство — поносить власти. Если хочешь знать, художник и поэт всегда, во все века и во все эпохи существовали при дворе.

— При просвещенном монархе — может быть, но не при диктаторе и тиране.

— Почему? И при тиране тоже...

— При советской власти художник и поэт существовать не могут.

— Но куда у этой власти такие хорошенькие дочки...— заметил Арик.

— При чем тут дочки? Зачем, ребята, ни к чему...

— Те властители, как видно, лучше разбирались в искусстве,— сказала Инна.

— Почему лучше? Старуха, разве тебя не печатают? Печатают...

— Это ты называешь — печатают? Подборка — пять стихов — раз в год в одном журнале? При чем за каждую строку надо еще сражаться!

— Да,— вспомнил Георгий,— Павел мне рассказывал, что редакторша требовала от него, чтобы он заменил «гильотину» на «скарлатину»!

— Каждый раз приходится отстаивать каждое слово!

— Ну и что? Не важно. Пусть даже не печатают... Вот в Бухаре однажды жил поэт, писал и закапывал стихи в песок. Через тысячу лет нашли. Бархан сдвинулся, и нашли. Ничто не пропадает, старики... Я доверяю песку...

— И напрасно! — изрекла Инна.— Одного нашли, а тысяча пропала бесследно.

— Нет, старики, зачем?.. Надо верить... Надо быть выше... Ненавидеть мелких людишек — зачем? Глупо. Подумайте — предки ваши скидывали царя, бушевали за народное дело, а вы теперь злобствуете против тех, кого они привели к власти...

— Ну, до царя им было не достать,— заметил Георгий,— они скидывали губернатора.

— Урядника,— уточнил Арик.

— Царь сам себя скинул,— сказал Олег.

Феденька поежился от этих скучных разговоров, обвел помещение ищущим взглядом и, не найдя никакого утешения тоскующему сердцу, принялся колдовать над Катинной головой — делать какие-то пассы, не касаясь волос, но будто бы гладя их. Катя никак на это не реагировала.

— Барханам я доверяю,— настаивал Хасан.— Они чисты и великодушны... Просеяны ветром, просушены солнцем... Трепетны и живы... Бархана дыня медоносная струится в золотых лучах... Струится в золотых полях... Струится в золотых песках...

— Катя, Катюша, Катенька...— причитал в то же время Феденька.— Катяра моя ненаглядная... Такая баба, а вышла за коллежского регистратора...

— Кто взял, за того и вышла,— откликнулась Катя рассудительно, поднялась из-за стола, вытащила с полки какой-то журнал и удалилась с ним в спальню.

— Видишь ли, старик,— объяснял между тем Георгий слегка заплетающимся языком,— я, старик, все понимаю. Но все-таки, что же это получается? Получается, что поскольку они невежды и негодяи, то нам только и останется, что смириться. Смириться и служить им верой и правдой.

— Да, старичок, но ты ведь и так смирился,— отвечал Хасан.— Давно смирился и давно служишь... Ешь с этого стола и будешь счастлив получить награду — премию какую-нибудь, звание какое-нибудь дерьмовое, на худой конец, набор в распределителе.

— Откуда ты знаешь, чем я буду счастлив? — обиделся Георгий.— Нет, я не буду счастлив. Может, не откажусь лизнуть хозяйскую руку, но счастлив не буду. Покуда я мыслю, я буду несчастлив. Старик, я мыслю, стало быть, сопротивляюсь.

Феденька опрокинул еще рюмочку, приободрился и придвинулся поближе к Стелле.

— Стеллочка, вы знаете, что у вас дивные ножки?

— Да, знаю,— ответила Стелла громко и с вызовом.— А вы, между прочим, здесь с дамой.

— О, как вы, Стелла, правы! — согласился Федя.— С бесценной дамой сердца... Десять лет люблю, и десять лет как рыба об лед... Ах, Стелла, Стеллочка... Стеллочка, белочка, летающая тарелочка... Что же еще я могу прибавить?

— Не прибавляйте ничего,— посоветовала Стелла.

Катя выступила из своего уединения, молча прошла к шкафу, вытащила две подушки и, по-прежнему ни на кого не глядя, удалилась. Феденька опрокинул еще одну рюмку.

— Катька, Катерина! — воскликнул он затем.— Почему ты вышла за этого ублюдка? Почему, душа моя! — Не дождавшись ответа, он поднялся, постоял минуту

в позе горьковского Бессеменова, а потом юркнул бочком в ту же дверь, за которой скрылась Катя.

— Это что же? — спросил Женя. — Уединяются вот так вот запросто, не стесняясь нашим присутствием?

— Старик, ты что, не слышал, теперь сексуальная революция.

— Я, конечно, слышал, но не предполагал... Я, между прочим, знаком с ее мужем, отличный парень, работага и умница. И не пьет.

— Может, в этом все и дело, — заметил Арик.

— Мерзкий тип и подонок! — сказала Инна (имея в виду не Катиного мужа, а Феденьку). — В следующий раз, если он явится, я его просто выставлю! Вместе с этой девкой.

— Перестань, старуха, — сказал Хасан, — какая же она девка? Она лотос любви. Бухта софии... Приют надежды...

— Ты полон благодати, а этот лотос чуть что — на тебя же и донесет, — сказала Инна.

— Донесет? На меня? Кому? О чем? На меня, старуха, невозможно донести, я сам на себя доношу ежечасно. А если и донесет? — прибавил он после некоторого раздумья. — Пускай, пускай донесет, если ей от этого лучше...

— Перестаньте, — сказал Олег. — Не скатывайтесь на эти разговоры. Я их не люблю.

— А как тут, братцы, насчет сортира? — спросил вдруг Женя. — Неужели наверх бежать?

— По-моему, что-то такое тут имеется, — сказал Арик. — Лестница, во всяком случае, насколько я успел заметить, уходит куда-то вглубь и ниже.

— Что ты говоришь! Еще ниже?

— Да, старик. И вот опустился я на самое дно, слышу, снизу стучат.

— Стучат? Как, и здесь стучат? — ужаснулся Георгий.

— На меня попрошу не стучать, — сказал Арик.

— Перестаньте, — повторил Олег, мрачней.

— Пойду попытаю счастья, — сказал Женя. — Надеюсь, что в персональном гальюне ответственных товарищей имеется туалетная бумага.

— Газета «Правда» наверняка имеется.

— Главное, чтобы имелся свет.

— Да, старики, желательно. А фонарика, на всякий пожарный, нет?

— Есть спички.

— Старик, я, пожалуй, с тобой,— сказал Арик.

Оба вышли на лестницу, которая и в самом деле имела продолжение, но недолгое. Завитком ниже их взорам открылась довольно широкая площадка и в ней колодец — по виду сруб, но бетонный. Женя и Арик глянули внутрь. Вода стояло близко, метрах в двух от края.

— Странно,— сказал Арик,— зачем колодец, когда есть водопровод.

— На случай повреждения водоснабжающей системы,— догадался Женя.— Между прочим, старик, я раньше хотел тебе сказать, но как-то все не получалось... Не приходилось, понимаешь, к слову... Вызывали меня недавно...

— Вызывали — куда?

— Ну, старик, куда вызывают...

— А!.. И что же?

— Нет, ничего особенного. Просто видел твое дело.

— Мое дело?

— Да, старик.

— Что же там было?

— Не знаю, старик, я не заглядывал. Просто лежала папка на столе. Ну, я решил, надо тебе сказать.

— Ну что ж, спасибо, что сказал,— произнес Арик довольно мрачно.

— Но я что-то не вижу заветной дверцы,— вздохнул Женя.— А по закону естества полагалось бы ей где-то быть...

— Можешь воспользоваться колодцем.

— Нет, не могу, старик. Нравственное чувство не позволяет.

— Как знаешь. А я, пожалуй, поеду домой. Надоело все к чертовой матери.— И он стал подниматься.

— Старик, нашел! — воскликнул Женя радостно.— Здесь, рядом с апартаментами. Очень даже респектабельно. И бумажка имеется!

Он собрался уже прикрыть за собой дверь, но тут внизу раздался всплеск — будто что-то большое и тяжелое плюхнулось в воду. Под бетонными сводами зашлепало эхо.

— Что это? — спросили оба одновременно.

— Наверно, ведро упало,— догадался Арик.

— Разве там было ведро? Я что-то не заметил...

— Если есть колодец, полагается быть ведру.

— Пойдем поглядим? — предложил Женя не слишком уверенно.

— Ну его к черту, — сказал Арик, опускаясь на ступеньку. — Надо убираться отсюда. Давай, старик, не отвлекайся, совершай задуманное, а то задние тоже хотят.

Отсутствовали они не слишком долго, но, вернувшись, застали все общество в разморенно-полусонном состоянии. Хасан сидел, вытянув длинные ноги и запрокинув голову на спинку стула. Инна и Стелла расположились на диване валетом, на другом диване подремывал Георгий. Только Олег не поддавался усталости и мыл посуду.

— Он делает это мне назло, — сообщила Инна.

— Извращенец, — изрек Георгий, не открывая глаз.

— Хорошо, я не буду мыть посуду! — произнес Олег угрюмо. — Не знаю почему, но почему-то все время получается так, что, что бы я ни делал, я делаю не то и некстати. — И, не закрыв крана, он уселся на стул.

— Ну что ты, старик... — сказал Женя. — Ты преувеличиваешь.

— Старик, мы не в том смысле, — пробормотал Георгий. — Ты не обижайся.

Арик закрутил кран.

— Так, господа, я уезжаю. Кто со мной — попрошу.

— Попросишь — о чем? — спросил Георгий.

— Попрошу не мешкать.

— Да, хорошо, мы идем, — сказал Георгий, не меняя позы.

— Я, господа, говорю вполне серьезно, — повторил Арик.

— Старик, ты, как всегда, прав. Мы встаем! — Георгий сел и встряхнулся. — Хотя чертовски хочется спать. Может, поспим полчаса, а?

— Счастливого оставаться, — произнес Арик, демонстративно направляясь к двери.

— Ты, старик, суров, — сказал Хасан, потягиваясь и разминаясь, — однако зачем? Куда ехать, куда торопиться? Сядь, расслабься. Этот день неповторим, неповторим, старик. Ну, поедешь, ну, приедешь, ну, вернешься, а зачем? Вот меня сегодня ждал Лаврентьев, а я плюнул и поехал с вами. Ну и что? Этот день прекрасен. Сядь, старик, сядь, голубый...

Арик ответил на эту тираду скептическим вздохом, однако все-таки сел.

— А что, ребята, покурить у кого-нибудь осталось? — поинтересовался Женья.

— Я тоже хотела спросить, — присоединилась к его тревоге Стелла.

Инна порылась в сумочке, но не обнаружила ничего, кроме пустой пачки.

— Да, чертовски хотелось бы закурить, — подытожил Георгий.

— А что, здесь не водится какого-нибудь курева? Махорочки какой-нибудь?

— Нет, старичок, мы попали в вагон для некурящих.

— Обидно.

— А посему надо двигаться, — сказал Арик.

— Я понял, — произнес Олег с лицом печальным и отрешенным, — Инна права. И вы все тоже правы — не надо мыть посуду. И белье не надо сдавать в прачечную. Ни к чему это все.

— Не надо, старичок, — вздохнул Хасан. — Ты печален, потому что устал. Мы все устали. Устали, притомились. Но ничего — поедем сейчас в ЦДЛ, шашлычок закажем, все утрясется. Души развеется озноб...

— А милую пару забираем? — напомнил Георгий. — Или не станем тревожить?

— Пускай добираются пешком! — постановила Инна.

— Я думаю, следует все же пощадить их, — сказал Георгий. — Тем более, если праздник. Международная солидарность. Пролетарии всех стран, соединяйтесь.

— Это в каком смысле? — спросил Женья.

Он шагнул по направлению к опочивальне и уже поднял руку для стука, но в эту секунду Феденька, вполне отдохнувший и бодрый, опережая его зов, предстал на пороге, радужно улыбаясь.

— Что, братцы, едем? — произнес он задорно. — А посошок на дорожку?

— Закурить у тебя не найдется? — спросил Женья.

Федя похлопал себя по карманам и развел руками.

— Катерина! Собирайся, дуреха, — заорал он, оборачиваясь. — Думает, ей тут Дом творчества.

Пропустив затем рюмочку и другую, он повеселел еще больше и принялся вытаскивать из шкафов консервные банки.

— Катерина! Иди погляди, чего брать.

— Зачем? — спросила Катя, возникая в дверном проеме.



- Как зачем? Зачем! Чтобы есть!
- Ничего я не собираюсь брать.
- Не собираешься? Тогда я тоже не собираюсь!

Он пнул батарею банок ногой, часть из них раскатилась по полу. Катя наклонилась, неторопливо подняла их все одну за другой и аккуратными рядами расставила на столе.

— Уж если, братцы, что и брать, так эту шкатулочку,— сказал Георгий, подходя к сейфу и постукивая по стальной стенке.— Пара миллиончиков тут, наверно, скрывается. А может, и камушки какие.

— Думаешь, старик? — откликнулся Женья.

— Бросьте, ребята,— сказал Хасан.— Миллиончики у них лежат в швейцарском банке. А здесь хранятся секретные инструкции по ведению войны в условиях превентивной атомной атаки.

— Думаешь? — повторил Женья.

— А вдруг упустим свое счастье? — вздохнул Георгий.— Представляете, бочонок бриллиантов. Неповторимый шанс.

— Ситуэйшен,— сказал Женья, почесывая в затылке.— Может, попробуем открыть?

— Да, но каким образом? — спросил, приближаясь, Арик.

— Дайте-ка подумать,— пробормотал Георгий.— Что-то в этом есть...— И он принялся с великой осторожностью подкручивать колесико на дверце сейфа и прислушиваться к его невнятным пощелкиваниям.

— Я против,— сказал Олег.— Это грабеж. Я не хочу. Мы не медвежатники.

— Старик, это не грабеж, а экспроприация экспроприированного,— возразил Георгий.

— Все народное,— подтвердил Женья.

— Мы ничего не возьмем, мы только посмотрим,— заявила Инна.

— По-моему, это сработало,— сказал Георгий, распрямляясь и обводя всех недоуменным взглядом.— Но требуется ключ.

— Откуда же его взять? — спросил Арик.

— Попробуй этот,— сказала Катя, подавая ему средних размеров ключик с двойной бородкой.

Георгий вставил ключ в скважину, повернул его и открыл дверцу.

— Потрясающе! — воскликнул Женья.— Нет, невероятно! Старик, как ты это сделал?!

Внутри не оказалось ничего, кроме одного-единственного листка, отпечатанного на ротаторе. «ПРАВИЛА пользования системой водопровода и канализации в условиях длительного пребывания на объекте», — гласило заглавие.

— Хасан, старик, ты был прав! — воскликнул Георгий. — Откуда ты знал, что тут ничего нет?

— Откуда *он* знал, это не так интересно, как то, откуда *ты* знал, — сказал Арик.

— Ты имеешь в виду код? Интуиция, старик. Внезапное озарение. Наитие.

— Потрясающе, — повторил Женя. Я начинаю верить в чудеса.

— Он только выглядит интеллигентным человеком, — сказала Инна, — а на самом деле он воспитывался на Тишинском рынке. Но ключ! Откуда ты его взяла? — прибавила она, оборачиваясь к Кате. — Где ты взяла ключ?

— В шкафу на полке, — ответила Катя бесстрастно. — Ключи и деньги всегда держат в шкафу под бельем.

— Потрясающе!

Олег опустил на стул и сжал виски руками.

— Что, старичок? — спросил Хасан заботливо. — Не хорошо тебе?

— Нет, старик, мне прекрасно, — ответил Олег, улыбуясь. — Я только не понимаю, зачем?..

— Может, поднимемся наверх? На свежий воздух?

— Нет, старик, — сказал Олег. Мне душно не в этом смысле.

— Старичок, в этом смысле нам всем душно, — попытался утешить Хасан. А ты не поддавайся. Не усложняй. Смотри на факты проще. Доверься жизни, она, старуха, вывезет.

— У меня такое ощущение, — высказалась Стелла, — что все это понарошку. Какой-то фарс и розыгрыш.

— Старуха! — подхватил Хасан обрадованно. — Ты потрясающе усекала. Вся наша жизнь розыгрыш. Неостроумный розыгрыш. Но в то же время будто и намек — неизвестно, на что. Представьте, моего отца арестовали в тридцать шестом, за пять месяцев до моего рождения. А ведь могли взять и раньше! Почему не взяли раньше? Я думал об этом, старики... Много думал. Мы в этом мире безбилетники... Безбилетники и пророки! — И он засмеялся, обрадованный своим прозрением. — Так что, старик, не сокрушайся...

— Я не буду,— пообещал Олег.

Георгий захлопнул пустой сейф и вернул ключ Кате.

— Ну теперь уже, я думаю, мы можем идти,— сказал Арик.

Все потянулись к двери. Феденька вышел последним. По дороге он все же захватил со стола две банки и пихнул их в широкие накладные карманы своего пальто. Как только он шагнул за порог, свет в помещении погас.

— Рассуждая логически,— говорил Георгий, преодолевая одну за другой бесконечные ступени,— это не может быть случайностью. Допускаю, что по забывчивости не заперли одну дверь. Но все? Нет, тут явно имеет место нечто иное.

— Не мучайся, старик, оставь, какая разница...

— Предположим, что это сделал кто-то, имевший ключ,— продолжал Георгий упрямо.— Что кто-то открыл это все и не закрыл... Но почему? Потому что спешил... А отчего спешил? Оттого, я полагаю, что унес нечто важное и опасался, как бы его не задержали.

— А за жопу возьмут нас,— подытожил его выкладки Арик.

— Возможно, старик. Но меня тревожит не это...

— А меня — это.

— Понимаешь, весь вопрос в том, сколько людей посвящены в тайну. Сам хозяин, естественно, не имеет возможности регулярно сюда наведываться — как-никак дела государственные... Но кто-то ведь ответствен за содержание и охрану...

— Брось, старик, не мандражируй,— посоветовал Женья,— береги энергию.

— И без того курить хочется,— прибавил кто-то.

Наконец они выползли наверх. Шел дождь, небо было низким, елки стояли серые и облезлые.

— Мы заблудились,— сказала Инна.— Мы вышли не туда. Это какое-то другое место.

— Туда, старуха, туда! — поежился Арик.— Не разводи мистику, вон наши машины.

— А вы знаете, что я вам скажу? — промолвил Олег печально.— Я забыл там куртку.

— Ты уверен? — усомнился Женья.— Может, ты оставил ее в машине?

— Нет, я взял ее с собой.

— Разумеется, — сказала Инна. — Чтобы потом забыть.

— Чтобы забыть... — Он вздохнул виновато и скорбно. — Я сейчас вернусь. — И как-то особенно плавно, буд-то в замедленной съемке, спрыгнул обратно в погреб.

— Он это делает нарочно, — пояснила Инна. — Ему нравится, чтобы все ждали.

— Смерть как хочется курить, — сообщил Георгий. — Хоть бы бычок какой...

Арик зашагал к машине, все остальные, слегка поколебавшись, двинулись следом. Арик сел и захлопнул дверцу. Федя тоже сел, но прежде вытащил из карманов консервные банки. Поискал, куда бы их пристроить — так, чтобы не катались на ходу, и утвердил между сидений. Дождик барабанил по крышам машин. Олег не появлялся.

— Ну что он там, уснул, что ли?! — сказал Арик. — Знаете что, я поехал!

Он стал разворачиваться и тут же забуксовал в песке.

— Веток подложить надо, — высказался Федя.

Принялись ломать колючие еловые лапы. Стелла посидела немного, глядя на эти труды, потом вылезла и направилась к убежищу.

— Пойду выясню, в чем там дело, — бросила она по дороге.

— Олег? — позвала Стелла, очутившись в погребе и отворив первую дверь.

Никто не откликнулся. Она стала спускаться. Лампочки почему-то горели теперь не все, а через одну. Перед второй дверью она помедлила. Жутковато было в этом пустом подземелье.

— Олег! — повторила она погромче.

Ответа не было. Она глубоко вдохнула и, придерживаясь за влажную стену, пошла дальше. На третьем или четвертом повороте она наткнулась на Олега. Он сидел на ступеньке, ссутулившись и обхватив голову руками.

— Олег? — сказала Стелла, присаживаясь рядом. — Тебе нехорошо?

— Нет, ничего, — ответил он не сразу.

— Пойдем?..

— Да, конечно, — сказал он. — Посидим минутку, ладно?

Прошло минут пять, прежде чем он заговорил снова.

— Не знаю, как я вернусь. Не могу я вернуться. Как я вернусь? Девочка ждет, а я целый месяц обманываю ее... Каждый раз обещаю, и каждый раз обманываю...

— Ты хочешь остаться здесь? — спросила Стелла, перемещаясь ступенькой ниже.

— Остаться? — переспросил он в раздумье. — Да, может быть... — Он попытался улыбнуться. — Не знаю, что со мной... Почему все так скверно? Как подумаешь — так лучше бы...

— Вовсе не мыть посуду, — подсказала Стелла.

— Лучше бы меня убило на фронте, — досказал он свое. — Я ведь четыре года был на фронте. Четыре года... Почему меня не убило? Вполне могло бы убить...

— Ты хочешь, чтобы я осталась с тобой? — спросила Стелла, касаясь рукой его колена.

Он не двинулся.

— Нет, я не о том... Не надо... Иди. Иди, я сейчас подымусь. Скажи им, что я сейчас подымусь... Только возьми куртку...

— Ты уверен, что не хочешь, чтобы я осталась? — спросила Стелла.

Ответа не было. Она встала и, обойдя его, двинулась наверх.

— Он сейчас придет, — промолвила она, выбравшись наружу.

Арик по-прежнему воевал с автомобилем, Георгий и Феденька дули на исколотые словыми иглами ладони, Хасан глядел куда-то поверх сосновых вершин.

— А что он там делает? — спросил Женья.

— Тебе интересно? — сказала Стелла, усаживаясь в машину. — Спустишься и посмотри.

Некоторое время все молчали.

— Вы что, господа, полагаете, что наняли извозчика? — проговорил Арик в раздражении. — Толкайте, по крайней мере! — Он снова — в который раз — уселся за руль и тут же снова увяз.

— погоди, не заводи! — прокричал Феденька. — Чем больше заводишь, тем глубже садишься.

— Надо доску какую-нибудь найти, — проговорил Георгий.

— Так иди и найди доску! — буркнул Арик.

— Старик, ты на меня не ори, — сказал Георгий. — Если ты будешь орать, я уйду пешком. Да. И поймаю такси. А ты останешься тут со своей таратайкой.

— Извини, — вздохнул Арик.

Хасан сделал какой-то неопределенно-многообещающий жест и двинулся по просеке в сторону шоссе.

— Ребята, ну я не знаю...— сказал Женя. Надо идти вытаскивать его... Сколько можно?..

— И так каждый раз!— сказала Инна.— Каждый раз он напивается и разыгрывает один и тот же спектакль. Но мне все это надоело!

Георгий направился к погребу. Женя пошел следом.

— Погодите, старики, я с вами!— вызвался зачем-то Федя.

— Олег!— прокричал Георгий.

«...лег-лег-лег!..»— зашлепало эхо под сводами лестниц.

— Старик! Ты ведешь себя некрасиво, все ждут!

«Дут-дут-дут...»— сказала эхо.

Они постояли и стали спускаться дальше.

— Ребята, я иду,— произнес Олег неожиданно близко.— Только возьму куртку и иду. Пять минут.

— Так иди,— сказал Георгий. Хочешь, чтобы мы все схватили насморк и воспаление легких?

— Курить, старик, до смерти хочется,— прибавил Женя жалобно.

— Я иду,— повторил Олег глухо. Идите, я иду.

Георгий пожал плечами и уселся на ступеньку. Женя постоял и тоже сел. Феденька, спустившись на полповорота ниже, принялся отбивать чечетку—очевидно, от холода.

— Он не придет, сказал вдруг Георгий, подымаясь.— Надо идти и вытаскивать его.

Все трое зашагали вниз. Сквозь эхо их шагов откуда-то из глубины донесся глухой тягучий всплеск. Будто где-то далеко-далеко шлепнулось в колодезь ведро.

Дверь убежища была открыта, но Олега там не было, только куртка висела на спинке стула. Георгий осмотрел спаленку, распахнул двери всех шкафов, глянул под диваны, обследовал уборную и наконец остановился в тревожном недоумении. Женя попытался приоткрыть диваны, но они не имели ящиков для белья и не были приспособлены для сна в них усталых сочинителей. Федя пропустил рюмочку и стыдливо пробормотал:

— Чудненько...

— Олег, где ты? — крикнул Георгий. — Не валяй дурака, старик, выходи! Терем-терем-теремок, кто в тереме живет? — прибавил он игриво. Но Олег не поддался и на эту приманку.

— Да что он, сквозь землю провалился? Ребята, может, тут есть еще какой-нибудь выход?

— Он там, — проговорил Женя, указывая на лестницу, ведущую вниз. — Просто он хочет, чтобы мы уехали без него.

— Чепуху говоришь... — пробурчал Георгий, но тем не менее стал спускаться.

Феденька поплелся следом. Остановившись у края колодца, они глянули внутрь. Поверхность воды была спокойной и темной.

— Олег! — позвал Георгий. — Ну, кончай, старик! Устали все, ей-Богу...

— Старик, мы уходим, — прокричал Женя, — окончательно и бесповоротно! Последний шанс.

Ответа не было. Они постояли и медленно двинулись вверх. Снова заглянули в убежище и даже постучали по внутренним стенам шкафов, но никаких пустот не обнаружили.

— Нет, но все же я не понимаю — куда же он мог деться? — пробормотал Георгий. — Мы же все время были здесь...

— Ушел в Кремль, — хмыкнул Женя, радуясь своей находке. — По прямому проводу.

— По вертушке, — уточнил Женя.

— Ну что же... В таком случае предлагаю признать свое поражение и удалиться, — сказал Георгий.

— Старик, не забудь куртку! — прокричал Женя на прощанье.

— Его там нет, — отчитался Георгий перед ожидавшими, выбравшись на поверхность. — То есть сначала он был и даже разговаривал с нами, но потом куда-то исчез. Старуха, спустилась бы ты сама, — посоветовал он Инне.

— Я так и знала — он там напивается! Он напивается, он хочет... — Голос у нее внезапно сорвался и сделался тоненьким и пронзительным. Она тяжело всхлипнула, но тут же прикусила губу и замолчала. — Он хочет, — продолжала она через минуту своим обычным тоном, — чтобы все за ним бегали. Чтобы ходили к нему на поклон,

как к Ивану Грозному. Но мне это надоело. Я возвращаюсь к Казанскому.

— Для начала желательно было бы вернуться в город, — заметил Георгий.

Подождали еще немного.

Арик подсунул под колеса еще несколько веток. Женя взялся вроде бы помогать, но вскоре махнул рукой и оставил несчастные елки в покое.

— Я все-таки не понимаю, — сказал он. — Такие талантливые люди... И такие умные... Неужели нельзя как-то упростить свои отношения? Или, во всяком случае, не делать их предметом всеобщего участия? Я не знаю, старик, но мне всегда казалось, что личная жизнь это не то же самое, что поэма, которую печатают в журнале... Если все напоказ, то это, по-моему, уже не любовь. Должны же быть какие-то пределы. Какой-то внутренний цензор. Я против коллективного переживания. Коллективное переживание — это почти так же гнусно, как свальный грех. Меня недавно одна дамочка затащила на день рождения. День рождения лучшей подруги! Я как дурак цветы купил. Приходим. Компания человек десять. В комнате грязь, видно, что много пьют и не убирают. А главное, одна бабенка там, которую я знаю. Муж у нее международный обозреватель, надо заметить, красавец мужик и одет всегда прекрасно. А тут, понимаешь, на этом дне рождения, один, сослуживец мой бывший, я думаю, ты его знаешь, — во-первых, дурак, а во-вторых, мерзкий тип, лысый и брюхатый. Бабенки вышли на кухню какую-то там закуску готовить, колбаску резать, я тоже что-то такое, не помню, водку, что ли, открывал, через пять минут захожу в комнату, представляешь? — она, жена обозревателя, лежит на диване, а он, сослуживец этот, соратничек мой, стоит, штаны застегивает. Вот так вот — в пять минут. И лица у них такие, будто все так и надо, будто я тодько затем туда и пришел, чтобы на них полюбоваться. Что за пакость? Я не говорю про моральную сторону, но можно же все-таки как-то чище устроиться...

— Можно, только зачем? — отозвался Арик угрюмо. — Ты мне лучше скажи, что они там обо мне спрашивали.

— Кто? — не понял Женя.

— Те, что тебя вызывали.

— А, ты про это, старик... Ничего не спрашивали.



— Просто так положили перед тобой папку с моим делом и ни слова не сказали?

— Старик... — Женья развел руками. — Признаться, я и сам был удивлен...

— Он сбежал! — сказала Инна. — Пока мы здесь сидели, как идиоты, он сбежал и отправился в зоопарк. Он полагает, что посещение зоопарка может заменить ребенку отцовскую любовь!

— Ты преувеличиваешь, — сказал Георгий.

— Нет, я ничего не преувеличиваю! Вы не знаете того, что я знаю. Он никогда меня не любил. Он думал, что если ему нравится, как я читаю стихи, этого вполне достаточно для супружеской жизни.

— Ладно, господа, поехали, — сказал Арик в очередной раз, и как ни странно, машина вдруг действительно сдвинулась с места и довольно бодро заколыхалась по словым ветвям и сосновым корням. Феденька занял место водителя в машине Олега (не забыв перенести туда консервные банки). Катя последовала за ним и молча уселась сзади рядом с Георгием.

— Старик, ты полагаешь, он может вести машину? — произнес Женья с сомнением. — По-моему, он совершенно пьян.

— Он чем пьянее, тем лучше водит, — вступилась Стелла за Федю. — Мне с ним однажды довелось удирать от милиции — его пытались остановить за превышение скорости. Я думала, нам всем будет конец. Он пол-Москвы пролетел какими-то переулками и проходными дворами. Минут через двадцать гаишники отчаялись и отстали. А он на следующий день даже ничего не помнил.

— Я бы предпочел все-таки пропустить его вперед, — благоразумно заметил Арик, но еще раз съехать в песок не решился.

Обе машины поползли по просеке. Поле с озимыми на этот раз оказалось справа, но выглядело оно таким же серым и унылым, как и весь остальной пейзаж.

На повороте, в том месте, где просека упирается в шоссе, стоял Хасан и изучал нечто, написанное черной краской на свеженьком фанерном щите.

— Садись, старик, — позвал Арик.

Хасан слегка подвинулся к машинам, но продолжал глазеть на щит.

— Что ты там обнаружил? — поинтересовался Георгий.

«ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА. ВЪЕЗД КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩЕН», — гласила надпись.

— Ну, и чему ты удивляешься? — сказал Георгий. — Ты что, не знаешь, у нас все запретно, и все категорически. Пора бы привыкнуть.

Хасан указал на еле заметную приписку внизу. Чернильным карандашом, кривыми и не везде удавшимися буквами было выведено: «Собак нет. Не бей кота, нето мыши заедят».

— Неясно, — сказал Арик. — Так, чушь какая-то. Поехали.

— Наверно, ребенок написал, — предположил Женя.

— «Не бей кота» — я понимаю, — проговорил Хасан. — Но почему же нет собак? Ведь плохо, когда нет собак.

Так сказал аксакал: «Не живи в городах,  
где не слышно собачьего лая».

Пес, священный шакал, как ты славно скакал  
среди утренних скал изумрудно-карминного мая...

Ребята, я ведь чуть не забыл — у нас в горах сейчас тюльпаны цветут... И травы, о, травы!..

— Старик, тебя ученость замучила, — сказал Арик. — И плохая погода. Смотри, ты весь промок. Садись.

— Какая ученость, старик! — Хасан поморщился. — Мы все невежды и неучи... Голова трещит, это правда, — прибавил он. — А где Олежка?

— Он бросил меня, — объяснила Инна. — Бросил и сбегал в зоопарк.

— Что ты, старуха, как можно тебя бросить? Ты жрица, богиня... Тебя нельзя бросить. Просто старик устал и подвинулся в ЦДЛ... Да, я уверен. Занял для нас столик. Мы едем. Старик, мы едем! Закажем бифштексы, белого вина... Чудесно, старики, едем! — И он уселся наконец рядом с Ариком.

— Он не смел этого делать! — сказала Инна. — У меня даже ключей нету. И я не пойду в этот мерзкий пустой дом, где соседи денно и ночью строчат доносы и кляузы!

— Старуха, все устроится, — пообещал Георгий. — Увидишь, все устроится как нельзя лучше.

На шоссе ничего больше не жгли, и никакого дыма не было.

— Черт, как спать хочется, — зевнул Женья.

— Правда, — сказала Стелла и положила голову ему на плечо.

— Я теперь вспомнил, — встрепенулся вдруг Георгий, — ходили какие-то слухи... «Голоса» что-то такое вещали: не то атомный взрыв где-то был, не то утечка отравляющих газов... И если это верно, то, между прочим, многое объясняет...

— Был атомный взрыв, — подтвердил Феденька. — Но не здесь, старик, не здесь — под Свердловском. Войские части в основном пострадали.

— Ты уверен, что не здесь? Ну, что ж, тогда ладно...

— Все равно они сволочи, — сказала Инна. — Они страшные сволочи. И рано или поздно всех нас угробят. А Хасан их защищает. Но пусть он не надеется на барханы! Барханы его не спасут. И ничего от него не останется, кроме дрянных сценариев, которые все тут же забудут!

— Старуха, не злобствуй, — вздохнул Георгий и, вжавшись в сидение, задремал.

Феденька вдруг затормозил у обочины, вытащил из-под сидения консервные банки, аккуратно прицелился и зашвырнул их одну за другой в кювет. Никто ничего ему на это не сказал. Он постоял, потом уселся обратно в машину и, рванув с места, вскоре догнал Арика.

При въезде в город их остановила милиция.

— Откуда, товарищи? — спросил милиционер степенно, наклоняясь и изучая лица пассажиров.

— Артисты мы, товарищ милиционер! — откликнулся тотчас Хасан чрезвычайно весело и дружелюбно. — Выездная гастрольная бригада! С Истры едем. Концерт давали в клубе ремонтников. В честь Первого мая. Вот это певец Вартанов, баритон. А в той машине артистка Белосопранова. Наверно, слышали? Вера Белосопранова. И артист Зачалкин — куплеты и пародии. Вчера в Волоколамске два концерта дали, а сегодня в Истре.

Милиционер еще разок глянул на артистов и взмахнул рукой.

— Проезжайте!

— С праздником, товарищ милиционер! — поприветствовал его Феденька на всякий случай уже на ходу.

— Ты гений, старик! — сказал Женя. — Я думал, документы потребует.

— А, чепуха!.. — поморщился Хасан, небрежно и важно откидываясь на сидении.

— Высади меня у метро, — сказала Катя.

— Зачем? — спросил Федя.

— Как зачем? Домой поеду.

— Поедешь ко мне, — сказал Федя.

Катя ничего не ответила.

— Что? — спросил он через минуту.

— Что — что? Ничего, я молчу. Насовсем или на время? — прибавила она, по-прежнему глядя в окошко.

— Насовсем.

— Хорошо. Тогда останови у автомата.

— Зачем?

— Позвоню Константину, чтобы не волновался.

Феденька затормозил так резко, что всех бросило вперед, Инна уперлась руками в панель, Георгий ухватился за спинку сидения.

— Ты все же потише, старик, — пробурчал он, не скрывая своего раздражения. — Я понимаю, любовная драма, но вы тут все-таки не одни.

— Здесь нет автомата, — заметила Катя.

— Мне плевать, — сказал Феденька. — Убирайся отсюда! Ступай к своему коллежскому регистратору. Проваливай, дрянь, пока я не вышвырнул тебя! — Он обернулся, видимо, собираясь подтвердить свои слова делом, и заглушил мотор. И от этого разозлился уже не на шутку. — Десять лет убил на эту гадину!

— Как угодно, — сказала Катя, покидая машину и хлопывая дверцу. — Счастливо оставаться.

Феденька уронил голову на руль и пребывал в этой позе до тех пор, пока Катя находилась в пределах видимости. Но она не смотрела на него.

Она направилась к метро и только тутхватиась, что у нее нет ни копейки денег. Постояв немного в раздумье, она подошла затем к контролерше и объяснила ей ситуацию. Та ничего не сказала, но позволила пройти на эскалатор.

Константин стоял посреди комнаты в пальто и в шляпе. В тот момент, когда Катя вошла, он разговаривал по телефону. Она уловила несколько фраз:

— Это несерьезно, старик... Нет, сейчас вовсе не подходящая конъюнктура. Нужно попытаться добраться до Бобровченко... Я полагаю, что да.

Положив трубку, он выглянул в прихожую, где Катя, опершись о стенку, снимала сапожки.

— Где ты была? — сказал он. — Ты посмотри, на кого ты похожа! Где ты была?

— Нигде, — ответила Катя.

— То есть как, нигде? Тебя Форминкин разыскивал, сказал, что ты срываешь ему заказ.

— Не ври, — буркнула Катя. — С какой стати он будет меня разыскивать? Сегодня суббота.

— Что значит, суббота? Сегодня, я извиняюсь, давно уже не суббота, а понедельник! Ты... Я не знаю... Ты потеряла последние представления о приличиях! Исчезаешь на трое суток, ни слова никому не сказав, никого ни о чем не предупредив. Посмотри на себя в зеркало — ты вся распухла, как старая жаба!..

Катя бросила сапожки в угол, повесила жакет и удалилась в комнату. Константин двинулся было за ней, но, вспомнив, что его ждут дела неотложные, остановился. Сейчас было не время для скандалов и выяснения семейных отношений. Но и уйти ему было нелегко. Он постоял минуту, как бы надеясь, что Катя еще выглянет и что-то скажет, но она, напротив, скрылась в спальне. Константин вздохнул, сунул руку в карман ее жакета и нащупал там ключ и какой-то коротенький мякотьный жгутик. Ключ был странный, с двумя бородками, будто от бабушкиного заветного сундучка, а жгутик оказался цветком, подснежником, увядшим и потускневшим. Константин помял его в пальцах и отбросил в угол, за сапожки. Ключ же он на всякий случай опустил в карман своего пиджака.

# ЗАВТРА



*Повесть*



## I

Всю ночь я сидела и писала рецензию. Давно уже следовало ее сдать, да как-то все не получалось. Ирина Константиновна, редактор того журнала, который собирался печатать отданное на мое попечение произведение, время от времени деликатно осведомлялась, «как там наши дела», так что в конце концов пришлось соврать, что рецензия готова и находится у машинистки. Машинистка — лицо вымышленное, я сама довольно бойко отстукиваю свои труды на моей драгоценной и любимой «оптиме». Сочинение рецензии откладывалось по многим причинам: то гость нагрязнул (какой-нибудь дальний иногородний родственник, которому, хочешь — не хочешь, приходится уделить время и внимание), то знаменитость какая-нибудь гастролирует, грех пропустить, то выставляются полуподвальные художники, как не поприсутствовать при таком деле, то происходит закрытый просмотр, на который удастся проникнуть по великому знакомству, то надо срочно посетить спектакль, который вот-вот снимут, то праздники случаются, то чей-то день рождения (за городом, на чьей-то даче), то грипп с температурой под сорок или еще какая-нибудь холера, а чаще всего просто нет сил и настроения садиться за машинку. Соседка забегает на минуточку — знаете московскую минуточку до полуночи? Но наконец — наконец наступает та последняя ночь, когда отступить дальше некуда. Ирина Константиновна звонила вечером очень сердитая — *если мы не сумеем протолкнуть эту вещь до возвращения главного...* Нет, я, разумеется, не помышляю оказаться виновной в гражданской гибели злободневной и талантливой повести. В особенности учитывая то обстоятельство, что автор сам ходатайствовал перед Ириной Константиновной — дескать, желательно было бы отдать его



вещь на рецензию именно мне, поскольку я наверняка напишу так, как надо.

Повесть, предложенная нашему вниманию, принадлежит к жанру деревенской прозы (правильнее, наверно, было бы назвать его колхозной прозой, но в общем, не существенно). Жанр проблемный и проблематичный, поскольку наше сельское хозяйство, как говорит одна моя подруга, не очень прекрасное. В последнее время дозволено понемногу высказываться на этот счет, но, возможно, опасения Ирины Константиновны не лишены оснований: она утверждает, что главный (в данный момент пребывающий в Бразилии) вещь зарежет. Она заручилась поддержкой большинства членов редакционной коллегии, но ей необходимы убедительные рецензии.

Что касается меня, то я уже несколько лет сотрудничаю в этом журнале. Однажды мне повезло опубликовать на его страницах переводик одного рассказа — в подборке произведений современных итальянских писателей (прогрессивных, разумеется), а вслед за этим мне стали заказывать разные аннотации и закрытые рецензии. Не зря, не зря все-таки я догадалась изучать не популярный в наше время английский, а почти никому не известный божественный итальянский. Знание столь редкого иностранного языка, что ни говорите, дает мне определенные преимущества перед иными скромными тружениками литературной нивы. Аннотации — работа не пыльная, а двадцать-тридцать рубликов в месяц набегает. Иногда меня даже печатают (в разделе коротких рецензий). Но данная повесть — случай особый, поскольку автор не какой-нибудь итальянец, а мой сосед и приятель. Когда-то мы с ним даже учились в одной школе, правда, он был на четыре класса старше, зато его нынешняя жена — симпатичный такой цыпленочек в мини-мини-юбочке с огромным начесом над слабенькой шейкой — на пять лет меня моложе.

Беда заключается в том, что душа у меня не лежит к его повести. Почему? Ей-Богу, не знаю. Можно подумать, что в наших журналах печатаются одни сплошные шедевры. Повесть как повесть, ничуть не хуже всех прочих, может, даже и лучше. Традиционный положительный секретарь парторганизации заменен в ней как раз наоборот отрицательным, и автор не скрывает, что рядовому колхознику бороться с ним нелегко. Есть много

сцен волнующих и по-человечески трогательных. Лет двадцать или пятнадцать назад можно было бы даже назвать их жизненно верными, поскольку тогда еще действительно существовали и колхозники, и деревни. В те времена, однако, было как-то не принято обсуждать плачевные обстоятельства советского бытия, тогда, как известно, у нас не было никаких недостатков, одни сплошные достижения. В пятьдесят первом году я жила (отдыхала) летом в пионерском лагере в селе Алешино. Кто-то из девочек сказал, что в сельсовете есть телефон и можно позвонить домой. Мы отправились в контору и увидели там стенгазету, которую в ожидании «связи с Москвой» принялись читать. В одной из заметок было сказано так: «Наши колхозники опять не выходят на поля. Наверно, они забыли, что в минувшую зиму двое у нас померли от голода, а остальные все пухли и не чаяли дожидаться весны». Нас, двенадцатилетних детей, поразила глупость и лень алешинских колхозников. Мы знали, что наша родная страна расцветает с каждым днем и уровень благосостояния советского народа подымается с каждым годом. Что же за дураки эти колхозники — предпочитают подыхать с голоду, лишь бы не работать. Конечно, таким бездельникам не поможет даже мудрое руководство партии и правительства. Кстати, в лесах, окружавших село Алешино, была пропасть земляники — невероятно крупной и сладкой. Мы собирали ее прямо в рот, а деревенские — в корзины, бидоны и всякие банки. «Вам это баловство, — сказала какая-то бабка, с которой мы сошлись на одной поляне, — а я на ягоде *семью* спасла». Из-за странного ударения, я думаю, мне и запомнилось ее высказывание. С тех пор прошло немало лет, и жизнь потихоньку-полегоньку решила разные сложные проблемы. В том числе и проблему трудодней и поставок государству. Деревни, мужественно и трогательно описанной моим соседом, сегодня попросту не существует в природе. Нету этих крестьянских девушек, по каким-то сложно закрученным причинам выходящих замуж за нелюбимых парней. Нет никаких парней, парни после армии домой не возвращаются, пристраиваются где-нибудь на стройке или в органах милиции, да и девушки тоже бегут куда глаза глядят — на завод, на фабрику, нянечкой в больницу, землекопом на железную дорогу, подсобным рабочим на шахту, лишь бы только не застрять в родной деревне, где половина изб стоит заколоченная, а в другой половине живут немощ-

ные и потихоньку вымирающие старухи. Два года назад я случайно оказалась в одной такой деревне к северу от Москвы, и местная долгожительница расхвасталась передо мной: «Как мы голодовали, этого вам, городским, не снилось». Неунывающие Петровны и Поликарповны. Все на своем веку перевидали, всех проводили, всех схоронили, но не жалуются, переволакиваются с зимы на лето и с лета на зиму, пасут свою единственную козу и выращивают огурчики в приусадебном огороде. Трудодней с них особенно уже и не требуют. Изредка летом или по праздникам — их навещают городские дочери, как правило, старые девушки, в возрасте сорока лет выходящие на пенсию по инвалидности. Девушек косит туберкулез. Несытое детство, фабричные будни, водка, аборт. Но такие картины, конечно, не для журнальных публикаций. И не только из-за цензуры. Насколько я успела заметить, наши прогрессивно мыслящие редакторы, вроде милейшей Ирины Константиновны, тоже не любят произведений слишком унылого и беспросветного содержания. Они жаждут выявлять недостатки и бороться с ними, но недостатки должны быть отдельными, а критика разумной и конструктивной. Согласно этой позиции русская деревня не умерла, ей лишь неможется. Писать надо исходя из данной установки. И с оглядкой на вчерашний номер «Правды». Теперь даже в «Правде» уже не утверждают, что все у нас хорошо и прекрасно, но увлекаться зарисовкой теневых сторон жизни все же не рекомендуется. Умный писатель умеет кое на что намекнуть — так, чтобы читатель сам кое о чем догадался. На то ему, писателю, и дан талант. По-настоящему удачливых писателей не так уж много, хотя рвущихся в литературный цех — пруд пруди. Нужно отдать должное моему соседу: умеет, стервец, создавать колоритные характеры, подмечать народную мудрость, наделять чертами живых людей своих мифических тружеников села, симпатичных поселян, болеющих за общенародные интересы, мечтающих поднять урожайность кукурузы и надоеи молока и борющихся с некоторыми несознательными руководителями. Можно ли порицать человека за то, что он пишет злободневные повести? И что ему, в сущности, прикажете делать? Не дал Бог способностей в области физики, значит, нужно подаваться в лирики. Поскольку существуют журналы, кто-то должен в них печататься. Пусть уж лучше печатается мой сосед, чем какой-нибудь болван и ретроград. Чем я, в сущности, недовольна?

Нашел человек свою жилу и в меру сил ее разрабатывает, а я в меру своих — более скромных сил — должна ему помочь и в сжатые сроки состряпать удобоваримую рецензию.

«С чувством высокой гражданской ответственности подходит автор к вопросу... Просто и ненавязчиво вводит нас автор в мир своих героев, простых колхозных трудеников... Не трудеников, а тружеников... Талантливо и по-человечески трогательно рассказывает автор...» Тень-тень, потетень, через улицу плетень, сели звери на плетень, записали трудовень... Ладно, как-нибудь справлюсь. «Неспешно и неторопливо развивается сюжет рассказа... Автору удалось проникнуть в мир заповедных, потаенных и чистых чувств, чужающихся посторонних взглядов...» Нет, это, пожалуй, лишнее. Вычеркнем. «Утром, еще до солнца, по холодку...» Ничего, в конце концов, рецензии писать — не картошку копать. Нужна, разумеется, некая прохиндейская ловкость — чтобы и автору потрафить, и редактору угодить, и худколлегию ублажить, и начальство обойти эдак аккуратненько, и себя не поставить в слишком неловкое положение. Но, скорее всего, никто мой опус, кроме Ирины Константиновны, читать не станет. Приложат мою рецензию вместе с другими к делу для вящей убедительности и сохранят на тот случай, если когда-нибудь, Боже упаси, встанет вопрос: как это случилось, что такая идеологически невыдержанная вещь попала на страницы журнала? Но ничего такого не стрясется. Просто необходимая подстраховка. Надо надеяться, все обойдется как нельзя лучше, ко всеобщему удовольствию и процветанию.

## II

На рассвете рецензия была готова. Я даже успела часа полтора поспать. Напившись кофе — растворимого, добытого мне знакомым скрипачом Леней через дядю, торгового работника, — я отправилась на службу. Тут происходило производственное совещание. Ольге Федоровне, заведующей нашим отделом, неожиданно пришла в голову мысль разделить уже подготовленную к печати книгу на четыре отдельные брошюры и в каждую добавить по пол-листа текста. Оставалось неясным, откуда

возьмутся эти несуществующие два листа — книжицу и так слепили из ничего. Артем, художник, устроил истерику и кричал, что у него готов макет, оригиналы, оттиски, и он ничего переделывать не собирается, потому что тут у всех семь пятниц на неделе, а он тоже не двухильный. Зато Наталья Степановна, светлая блондиночка, офицерская жена, недавно поступившая к нам младшим редактором, поддержала предложение начальницы.

— Так лучше, — сказала она. — Как это, товарищи, мы раньше не подумали? Брошюры больше подходят к профилю нашего издательства. И типографии легче.

Я почувствовала, что голова у меня холодеет и в левом виске зарождается привычная тяжесть — в прежние времена это называлось мигренью, а теперь именуется просто головной болью. Извинившись, я потихонечку поднялась и выбралась в коридор. Тут меня мгновенно перехватил Слава Аникин из спортивной редакции.

— Слышала анекдот? Ослу поручили проверить моральный облик зверей. Заглядывает к медведю в берлогу, а там лисица развалилась на диванчике. «Ты что тут, такая-сякая, делаешь?» — «А мы, — говорит, — с Михайло Ивановичем к политзанятиям готовимся». Идет дальше, заглядывает к белке в дупло. Там здоровенный котик сидит, облизывается. «Ты что тут делаешь?» — «Мы с Белочкой к политзанятиям готовимся». Заглядывает к кунице в нору, а там бобр расположился. «Вы что тут делаете?» — «Мы с кумой к политзанятиям готовимся». Под конец к волку в логово завернул, а волк, мерзавец, оторвался от коллектива и дрыхнет себе в полном одиночестве. Осел составил отчет: моральный уровень в лесу на высоте, но волк не тянет в смысле политической сознательности.

Очевидно, боль в виске помешала мне оценить Слава анекдот по достоинству. Он несколько не обиделся и с ходу изловил следующего слушателя. Меня же поймала Татьяна Викторовна, стройная черноволосая женщина, не так давно прожившая с мужем-офицером три года в Венгрии и потому одетая гораздо лучше нас всех. Благодаря самоотверженной борьбе супруга с контрреволюцией Татьяна Викторовна имеет теперь собственную двухкомнатную кооперативную квартиру, правда, у черта на рогах, самая последняя остановка на двести сорок седьмом автобусе. Возвращаясь оттуда с новоселья, я очо-ченела, как забытая в поле капуста.

— Нет, вы слышали, что она говорит? — Можно было догадаться, что Татьяна Викторовна имеет в виду Ольгу Федоровну. — Не знаю, как вы, а я лично в таких условиях работать не в состоянии.

Я слегка усмехнулась: работать она не в состоянии ни в каких условиях — впрочем, как и все остальные члены нашего слаженного коллектива. Если издательство все же выпускает какую-то продукцию, то исключительно благодаря усилиям внештатных сотрудников.

— Хочешь, продам анекдот? — спросил меня уже не Слава, а Сережа Долгополов из театральной редакции.

Анекдот оказался тот же самый — про осла. Я вернулась в комнату, где продолжалось заседание. Наталья Степановна все еще защищала идею четырех брошюр. Ольга Федоровна слушала ее, подавшись вперед и удовлетворенно кивая.

— Главное, типографии будет легче! — настаивала Наталья Степановна.

— Типографии, может, и легче, зато нам труднее! — не сдавался Артем.

Оба кричали, отчасти из-за раздражения, отчасти памяти о глухоте Ольги Федоровны.

— Слышали анекдот? — донеслось из-за двери.

Голова у меня болела все сильнее, я сжала виски ладонями и постаралась подумать о чем-нибудь постороннем.

В конце концов страсти улеглись, книгу решили оставить, как была, поскольку это соответствовало тематическому плану, и совещание на этом закончилось. У всех сотрудников моментально нашлись неотложные дела, требующие более-менее длительной отлучки. Я замешкалась и в результате оказалась тем козлом неотпущения, который вынужден сторожить редакцию на случай непредвиденного появления старшего начальства или какого-нибудь важного посетителя. Никаких посетителей, на мое счастье, не было, только в конце дня заглянул Аркадий Евсеевич, худой длинный дядя с пышными усами, переводчик с арабского и обратно. Почему-то именно нашему издательству поручили выпустить красочную брошюру на арабском языке — спецзаказ Министерства внешней торговли. Аркадий Евсеевич тоже рассказал анекдот, но более смешной, чем у Славы — про француза, русского, поляка и еврея. После того как он

удался, я решила, что пора и мне сматываться. Тем более что предстояло еще завезти рецензию Ирине Константиновне.

### III

Трамвай еле полз и мерзко скрипел колесами. Мне казалось, что сегодня он дольше обычного задерживается на каждой остановке. В вагоне было душно, то и дело кто-нибудь толкал меня то в бок, то в спину зимними ватными локтями, какой-то выпивший гражданин исполнял на заднем сидении «Волгу-Волгу, мать родную», а женщина средних лет выразительно требовала, чтобы ей прекратили сучить авоськой по ногам. Я чувствовала, что моя бедная голова вот-вот лопнет от боли, как опущенное в кипящую воду яйцо. В какой-то момент слабенькие электрические лампочки под потолком почернели у меня в глазах. Я уже начала опасаться, что Ирина Константиновна так и не дожидется своей рецензии. Но в конце концов трамвай достиг нужной остановки, и я спрыгнула в сырой и мутный ноябрьский вечер. Фонари, освещавшие лишь одну сторону улицы, расплывались гигантскими тяжелыми овалами. Цепкий осенний холод сразу же вполз под пальто и свинцовыми вилами залег в носу. Какие-то подозрительные силуэты вырастали перед подъездами, мимо которых приходилось идти, но, благополучно миновав все опасности, я наконец взобралась на пятый этаж новенького блочного дома. Однокомнатная малогабаритная квартира Ирины Константиновны удивительно напомнила мою собственную, мне даже показалось странным, что до нее пришлось так долго добираться.

Хозяйка угостила меня чаем, а сама сразу же взялась за долгожданную рецензию. Не расставаясь с сигаретой, она одолевала страницу за страницей, а я наблюдала за ней, пытаясь угадать, какое впечатление производит на нее мой труд.

— Хорошо, — сказала она наконец, откладывая в сторону беленькие, еще упругие от новизны листочки. — Очень хорошо. Знаете, Леночка, если нам удастся опубликовать эту вещь, это будет великое дело. Если эта повесть увидит свет, я буду считать, что не зря коптила небо, честное слово.

Ого! — подумала я. — Какой пафос. Ну да, смерть как хочется вставить свечу главному. Чтобы все видели, какой он старый боров, тупица и душитель свежих талантов, в то время как она человек смелый и мыслящий. Бедную Ирину Константиновну отродясь ни в какие бразилии не посылали и не пошлют, не тот ранг, но зато она будет причастна славе молодого дарования. И прослывет в литературных кругах редактором тонким и доброжелательным. Дружеские отношения с авторами — тоже не пустяк.

Но, подумав так, вслух я произнесла нечто иное.

— Хорошая повесть, — сказала я.

Как бы там ни было, но рецензия ей понравилась, и это одно уже делало нас друзьями и сообщниками.

— Да, — продолжала Ирина Константиновна, — у нас давно ничего подобного не появлялось.

Я полностью с ней согласилась и даже перечислила некоторые несомненные достоинства произведения.

— Знаете, что мне особенно понравилось? — сказала я. — Это место с коровой...

Она приподняла брови.

— Какой коровой?

— Ну, помните этот эпизод — как Василий зарубил свою корову и закопал на дороге — лишь бы не сдавать государству. Потом еще там провалился агроном.

На лице Ирины Константиновны отразилось легкое беспокойство.

— Леночка, вы что-то путаете...

— Ну как же — помните, они со Степаном ночью возвращаются из области на газике, председатель выслал им навстречу трактор, но по дороге трос оборвался, тракторист, ничего не заметив, уехал, и они сидят там в колдобине и слушают соловьиное пение. В разговоре выясняется, что это то самое место, где семь лет назад Василий закопал корову. Помните, там еще есть намек на его долгое отсутствие?

Видимо, от крепкого чая голова у меня вдруг отошла, и мне сделалось удивительно приятно сидеть в тепле на мягком диване и вести дружескую беседу.

— Бог с вами, Леночка, — сказала Ирина Константиновна. — Даже ничего похожего там нет.

— Не может быть! — удивилась я и принялась листать рукопись. — Хм, действительно, вы правы... Значит, он это выбросил. А жаль... В первом варианте это было.



— Правильно сделал, что выбросил,— вздохнула Ирина Константиновна с облегчением.— Не хватает нам только порубленных коров.

— Выразительная была сцена.

— Насколько я знаю Сашу, он принципиально избегает всех этих дешевых эффектов,— заметила Ирина Константиновна.— Бог с ними, с этими соловьями и колдобинами, они, может, и соблазнительны, но в сущности поверхностны. Нет, Саша молодец, он всегда и во всем знает меру.

— Да,— согласилась я,— говорят, что чувство меры самое ценное качество, каким может обладать художник.

— Есть такие авторы,— пожаловалась Ирина Константиновна,— которые цепляются за каждую свою фразу. Ему не важно, увидит его вещь свет или нет, для него главное, что он, понимаете ли, не поступился какой-то деталью, как правило, совершенно незначительной.

— Ну, это в общем-то можно понять,— вступилась я за чем-то за упрямых авторов,— писатель полагает, что открывает читателю нечто невероятно важное, иначе зачем и писать?

— Никто не говорит, что следует поступаться чем-то главным,— объявила хозяйка.— Я сама первая скажу, что нельзя отказываться от правды жизни, но в нашем положении, Леночка, нужно уметь маневрировать. Я всегда стараюсь свести ущерб до минимума, но я не хочу ставить под удар ни автора, ни журнал.

— Вы правы,— сказала я.— А может быть, литература вообще не должна заниматься всеми этими сверхактуальными и животрепещущими вопросами? Может, оставить их на откуп публицистике?

— Ну почему же не должна? Поднятие общественных и социальных проблем—одна из главных задач литературы. Возьмите того же Брехта.

— Я имею в виду нашу литературу...—Я слегка запнулась, поскольку в это мгновение мой оттаявший в тепле нос уловил запах тушеной капусты.

Вряд ли этот запах принадлежал кухне Ирины Константиновны, он, верно, вполз с лестницы. Сосиски с тушеной капустой были тем дежурным блюдом, которое я регулярно брала в ближайшей к нашему издательству столовке, но сегодня, отчасти из-за головной боли, отчасти из-за предзарплатного безденежья, я решила обойтись без обеда.

— Я думаю, литература может быть хороша и без политики,— досказала я свою мысль, пытаюсь как можно незаметнее проглотить набежавшую слюну.

— Ах, вы знаете, я не люблю теоретизировать,— сказала Ирина Константиновна.— Я делаю свое дело, и все. Когда мне попадаете стоящее произведение, я стараюсь— насколько это в моих силах— помочь ему увидеть свет. А читатель и критики потом пускай судят.— Она закинула ногу на ногу и взялась за новую сигарету. Образовавшаяся пауза была исполнена значения: да, она делает свое дело и при этом отдает себе отчет в том, насколько это дело значительно.— Как это все-таки верно сказано,— продолжала она несколько мягче,— увидеть свет. Все равно, что родиться на свет.— Она погладила рукопись свободной рукой и улыбнулась:— Я надеюсь, мы еще доживем до того дня, когда эта вещь выйдет отдельной книгой.

Запах капусты окончательно замучил меня. Чай был допит и разговор, как видно, исчерпан. Можно было отправляться домой.

В прихожей я задержалась немного, натягивая сапоги (они были сняты при входе, чтобы не наследить в комнате), и тут какой-то черт дернул меня за язык.

— Говорят, в Америке издали сборник Бродского,— сообщила я.

— Это их дело,— откликнулась Ирина Константиновна весьма сухо.

Мне даже послышалось некоторое раздражение в ее голосе. Можно было догадаться, что не я первая сообщаю ей эту новость. Я решила как-то загладить неловкость.

— Вообще это все странная история. Совершенно непонятно, зачем потребовалось его сослать. Уж кого-кого, а его антисоветчиком не назовешь.

— Почему антисоветчиком? Его сослали как тунеядца, а не как антисоветчика. Как вы легко бросаетесь словами!

— Да, но какой же он тунеядец? Он поэт.

— Это все из-за того, что он ленинградец,— объяснила Ирина Константиновна.— В Москве ничего такого не случилось бы.

— Ну, положим,— не удержалась я, чтобы не возразить,— Пастернака заставили отказаться от Нобелевской премии в Москве.

— Это совершенно иное дело! Иные времена и иные обстоятельства.

Я уже справилась с сапогами и даже продела одну руку в рукав пальто — отодвинувшись насколько возможно от стенки, чтобы не задеть висящее на уровне моего плеча зеркальце.

— И если уж быть откровенными,— продолжала Ирина Константиновна,— невозможно не признать, что не слишком чистоплотные люди постарались использовать имя Пастернака в своих интересах. Совершенно не посчитавшись при этом с самим поэтом.

— Все-таки тут наблюдается некоторая закономерность,— с каким-то глупым упрямством возразила я.— Знаете, мне иногда кажется, что вся наша литература — это какой-то усеченный конус. Сначала отсекают самых талантливых, а потом уже остальных поддерживают и опекают.

— Глупости! — оборвала она раздраженно.— Кого отсекают? Кого? Я не люблю этих разговоров. Если вы делаете такие заявления, называйте имена.

— В том-то и дело, что имена остаются неизвестными,— вздохнула я.— Вы правильно сказали про истинное рождение. Если его не случается, то произведения как бы и не существует. А вместе с ним и автора.

— Уверяю вас, Леночка, дорогая, вы ошибаетесь! — воскликнула она.— Все эти непризнанные таланты при ближайшем рассмотрении гроша ломаного не стоят. Напечатайте их, и никто не станет читать.

— Но как судить, не видевши?

— Вы, может быть, и не видели, а я — уж можете на меня в этом смысле положиться — всех этих гениев читалась вот так.— Она провела рукой у себе над головой.— Поверьте, если кто-то хоть чего-то стоит, то рано или поздно становится известен. Как тот же Бродский.

— Бродский большой талант,— сказала я,— пробил завесу умолчания, как сильный гриб пробивает асфальт. А грибок послабее не проредется и погибнет. Никто даже и знать не будет, что он стремился к свету.

— Насчет Бродского тоже можно поспорить,— возразила она.— Большого таланта я тут не вижу. Весь насквозь подражателен, ни одного по-настоящему оригинального стихотворения, все какое-то романтическое средневековье из бабушкиного сундука. Совсем не та величина, из-за которой стоит городить огород. Честно говоря, Леночка, я не верю, что он так уж вам нравится. Вы меня извините, но в данном случае вы повторяете чужие слова.

— Ладно, Бог с ним, с Бродским,— сказала я.— Любый хороший поэт в этом смысле счастливее прозаика— его читают наизусть. А прозаик, если его не печатают... Тут Ирина Константиновна не выдержала.

— Леночка, что это с вами? Я никогда не замечала в вас этой болезни— этого новомодного нигилизма. Получается, что все, что печатается, плохо, а хорошо только то, что не печатается.

— Нет, почему же... Плохо не то, что печатается, плохо, что печатают далеко не все и не всех.

— Всех печатать невозможно. Никогда и нигде не печатали всех.

— Допустим,— согласилась я, стараясь не позволить сбить себя с какой-то мелькнувшей в голове мысли.— Но ведь раньше как было? Напишет человек повесть и бежит к редактору. Редактор прочтет, прослезится и тут же опубликует. У нас любая, даже самая безобидная вещь рассматривается в редакциях годами. Согласитесь, при таком темпе изданий диалога между писателем и читателем не может быть. Получается какая-то форма общения с инопланетянами, разговор Земли с Альфой Лебеда. И настоящего переживания литературного процесса нету, а есть— в лучшем случае— знакомство с литературным наследием.

— Ну, знаете,— сказала Ирина Константиновна,— если вас послушать, так надо сложить лапки и умереть. Все плохо, все никуда не годится, все не так. А по-моему, ни одно журнальное выступление не проходит бесследно, что-то— пусть потихоньку,— но сдвигается, раскачивается. А это именно и важно.— Она разволновалась и стряхнула пепел прямо на чистенький блестящий паркет.— Это именно и ценно.

При слове «раскачивается» я вдруг ни с того ни с сего вспомнила рижское кладбище. Нас, группу отдыхающих, привели на кладбище с целью посещения могилы народного поэта Яна Райниса. День для экскурсии был выбран неудачно: в ворота кладбища влилась длинейшая, прямо-таки бесконечная похоронная процессия. Оказалось, что двумя днями раньше на реке Даугаве (по-русски Западной Двине) затонул пароход с двумястами школьниками. Затонул он, по рассказам очевидцев, прямо возле пристани, посреди города— одни школьники должны были сойти на берег, а другие наоборот поднимались на борт, все столпились и перемешались, пароход начал крениться; почувствовав это, дети кинулись на

другой борт, и тогда пароход стал крениться на другую сторону, и так продолжалось до тех пор, пока судно не затонуло вместе со всеми, кто на нем находился. Рассказывали, что многие родители стояли тут же на пристани, но ничего не могли поделать, поскольку высокая гранитная набережная не позволила вытащить из воды даже тех, кто еще держался на поверхности. Вся эта картина: каменный юноша Ян Райнис, вздымающий свое поджарое тело навстречу рассвету (так нам объяснила экскурсоводша), плывущие по воздуху гробы, черные фигуры родителей,— встала на какую-то секунду между мной и Ириной Константиновной, и тут я вдруг подумала, что наш диспут проходит не в самом подходящем месте — каждое слово наверняка слышно на лестнице, а в кооперативных домах соседи, как правило, одновременно являются и сослуживцами.

Я решила извиниться, но не придумала, как это сделать, и только пожаловалась, что у меня болит голова.

Ирина Константиновна не высказала большого сочувствия.

— К сожалению, ничем не могу помочь — не употребляю никаких лекарств, кроме ромашки.

Я пролепетала на прощанье, что она тот единственный человек, с которым можно обо всем поговорить откровенно и по душам, и наконец покинула ее квартиру.

На улице виски мне тотчас сдавило ледяными клещами, и прежде, чем я доплелась до трамвайной остановки, весь чай — единственное, чем за сегодняшний день пополнился мой желудок, если не считать утреннего кофе, — выплеснулся на тротуар. Я успела сделать шаг в сторону серого дощатого забора, загораживавшего какую-то стройку, и прижалась лбом к шершавой необструганной орясине. Выпавший сучок образовал аккуратную круглую дырочку, но я не стала заглядывать в нее, а потащила дальше. Ветер без труда победил мое тощее пальтишко, и меня затрясло в ознобе. Какой-то прохожий посмотрел на меня тревожно и неодобрительно, наверно, приняв за пьяную.

Дома я выпила стакан воды из-под крана, приняла таблетку пирамидона и как была, в платье и в чулках, повалилась на неубранную с утра постель. Трудно

сказать, что меня больше допекало — головная боль или досада на собственную необъяснимую глупость. Какого черта! Ведь никто за язык не тянул. Пустилась в дурацкие рассуждения и настроила против себя свою благодетельницу. Вот уж точно: если Бог хочет наказать человека, он прежде отнимет у него разум. Пять лет трудилась, как муравей, пока обосновалась в этом журнале, и в пять минут все испортила. И ради чего? Ради пустопорожней болтовни, от которой никому ни холодно ни жарко. Ох-ох... Таблетка уже начала действовать, но уснуть все равно не удавалось. Я продолжала вертеться и вздыхать. Наконец я кое-как убедила себя, что утро вечера мудреней, может, все еще не так страшно, обойдется как-нибудь, Ирина Константиновна в общем-то бабка не вредная и не злопамятная. Авось...

#### IV

Задремав, я увидела, что сижу в своем издательстве на очередном совещании. Ужасно хотелось спать. Вначале я попробовала закрыть глаза и прикорнуть сидя, но это оказалось слишком неудобным. Тогда я попыталась незаметно сползти на пол. Ольга Федоровна заметила мою проделку и разъяснила, что на работе спать не полагается. Я вернулась обратно на стул, но вскоре не выдержала и уронила голову на стол. Ольга Федоровна снова одернула меня — уже в некотором раздражении. Тогда я решила применить другую тактику: грохнуться на пол со всего размаху и не реагировать ни на какие замечания. Пускай делают, что хотят. Мало ли, может, человек потерял сознание. Как ни странно, на этот раз никто не обратил на меня внимания и не стал придирааться. Я лежала, свернувшись калачиком между ножек письменного стола, но уснуть все равно не могла. В одной стороне звонил телефон, в другой без конца хлопала дверь, в третьей рассказывали анекдот про осла. Противный грязный осел со свалявшейся шерстью и больными глазами стоял тут же, рядом с моим столом, и жевал брошюру на арабском языке. Артем кричал, что даже пожарная команда не заставит его переделывать макет, Наталья Степановна говорила, что в книге недостает портрета Ирины Константиновны, но можно поставить вместо нее Яна Райниса, и так будет даже лучше.

По линолеуму, покрывавшему пол, вдруг начала растекаться мерзкая липкая лужа. Я вскочила и принялась собирать ее тряпкой, но темная жижа все прибывала. Поверхность пола набухла и вспучилась.

Жуткая, смертельная усталость валила меня с ног, но я все-таки продолжала бороться со стихией. А все остальные сотрудники как ни в чем не бывало продолжали собачиться по поводу реорганизации брошюры.

И тут явственный телефонный звонок заставил меня очнуться.

Проснувшись, я уже не была уверена, что телефон действительно звонил, но все равно порадовалась избавлению от редакционно-производственного кошмара.

Свет фар пересек потолок и померк в углу за шкафом. Я повернулась на другой бок и снова уснула. Теперь я оказалась у себя в квартире на кухне. Я знала, что скоро должны явиться гости, и вместе с тем видела, что ничего не готово к их приему. Самое ужасное, что вокруг был жуткий беспорядок. Горы немытой посуды громоздились в раковине, на столе, на полке, со всех сторон свисали жирные грязные тряпки, и даже оконное стекло было заляпано какой-то гадостью. Я в спешке и отчаянье принялась наводить порядок, но сколько ни мыла и ни скребла, лучше не делалось, наоборот, грязь так и перла со всех сторон.

Какой-то стук — наверно, в квартире наверху что-то уронили на пол — разбудил меня. Я вздрогнула, открыла глаза, но тут же уснула опять.

На этот раз меня ожидал приятный сюрприз — неизвестно откуда у меня появилась масса прекрасной мебели: книжные шкафы с толстыми, благородными, скошенными по краям стеклами, изящное бюро розового дерева, пузатенький буфет, зеркальный гардероб и кожаный диван с высокой спинкой. Радуюсь своему неожиданному богатству, я подошла к одному из шкафов и провела пальцем по сияющей грани стекла. Шкафы были пусты — ни одной книжки на полках. Очевидно, мебель только что прибыла из магазина. Обернувшись, я увидела на столе длинный деревянный ящик. Ящик был такой же солидный и темный, как и шкафы, и в нем лежала кукла — громадная, в человеческий рост, в роскошном бальном платье и с настоящими волосами. Но что-то,

видно, испортилось в механизме, вделанном в ее хорошенькую головку, — один глаз был закрыт, густые блестящие ресницы упирались в фарфоровую щечку, а другой недвижно уставился в потолок. Я потянулась поправить веки, но тут красавица проворно вцепилась в меня окрашенными ноготками и остренькими белянькими зубками.

— Мама, она кусается! — завопила я и проснулась.

Когда я опять уснула, передо мной оказалась проселочная дорога, пыльная и пустынная. Ветер гнал по ней сухие листья и какой-то мелкий мусор. На мне было летнее платье с короткими рукавами, и я скоро замерзла. Впереди показалась железнодорожная насыпь. Я взобралась на нее и увидела заброшенную узкоколейку. Было ясно, что последний поезд здесь прошел очень давно: рельсы проржавели и во многих местах разошлись и провисли. Бурьян покрывал склоны насыпи. Шлагбаума не было, но несколько путников, двигавшихся мне навстречу, отчего-то никак не решались ступить на рельсы. Я тоже остановилась и принялась вглядываться в даль. Вокруг было тихо. Я постояла немного, недоумевая, чем объясняется всеобщее замешательство, — людей с той стороны становилось все больше, их вдруг оказалось так много, будто тут был не затерянный в степи перегон, а площадь трех вокзалов. Никто не спешил пересечь путь. Я снова поглядела вправо и влево, но не заметила ничего подозрительного. Не было никакой причины задерживаться. Я шагнула на шпалы и тотчас услышала грохот — прямо на меня несяся состав. Я метнулась назад, но уперлась спиной во что-то твердое.

Черное тело паровоза почти коснулось меня, когда я проснулась.

Одеяло сползло на пол, я дрожала от холода.

Выбравшись из постели, я подошла к балконной двери. Нужно как-то вытряхнуть из головы все кошмары. Двор внизу был пуст, ветер раскачивал голые тощие деревья и подымал снежную пыль с мерзлой земли.

Я снова забралась под одеяло, но странное дело — вместо потолка надо мной теперь располагалось темное небо с яркой полной луной. Вокруг луны сияли звездоч-



ки. Это означало, что два верхних этажа исчезли куда-то вместе с жильцами. Но даже если они действительно исчезли, полной луне тут все равно было не место: не далее как позавчера я собственными глазами видела новорожденный месяц и еще похлопала по кошельку — как учила мама, — чтобы водились деньги. «Игра света, — подумала я, — сейчас повернусь, и все исчезнет». Я повернулась на бок и с удивлением обнаружила, что лежу не у себя в постели на своей родной диван-кровати, а на шершавой каменной ступеньке в каком-то совершенно невероятном и непонятном месте.

## V

Приподнявшись на локте, я осмотрелась. Широкая лестница сбегала к серебристой бесконечной воде. За спиной у меня высилось одинокое серое здание. Я ждала минуту, другую — ничего не изменилось. Тогда я поднялась на ноги и направилась вниз, к воде. Сделав несколько шагов, я вдруг споткнулась обо что-то твердое, упала и проехала животом по каменным ребрам ступенек. После этого я не сразу отважилась снова встать и предварительно ощупала пространство вокруг себя руками. На ступенях ничего не было. Я посидела, потерла ушибленные места и наконец потихонечку спустилась к берегу. Мелкие волны ударили в теплый, облепленный ракушками бок последней ступеньки. Я сунула в воду ногу, потом другую, зашла поглубже и поплыла. Вода была чуть солоноватая — не совсем морская, но как будто и не речная.

Пока я плавала, небо начало бледнеть. Приближался рассвет, и следовало, очевидно, подготовиться к встрече с обитателями дома. Я ждала, что в окнах начнет зажигаться свет, но этого не произошло. Солнце выглянуло из-за горизонта и начало довольно бойко подниматься над водой. Чешуйки стекол, этаж за этажом — сверху вниз — вспыхивали розовым пламенем.

Я двинулась вдоль берега. Сколько я ни шла, дом оставался на прежнем расстоянии. Вскоре я наткнулась на вторую лестницу, точно такую же, как и первая. Между ними располагался свеженький зеленый газон — травка и синенькие, вернее, фиолетовые цветочки. Потом моему взгляду открылась небольшая роща. Я зашла в

тень одного из деревьев и присела на траву. Дом смущал меня, и я старалась не выпускать его из виду. Но никакого движения, даже самого незначительного, невозможно было уловить за закрытыми окнами. Роща между тем оживилась пением птиц. Птицы были яркие и крупные.

Час проходил за часом, солнце поднялось уже достаточно высоко, но из дома так никто и не выглянул. Я вдруг почувствовала, что здорово проголодалась. Плюнув на все свои страхи, я двинулась через газон к зданию. Нужно заметить, что это было довольно странное строение. Архитектор попытался соединить в нем все мыслимые и немыслимые стили и эпохи, нисколько не заботясь ни о симметрии, ни о пропорциях.

Массивная вращающаяся дверь впустила меня внутрь, в широкий холл. Поднявшись по лестнице, я очутилась в коридоре, по обе стороны которого тянулись двери. Нигде не было ни души. Я приблизилась к одной из дверей, и она предупредительно отъехала в сторону. За ней оказалась просторная и почти пустая комната, похожая на мастерскую маститого художника, все картины которого продаются раньше, чем он успевает их закончить. Широкое окно верхней своей частью захватывало и кусок потолка, и от этого возникало ощущение, что над головой у тебя крыша, а не бесчисленное множество других этажей. Низенький столик и два глубоких кресла располагались посреди комнаты. Как только я переступила порог, дверь бесшумно задвинулась у меня за спиной. Я снова шагнула к ней, и она так же бесшумно раскрылась. Я оставила ее в покое и подошла к столику. Множество блестящих разноцветных кнопок красовалось на его крышке. Я нажала верхнюю, и в ту же секунду возле стены возникли туалетный столик с трехстворчатым зеркалом и миленький пуфик, обитый китайским шелком. Я оглядела себя в зеркале со всех сторон, но не заметила в своей внешности никаких перемен.

Вернувшись к столику, я принялась выяснять, что могут предложить остальные кнопки. Комната постепенно наполнялась мебелью и всяким барахлом: появилась роскошная деревянная кровать под шелковым балдахином, письменный стол с двумя массивными тумбами, кресло с высокой спинкой и наконец широкий обеденный стол, весь бок которого оказался в свою очередь усеян кнопками с какими-то забавными значками. Разбираться в этих иероглифах мне было недосуг, я нажала

первую попавшуюся кнопку и получила ароматное дымящееся кушанье на нежной прозрачной фарфоровой тарелке. Неужто настоящий китайский фарфор? — подумала я, но тут же сообразила, что вряд ли тут уместно говорить о чем-то настоящем. Я попыталась добыть еще и вилку — или ложку на худой конец, — но ничего из этого не вышло, кнопки создавали лишь новые и новые блюда, причем на каком-то этапе часть тарелок попросту исчезла. Я решила не рисковать дальше и принялась есть руками. Насытившись, я снова стала нажимать кнопки, рассчитывая набрести на какое-нибудь питье, но и тут меня постигла неудача. Мои эксперименты закончились тем, что стол вместе со всеми яствами исчез, как не бывал. Зато я обнаружила в стене дверцу, за которой скрывалась ванная комната.

Напившись воды из-под крана, я отправилась обследовать здание. Коридорам и переходам не было конца, так же, как и дверям, которые все как одна вели в точно такие же комнаты, как первая. Мне даже пришла в голову нелепая мысль, что все двери ведут в одну и ту же комнату. Не было никакого смысла двигаться дальше. Я нажала кнопку, заведовавшую кроватью, разделась, повалилась на мягкое дивное ложе, блаженно вытянулась под легким пушистым одеялом и тихонечко засмеялась: кто-то там выслушивает сейчас Славины анекдоты и мудрые рассуждения Ольги Федоровны?

Пробудившись, я как-то не сразу сообразила, где нахожусь. Тоскливое ощущение какой-то неясной потери охватило меня, но оглядевшись, я увидела уже знакомую комнату, столик с кнопками, море за окном и успокоилась. Это разъяснится, — подумала я. — Это слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Я спрыгнула с кровати и подошла к окну. Солнце висело низко, над самой водой. Хм, — подумала я, — если солнце и встает над морем, и в него же опускается, то это, скорее всего, остров. Проверить это предположение я не успела, поскольку солнце зашло и наступил вечер. Я испугалась, что сейчас окажусь в темноте, но тут в комнате вспыхнул приятный и неизвестно откуда исходящий свет.

Подкрепившись разными деликатесами, я снова от нечего делать занялась кнопками. От каждой происходила какая-нибудь вещь, только черная гладкая кнопка не выдавала ничего. Либо она была испорчена, либо имела

какое-то особое назначение. Я подошла к письменному столу и выдвинула верхний ящик. В нем лежали фотографии. Я вытащила одну наугад — на ней был изображен симпатичный мужчина. Снимок в моих руках ожил: мужчина двинулся мне навстречу, радостно улыбаясь. От неожиданности я выронила карточку, и мужчина вернулся в исходное положение — будто его выключили. Я снова дотронулась до снимка, мужчина снова пошел мне навстречу, в точности воспроизведя все свои прежние движения, и через секунду замер. Сколько бы я ни подымала и ни опускала карточку, все повторялось сначала — мужчина делал несколько шагов, улыбался и приветливо махал рукой. Крохотный немой фильм. Все остальные карточки обладали тем же свойством. Насмотревшись на них вдоволь, я выдвинула следующий ящик. Тут лежали какие-то кубики и пластинки, напоминающие детали детского конструктора, но я так и не догадалась, чему они могут служить.

Спать мне уже не хотелось, но бродить в темноте по этому странному дому я тоже не решалась. В конце концов я снова залезла в постель. Как только я накрылась одеялом, свет ослабел и померк.

— Это пройдет,— произнесла я вслух.— Такого не бывает.

Потом я опять уснула и спала долго и сладко.

В платяном шкафу оказалась пропасть замечательных нарядов, и что самое удивительное, все они отлично на мне сидели, будто на меня и были сшиты. Я решила отложить их детальное рассмотрение на потом, а пока что, облачившись в какой-то народный костюм: вышитую блузку и сарафан с пестрыми лентами,— отправилась на прогулку. Но тут меня ожидал неприятный сюрприз: дверь никак не открывалась. Я подходила к ней и с одного боку и с другого, стучала, пыталась отодвинуть силой, пинала ее ногами, но она оставалась недвижимой. «Остерегайтесь бесплатных обедов»,— подумала я в тревоге. В какой-то момент мне даже померещилось, что кто-то стоит у меня за спиной, какая-то ухмыляющаяся рожа, но комната по-прежнему была пуста. Однако выйти я не могла.

Черт с ним,— решила я, возвращаясь к креслу,— обойдемся без прогулок. Пускай суетятся мои похитители, мне волноваться не о чем.

Посидев некоторое время и не дождавшись никаких объяснений, я снова обратилась к кнопкам, и тут мне в голову неожиданно пришла одна простая мысль. Я нажала черную кнопку и подошла к двери — дверь любезно разъехалась. Никакого коварного замысла не скрывалось за ее неподвижной поверхностью, просто черная кнопка была замком. Итак, никто не собирался ограничивать моей свободы, никому не было до меня никакого дела, и похоже, вообще никого здесь не было. Я могла делать все, что мне заблагорассудится: есть, спать, гулять, валяться на теплом песочке, плавать, загорать, плести венки, наряжаться, петь, танцевать, ходить на голове — никого это не трогало и никому не мешало. Единственными моими собеседниками были попугаи в роще, я без особого труда приручила их, вытаскивая для них из дома всякие угощения. На траве под деревьями валялось уже столько тарелок, что из них можно было сложить сервиз для королевского приема. Относить посуду обратно в дом мне было лень, да она, судя по всему, никому там и не требовалась. Стол исправно доставлял новые кушанья и не жаловался на недостаток приборов.

## VI

Часть суши, на которую меня неизвестно как и зачем занесло, действительно оказалась островом, причем совсем небольшим. Я убедилась в этом, поднявшись на крышу небоскреба. Других островов и континентов в обозримых пределах не наблюдалось — со всех сторон одна лишь вода. Я несколько раз обошла свои владения вдоль, поперек и по окружности. Полный круг по прибрежной линии составлял четыре тысячи шестьсот тридцать один мой шаг. Приблизительно три километра. Поскольку я еще не забыла формулу «два пи-эр», то без особого труда подсчитала, что диаметр острова не превышает километра. В одном месте, правда, имелся небольшой мыс, нависающая над морем скала, к основанию которой можно было добраться только вплавь, но и она весьма незначительно увеличивала площадь острова. У подножья скалы стоял лес, почти настоящий лес — несколько дубов и еще каких-то лиственных, для которых я подобрала названия: вяз, тополь, фисташковое дерево. Не исключено, что я ошибалась в классификации, поскольку никогда не была сильна в природоведенье.

Первый раз — если не считать эвакуации, которой я почти не помнила, — я выехала за пределы Москвы и очутилась в лесу в десятилетнем возрасте. Над всем островом, над всем этим маленьким миленьким миром несокрушимым утесом высился безжизненный и неподвижный небоскреб.

Не могу сказать, чтобы я особенно скучала — мне удавалось придумывать себе разные занятия. Я много плавала, подолгу валялась на солнышке и иногда даже оставалась ночевать на берегу. Не похоже было, чтобы здесь водились дикие звери или разбойники. Я любовалась звездами и луной и неожиданно для себя припомнила названия некоторых созвездий. Кое-чему нас все-таки научили в школе.

Этот мир, в котором вещи так запросто возникали из ничего — можно сказать, из воздуха, тем не менее был достаточно прочен и стабилен. Дом всегда находился на одном и том же месте, с пляжа к нему можно было подняться по лестнице (той самой, на которой я обнаружила себя, впервые очутившись в этом заколдованном царстве), деревья, в полном соответствии со своей природой, потихоньку росли, птицы щебетали в ветвях, каждый предыдущий день сочетался с последующим, и вечер наступал не раньше, чем солнце опускалось в море. Никаких несоответствий и аномалий не наблюдалось.

Происходили сезонные изменения погоды. Однажды я решила остаться ночевать на пляже, но вскоре была разбужена грозой. Засверкали молнии, загредел гром и хлынул дождь. Я успела промокнуть насквозь, прежде чем добежала до дверей дома. Дня через два гроза повторилась.

Мне захотелось записать некоторые свои «путевые заметки» — как ни мал был остров, но он имел свои собственные приметы и любопытные особенности. К сожалению, я нигде не обнаружила ни ручки, ни карандаша, ни бумаги. Писчую бумагу еще можно было кое-как заменить туалетной или салфетками, а с ручкой пришлось повозиться: я выдернула перо из крыла одного из

своих приятелей-попугаев — птице эта операция, разумеется, не понравилась, и она, проклятая, жутко больно клюнула меня в плечо. Я постаралась загладить свою вину щедрым угощением, но попугай оказался злопамятен, и наши отношения испортились. Похищенное перо я, как умела, заточила и расщепила, а чернила изготовила из сока брусничных ягод, выданных мне на десерт.

Ведение дневника оказалось занятым делом. Поскольку почти никаких событий вокруг не происходило, внимание мое останавливалось на разных пустяках, которых я прежде вовсе не замечала. Тень лестницы похожа на спину бронтозавра... Вода на утренней заре тяжелая, волны плоские и широкие... Шпиль небоскреба — что он, громоотвод или антенна?

Дневник приучил меня вести счет дням. Время как таковое как будто не имело для меня значения, но я обнаружила, что записи, приуроченные к определенным числам, оказываются более точными и четкими. Мысли и образы, не связанные путами дат, легко возникали и так же легко забывались, но самое пустяшное рассуждение, закрепленное за таким-то днем и часом, уже словно получало право жительства и постепенно крепло, дополняясь новыми соображениями и наблюдениями.

Мне было ясно, что счет дней следует вести от какого-нибудь значительного события. Таким событием, несомненно, являлось мое появление в этом мире. Но так как не было ни малейшей возможности установить, сколько именно недель или месяцев минуло с тех пор, то я приняла за начало отсчета день, в который была сделана первая запись. Если не случалось никаких происшествий и не было настроения о чем-нибудь пофилософствовать, я все же записывала: «День 146-й. Ничего особенного».

В порядке укрепления дисциплины я решила перед завтраком бегать вокруг дома. В этот же период я сделала одно небольшое, но приятное открытие: кнопки на столике не обязательно надо было нажимать по отдельности, сочетание нескольких из них — одновременное или последовательное — доставляло новые предметы. Таким образом я получила пианино. Это был роскошный инструмент, которого я, разумеется, ни в коей мере не заслуживала и не была достойна, но он великодушно отзывался чудным звучанием на мои робкие прикосновения. Когда-то в детстве я немножко училась музыке и теперь попыталась припомнить кое-какие песенки.

Потом я настолько расхрабрилась и обнаглела, что начала сама подбирать по памяти песни Окуджавы и Матвеевой — благо никто меня не слышал. Иногда, если погода не позволяла купаться, я просиживала за пианино весь день напролет.

Перебирая как-то различные варианты кнопок в надежде набрести на что-нибудь интересненькое, я вдруг услышала за спиной легкое шуршание. Я оглянулась: посреди комнаты покачивалась темная фигура без головы. Я, кажется, вскрикнула от ужаса, но приглядевшись, поняла, что это всего лишь пустой костюм, неизвестно какой силой удерживаемый в воздухе на весу. Я поспешила избавиться от него, но несколько дней после этого чувствовала себя в собственной комнате неуютно.

## VII

Удивительно, что в этом мире сверхизобилия и всяческого комфорта невозможно было разжиться самыми простыми вещами: бумагой, ручкой, ниткой, иголкой, вязальным крючком. Для того, чтобы перешить какой-нибудь бантик на блузке или отделать манжеты кружевом, приходилось прибегать к невероятным ухищрениям. Иногда это до того злило, что хотелось треснуть кулаком по всем этим идиотским кнопкам и вышвырнуть дурацкий столик в окошко. Кстати, осуществить подобное намеренье было невозможно: окно не открывалось, а столик нельзя было сдвинуть с места — он всегда стоял там, где считал нужным. Он как будто старался доказать мне, что он тут главное меня. Я делала вид, что мне это безразлично.

Дожди постепенно прекратились, море опять потеплело и ласково шелестело у подножья лестницы. Газон посвежел и распушился. Возвращаясь в свою комнату после утренней пробежки, я получала изысканный завтрак, а просыпаясь после обеда, наслаждалась душистым кофе. В любое время дня и ночи я могла жевать печенья, булочки и пирожные, у меня было все, чего душа пожелает, на моем туалетном столике громоздились нежнейшие духи и кремы, шкаф ломился от самых прелестных нарядов, и решительно ничего не прояснялось в моем загадочном существовании.



Порой все это начинало казаться слишком уж странным. А тут еще погода вдруг взбесилась — после краткой весны наступило чудовищно жаркое лето, подул горячий ветер, трава на газонах стала желтеть и крошиться под ногами, песок раскалился, и воздух налился жаром. Рощица поначалу сопротивлялась засухе, но вскоре листья на деревьях побурели и потрескались под слоем тонкого, словно пыль, песка. А еще через несколько дней они начали падать, устилая землю черными струпами. Птицы то ли улетели куда-то, то ли попрятались, то ли впали в спячку, — их не стало ни видно, ни слышно. Прогулки по острову лишились всякой прелести, а сидеть целыми днями в доме было тоскливо. Я соорудила себе на пляже нечто вроде навеса — выволокла наружу несколько столиков и стульев, натянула между ними простыни, а раскаленный песок застелила шелковыми одеялами. Окунувшись в теплую, неподвижную воду, я плюхалась на одеяло и так лежала минут двадцать, пока окончательно не высыхала. Тогда приходилось снова заходить в воду.

Поощренные жарой, на берег приползли две змейки. Не могу сказать, что их появление так уж сильно меня обрадовало, но оно все-таки внесло некоторое разнообразие в мое существование. Я принялась наблюдать за ними и даже установила, где они скрываются по ночам — в расщелине под лестницей. Оставалось неясным, чем они питаются в этом пустом высохшем мире, но со временем я надеялась разрешить и эту загадку. Случалось, что три-четыре дня подряд мне не удавалось их увидеть, но потом они появлялись опять. Я привыкла к ним и любовалась их неторопливыми движениями. У обеих были черные пятнышки на боках, при движении то смыкавшиеся в одну сплошную линию, то расходившиеся широким веером, будто меха гармошки.

Однажды змейки подползли ко мне почти вплотную, и я протянула к ним руку. Меньшая мгновенно обвилась вокруг моего запястья и ужалила. Укус был достаточно болезненным, но я не отдернула руки. Через секунду змейка отпала сама, шлепнулась на песок и застыла недвижимым жгутиком. Я тронула тонкое желтое тельце — она не шевелилась. Я вспомнила, что пчелы умирают, лишившись жала, — так, по крайней мере, мне говорили — и подумала, что моя змейка, видимо, тоже имела право ужалить лишь раз в жизни. Очевидно, она ис-

пугалась протянутой руки. Ее подруга поспешно заструилась по песку и скрылась из виду. Мне было жаль, что все кончилось так нелепо. Я засыпала мертвую змею горячим сухим песком и поплелась к дому.

Небо оставалось безоблачным, и белесое солнце изо дня в день упорно проглаживало его раскаленным утюгом. На берегу давно уже все помертвело, но с некоторых пор начало усыхать и море. Над водой стоял мутный густой туман, полоска пляжа делалась все шире, но желтого песочка, из которого я раньше строила замки и лепила русалок, оставалось все меньше. Берег побурел, на нем неизвестно откуда появилось множество мелких острых камушков, и вода уже не плескалась, как прежде, у подножья лестницы — чтобы добраться до нее, приходилось долго брести по колким камням под безжалостными лучами тяжелого, будто протухшего и раздувшегося от жары солнца. Купания доставляли совсем мало радости: вода была такой же горячей, как воздух, и вдобавок еще липкой, как глицерин. А стоило выйти на берег, как все тело покрывалось корочкой соли.

В эти дни я совсем пала духом и однажды нацарапала в пыли на площадке перед домом обломком сухой веточки: «Меняю небоскреб с видом на море (все удобства) на однокомнатную квартиру в Москве». Никто на мое предложение не откликнулся. Надпись постепенно покрывалась новым слоем песка и пыли и утонула под ними.

Я все реже выходила из своей комнаты. В доме можно было дышать, но от безделья мною овладела апатия. Целыми днями я валялась в кровати, забывая иногда даже поесть. Записывать в дневник было нечего, кроме того, что засуха продолжается и, кажется, не собирается прекращаться.

Какие-то бессвязные картинки — часть из них относилась к моей прежней жизни, а часть бралась вообще непонятно откуда — вертелись в голове, наплывая одна на другую. Вот кусочек Тверского бульвара, садовая скамейка, на ней совершенно незнакомый мне человек. Вот какие-то дети, совсем еще карапузы, шествуют куда-то с ведерками в руках. И вдруг совсем иное: зимняя

ночь, длинный ряд тусклых синих фонарей, подвешенных на проволоке посреди пустынной безмолвной улицы. Это мы с мамой идем из магазина, выстояв что-то чрезвычайно ценное: американский яичный порошок? сахар? а может, кукурузные хлопья? Нет, кукурузные хлопья дают в другом магазине и только по особым талонам, а не по карточкам. Фонари раскачиваются под ветром, широкие голубоватые круги проглаживают булыжную мостовую, посередке голую, а по краям занесенную снегом, и лижут широким синими языками мрачные подворотни. У-ух, ах!.. Булыжники шарахаются из стороны в сторону и норовят вырваться из-под ног. Мне приходится вытянуть озябшую руку из тощего рукавчика — чтобы слегка придержать мостовую и не позволить ей перевернуться. «Что с тобой? — говорит мама. — Иди как следует». Уух-ха! — хохочут косматые тени в черных подворотнях.

А вот мы стоим на трамвайной остановке. Напротив, над пустой витриной какого-то магазинчика, бьется на ветру белая тряпичная вывеска с выведенными на ней синими буквами. Тогда я еще не умела читать, но теперь, кажется, могу сложить синие буквы: Г-А-Л-А-Н-Т-Е-Р-Е-Я. Так, значит, это был галантерейный магазин. Интересно, чем же в нем могли торговать при полном отсутствии каких бы то ни было товаров?

Трамвай все не идет. «Смотрите, — говорит какая-то тетка, — она отморозит себе ноги, она же у вас почти босая». Это про меня. «Что же делать, пускай попрыгает, — откликается мама. — Да, нечего ждать, — вздыхает она, — надо идти. Видно, что-то случилось». Мы покидаем остановку и шагаем мимо маленьких домиков, засыпанных снегом, мимо колонок, обросших льдом, мимо темных низеньких окон и наконец поднимаемся на железнодорожный мост. Сквозь его ободренные серые доски просвечивают пути, запутанные, перекрещивающиеся, наползающие друг на друга стальные пути. На них кое-где неподвижные одинокие вагончики. Вдруг пути оживают, со стороны Белорусского вокзала движется поезд, он пытит и грохочет — ближе, ближе, воздух наполняется дымом, дым сочится сквозь редкие доски, валит во все щели и окутывает меня белым одеялом. Я не вижу мамы, и мне вдруг представляется, что белое косматое чудовище проглотило ее. Я вижу от страха, и откуда-то сбоку доносится мамин голос: «Чего ты боишься? Не смотри вниз».

А вот еще Тверской бульвар. Верхний этаж уголовного дома — на этом доме когда-то стояла белая гипсовая девица, снятая в дальнейшем со своего поста по той причине — как утверждали московские остряки, — что бронзовый Пушкин не смел поднять головы, стыдясь заглянуть ей под юбку. Бедный поэт...

Самое верхнее угловое окошко над бульваром по вечерам светилося дымно-красным светом, и мне все мерещилась за ним какая-то особая, небывалая жизнь. «Абажур цвета бордо», — объяснила однажды мама.

Вот я опять вижу ее — она выпрыгивает из нарядного новенького автомобиля модели двадцатых годов, густые короткие волосы взмываются вверх, — она придерживает дверцу машины рукой и улыбается, вернее, даже смеется, обернувшись к кому-то, скрытому от меня высоким ветровым стеклом. Никогда в жизни я не видела маму такой молодой, веселой и счастливой. Она все медлит, все не торопится захлопнуть дверцу и, кажется, вовсе не подозревает, что я наблюдаю за ней.

Снова какие-то дети копошатся в песочке. Непонятно, откуда вдруг столько детей. Один синеглазый крошка присел на край песочницы и о чем-то задумался, позабыв про свои формочки. Запрокинул голову и уставился в небо.

Я стою в чужом незнакомом дворе, залитом солнцем и пахнущем черемухой. Что я тут делаю? Кого-то разыскиваю? Или просто блуждаю в поисках выхода на соседнюю улицу? Какой чудный день — солнце, запах черемухи и разогретого дерева. Невозможный, невысказанный, отовсюду льющийся и все озаряющий весенний свет.

Я прыгаю по платформе. Папа с мамой сидят на груде досок. Папу забирают на фронт, но состав, который должен увести его, еще не прибыл. Я пробираюсь между солдатами — они расположились тут и там кучками, переговариваются, смеются и поют под гармошку. Большой грузный мешок с отвернутым верхом стоит на виду у всех посреди платформы. В мешке крупный желтый горох, солдаты по очереди запускают в мешок руки

и грызут сухой горох своими крепкими молодыми зубами. Один из солдат подзывает меня и насыпает гороху в мои сложенные лодочкой горсти. Он о чем-то спрашивает меня, я отвечаю, и все весело хохочут. Их лиц я не помню, так же, как не помню лица отца, все они сливаются для меня в одно веселое, добродушное лицо.

А ведь большинство из них, — понимаю я вдруг, — если не все! — погибли на фронте. И может быть, очень даже скоро — эшелоны эти шли под Сталинград.

Странно, что я догадываюсь об этом только теперь.

Я пытаюсь вспомнить их вопрос и свой ответ, я уверена, что могу вспомнить эти несколько немудреных слов, нужно только поглубже окунуться в тот солнечный день, еще раз пройти по платформе и задержаться возле осевшего на бок мешка. Остановиться и подождать, пока меня заметят и подзовут. Я, конечно, не надеялась, что меня станут угощать горохом, остановилась просто так — посмотреть на них, послушать песню. Что же они спросили?

Горох я, помнится, отнесла маме. «Откуда это?» — «Мне дали солдаты».

Мы все еще сидим на теплых досках, но солнечный свет сделался другим — густым и жарким.

— Идите, Верочка, — говорит отец, — неизвестно, сколько еще ждать. Как вы пойдете ночью? Идите.

Неужели мы действительно ушли? Если можно было еще побыть вместе — еще полчаса, час...

Я вдруг вспоминаю обращенный ко мне вопрос. Он прост, проще не бывает: «Ты любишь горох?» И вместе с вопросом я, кажется, вспоминаю лицо того парня — широкое, веселое, слегка конопатое лицо. Сколько ему было лет? Двадцать два, двадцать четыре... Но своего ответа я не слышу, он ускользает, снова и снова ускользает, ускользает как раз в тот миг, когда я почти подхватываю его сачком памяти. Что же такое я могла сказать? Что могло их так рассмешить?

У нас была дальняя родственница, тетя Даша. Мама жила у нее когда-то, еще до моего рождения, когда только приехала в Москву учиться в институте. Потом, после войны, мы иногда заходили к тете Даше, в ее маленький деревянный домик на окраине — вход со двора, через сени, заставленные кадушками и ведрами. Во дворе копошились куры. Тетя Даша поила нас чаем из самовара. Чай был очень горячий, его пили из блюдец — медленно и осторожно, с крошечными кусочками сахара вприкуску.

Из восьми сыновей тети Даши семеро погибли на фронте, вернулся только один. Этому единственному оставшемуся в живых сыну было уже лет сорок, когда я впервые увидела его, и у него у самого была двенадцатилетняя дочка. Еще у него была лысина в полголовы, но это его нисколько не смущало, он вечно смеялся и дурачился, рассказывал какие-то анекдоты и сам больше всех хохотал при этом, — то есть он один только и хохотал. Еще он любил петь. Колотил ладонями по сидению стоявшего перед ним стула и распевал боевые песни и революционные марши. «А ну, тихо!» — прикрикивал на него из-за печки старик-отец. Мама и тетя Даша между тем, не обращая внимания ни на песни, ни на окрики, вели свой разговор. Старик задыхался и кашлял за печкой и иногда подзывал жену: «Дай мне, что ли, еще чаю». Я никогда не видела его, мне запомнился только его сиплый и вечно недовольный голос.

Когда мы выходили от тети Даши, мама всегда одинаково вздыхала и говорила: «Вот ведь какая страшная судьба — семерых детей пережить... А какие красавцы были! Настоящие богатыри... Подумать только — всех скосило». Я слушала эти причитания и пыталась представить себе, что бы было, если бы все эти богатыри вернулись. Где бы они спали? Такая маленькая комнатка, и столько народу в ней. Да еще этот дед за печкой.

Я вижу теперь тетю Дашу, она сидит неподвижно, грузная и невозмутимая будто вылепленная из глины, и смотрит куда-то поверх моей головы. Руки сложены на животе, лицо сурово и неприступно.

После маминой смерти я не навестила ее ни разу, и это, конечно, нехорошо. Но вряд ли она и ждала, что я стану приходить.

Может быть, попытаться все это как-то записать? Упорядочить и сохранить? Вместо того, чтобы вести дурацкий дневник... Впрочем, и в дневнике давно не появлялось никаких записей — ввиду отсутствия происшествий. А воспоминаний и всяческих видений являлось так много, что нечего было и надеяться с ними справиться. Некоторые просто невозможно было выразить словами, разве что зарисовать.

Вот женская рука раскачивает громадный черный утюг. Сквозь треугольнички отверстий просвечивают засыпанные в чугунную утробу угольки — пылающие точки, аленький цветочек в зубастой пасти какого-то страшного зверя. Я провожаю взглядом каждый взмах. Чья это рука? Кто эта женщина? Одна из наших соседок, но кто именно, теперь не угадать. Многие тогда гладили такими утюгами. С электричеством у нас было строго, однажды мы целый месяц сидели без света за перерасход электроэнергии. Мне эти темные таинственные вечера, когда вся наша громадная квартира освещалась одной керосиновой лампой, даже нравились, но взрослые после этого случая сделались злыми и подозрительными. «Натаалья Степановна, вы опять не выключили свет в коридоре!» Впрочем, электричество то и дело отключалось и само по себе, безо всякой нашей вины.

Я вознамерилась было изобразить некоторые сценки нашего быта на бумаге, но с моим несчастным пером и одноцветными чернилами из этой затеи ничего не вышло, я только зря извела несколько салфеток. Хотя о салфетках сожалеть не приходилось, салфеток было сколько угодно.

В какой-то момент у меня возникла идея мультфильма. Футбольный матч. Кругленькие игроки, сами похожие на мяч, рассыпаются по полю — только ножки мелькают. На голове у каждого колпачок, как у Петрушки. Нет, у одной команды колпачки, а у другой кепочки. Временами игрок и мяч меняются ролями. Вратарь падает на мяч, но выясняется, что это не мяч, а нападающий чужой команды, а мяч влетел в ворота, и оттуда подмигивает зрителям.

Могло бы получиться забавно, если бы у меня хватило терпения зарисовать все сценки.

Забросив мультфильм, я стала сочинять сценарий кинокомедии. Сюжет самый тривиальный — нечаянный обмен вещами. Только не чемоданчиками, как во Франции, а мешками. У нас в России мешок и поныне самая ходовая тара. Главных героев четверо: кавказский человек, впервые в жизни прибывший в столицу с мешком мандаринов, колхозница из-под Тулы с мешком картошки, гражданочка из Мурманска с мешком пыжиков и московская обывательница, своего мешка не имеющая, однако в нужную минуту, что называется, не растерявшаяся.

С кавказцем судьба свела меня на цветочном рынке возле станции метро «Сокол». Я выбирала букетик приятельнице на день рождения и вдруг почувствовала, что кто-то в высшей степени деликатно и осторожно прикасается к моему плечу. Оборачиваясь, я ожидала увидеть кого-то из знакомых, но за спиной у меня стоял крошечный чернявый человечек в неправдоподобно огромной кепке. Выражение безграничного изумления и благоговейного восторга застыли на его смуглом скуластом лице. Ни один мужчина ни до, ни после этого не смотрел на меня с таким восхищением. Он не верил своим глазам, он, видимо, и не подозревал, что *такое* на самом деле может существовать на свете. Некий возглас скорее отчаянья, нежели умиления, вырвался из-под его усов, он попятился очевидно, чтобы с большей дистанции лучше разглядеть явившееся его взорам чудо, и был оттеснен в сторону какой-то пожилой парой. За это наивное и трогательное выражение смятенных чувств я назначила кавказца главным героем своего сценария.

Вторым действующим лицом была моя деревенская приятельница по имени Аля. Это была очень хорошенькая и предприимчивая женщина. В отличие от всех ее односельчанок, Аля была замужем и чрезвычайно этим гордилась, но так как мужик здорово пил и постоянно требовал денег, Аля приспособилась пробираться по ночам на поле и воровать там картошку, которую затем сбывала в Москве на рынке. Поначалу она уверяла меня, что ходит только на колхозное поле, но потом, почувствовав доверие, открылась: с колхозного поля фиг чего наберешь, я большей частью у бабки Насти и пасусь. Я осудила такой способ наживы и в конце концов отказала ей от дома — тем более, что она повадилась слишком уж часто посещать столицу.

Гражданку с пыжиками звали Валей. Она была приведена ко мне Славой Аникиным, который свел с ней



нечаянное знакомство в поезде. Слава объяснил, что привести Валу к себе не мог, поскольку, «сама понимаешь, соседи». Они тут же вспороли мешок, и из него, как из лопнувшего баллона со сжатым воздухом, брызнули во все стороны пыжики. Через секунду вся комната была полна серо-буренькими шкурками. Слава обзвонил двух-трех знакомых, те, в свою очередь, сообщили друзьям, и через полчаса у меня в квартире началась настоящая свалка — некоторые желающие попросту не сумели втиснуться в помещение. Среди покупателей — несколько для меня самой неожиданно — оказалась Ирина Константиновна, которая в конечном счете и подвела нас со Славой под монастырь. Поскольку ей не досталось шкурки, она записала Вале свой адрес и убедительно просила выслать, если не пыжика, то песка, по почте. Валя не успела выполнить ее просьбы, так как вскоре была арестована органами милиции за спекуляцию незаконно отстрелянной пушниной. Следователь обнаружил в ее записной книжке адрес Ирины Константиновны, а та, разумеется, не стала скрывать, что познакомилась со спекулянткой у меня. Впрочем, никаких особых последствий ни для меня, ни для Славы это дело не имело.

Поскольку Аля и Валя звучит почти одинаково, я переименовала последнюю в Татьяну.

Четвертая героиня, москвичка без мешка, была более-менее собирательным типом, но в основе ее лежала тетка с пивом. В сорок четвертом году на Тверском бульваре появилась едва ли не первая в Москве бочка с пивом. Женщина в белом переднике разливала пиво в стеклянные литровые и пол-литровые кружки, а я наблюдала за ее действиями с лавочки в сквере. Внезапно продавщица заметила, что какая-то гражданочка, вместо того чтобы честно выпить свою кружку и вернуть посуду, воровато отодвигается в сторону Никитских ворот. Продавщица кинулась в погоню, а похитительница, придерживая кружку обеими руками — чтобы пиво не слишком расплескивалось, — на бегу оправдывалась: «Не для себя беру, для больного человека!»

Действие моего сценария завязывалось на площади трех вокзалов, где герои безуспешно пытались поймать такси. На их несчастье, их в конце концов подобрал

некий левак, пылкий патриот своего города. Небрежно побросав все мешки в багажник, он принялся кружить по Москве и демонстрировать обалдевшим пассажирам достопримечательности столицы. Москвичка возмутилась и потребовала своей немедленной доставки по указанному адресу. Но поскольку в дороге имело место неприятное столкновение с ГАИ и прочие смешные происшествия, расстроенный водитель выдал москвичке вовсе ей не принадлежавший мешок с пыжиками, тетка из-под Тулы получила мешок мандаринов, а кавказец — мешок картошки. В конце, после ряда неизбежных перипетий, все встало на свои места, и мешки, хоть и поубавившиеся отчасти в весе и объеме, вернулись к своим владельцам. Москвичка во искупление своего лукавства устроила хорошее застолье, во время которого все участники признались друг другу в большом взаимном уважении и даже любви — Валя-Татьяна закрутила любовь с водителем, а кавказский человек с покладистой Алей. Мог бы, в общем, получиться вполне нормальный фильм, найдись только для него продюсер и режиссер-постановщик.

Работа над сценарием довольно долго развлекала меня, но имела и свою отрицательную сторону: я так глубоко окунулась в прежнюю жизнь и так привязалась к своим героям, что даже по ночам слышала их голоса. Тверской бульвар втиснулся в мою комнату и прочно утвердился между креслом и диваном. Отводя взгляд от пивной бочки, я видела двойной ряд деревьев — наверное, это были липы — толстая, темная, давно растрескавшаяся кора и пышная, густая листва.

Могучие ветви нависают над проезжей частью.

Под деревьями вечный полумрак. Если в Москве водятся тролли, то они должны гнездиться где-нибудь здесь — в пространстве между Литинститутом и зданием «ТАСС». Вороны, во всяком случае, обожают это место — облепили все кроны и время от времени, взмахивая черными крыльями, проносятся над головой.

Кстати, в последнее время за окном моего небоскреба я тоже начала замечать мелькание каких-то теней. Можно было предположить, что это птицы, но мне ни разу не удалось разглядеть ни одной из них как следует.

И еще с некоторых пор меня начали преследовать телефонные звонки. Во всем здании я не обнаружила ни одного телефона, но звонки продолжали звенеть. Однажды вслед за несколькими настойчивыми звонками прозвучал детский голосок. От волнения я не разобрала слов, но, взяв себя в руки, откликнулась.

— Как тебя зовут? — спросила я как можно ласковее и как можно спокойнее.

— Элик, — отвечал голосок охотно.

— А сколько тебе лет?

— Не знаю, — признался он после некоторого задумчивого пыхтения.

— А где ты живешь? — продолжала я вкрадчиво.

— В доме, — ответил он без колебания.

— Слушайте, я не могу говорить, там наверху ребенок, — перебил раздраженный мужской голос. — Отключите его как-нибудь.

— Вы меня слышите? — спросила я.

Нет, он не слышал меня, он слышал только Элика, который ему мешал. И он его спугнул. После этого я долго ждала повторного звонка, но так и не дождалась.

Я не знала, что и думать. Конечно, для ребенка любой дом — дом. И все-таки я решила еще раз обследовать небоскреб.

Я добросовестно обошла этажей десять, заглядывая в каждую дверь, но кроме сотни пустых одинаковых комнат, ничего не обнаружила. Пришлось свернуть экспедицию ввиду ее явной безрезультатности. Вернувшись в свои апартаменты, я придвинула кресло к окошку и уперлась взглядом в безжизненные воды и небеса. И тут за моей спиной возник звук. Как ни слаб он был, но в полной — полнейшей — тишине невозможно было его не услышать. Я обернулась — дверь была открыта.

Что-то подсказало мне, что я уже не одна в этой комнате. И действительно, в следующую секунду я увидела серенькую кошку. Она была как две капли воды похожа на ту Муську, которую я однажды подобрала на улице крошечным озябшим, голодным и грязным котеночком. Мама сопротивлялась, как могла, ее вселению в нашу комнату — ну кто теперь держит котов! — но потом все-таки сдалась. Муська не злоупотребляла ничьим терпением и проводила свои дни на подоконнике, наблюдая за скачущими под окошком воробьями. Иногда она выпрыгивала в форточку в тщетной надежде изловить хотя бы одного, но, насколько мне известно, ей это

ни разу не удалось. Так она прожила у нас шесть лет и вдруг в один печальный холодный осенний день исчезла. Мой приятель и одноклассник Стасик Покровский уверял, что мальчишки повесили Муську на дереве за домом и что он сам лично принимал участие в этом мероприятии. «Мы ей папироску в рот засунули», — говорил он, ухмыляясь и присовокупляя к своему рассказу все новые и новые подробности. Но я все равно ему не верила. И правильно делала, потому что вот — моя Муська вернулась ко мне.

Я осторожно сползла с кресла на пол и двинулась ей навстречу. Кошка сперва ошетинилась и зашипела, но потом успокоилась и сама потянулась ко мне. Мы встретились носами и замерли, рассматривая и обнюхивая друг друга. Я перевернулась на спину, она вспрыгнула мне на грудь и, мурлыча, принялась переминаться с лапки на лапку. Я провела рукой по мягкой шкурке — нежной Муськиной шкурке, — от ушек до кончика хвоста, потом подсунула руку под теплое брюшко и почувствовала, как бьется кошачье сердце. По вискам у меня струились слезы. Дивный персидский ковер, один из тех, которыми я щедро устелила пол моей комнаты, — впитывал их и расцветал всеми цветами радуги.

Усадив Муську в кресло, я решила навести порядок в комнате. Все разбросанное по полу барахло было либо спрятано в шкаф, либо вообще ликвидировано. А главное, я избавилась от пышной и наглой королевской кровати, в которой нормальный человек не может не погибнуть от всяческой неги и хандры. Постель я перенесла на диванчик, и Муська тотчас устроилась на одеяле, как делала это в давние счастливые времена. Мама постоянно гоняла ее, стараясь отучить от этой дрянной привычки, но, разумеется, не отучила.

Я вдруг спохватилась, что ничем не угостила дорогую гостью, и предложила ей на выбор дюжину изысканнейших лакомств. Муська очень церемонно и неторопливо отведала того-сего и снова вернулась на диван. В дальнейшем я убедилась, что она не хуже моего умеет управляться с кнопками, доставляющими съедь. Остальные предметы ее попросту не интересовали.

Мы зажили совсем неплохо. К тому же через несколько дней после Муськиного появления погода вдруг очнулась и образумилась. Потянуло ветерком, небо покры-

лось лиловыми тучами, и разразилась гроза с молниями и громом. Засушливый сезон остался позади. После дождя все начало бурно расти и расцветать, на газонах поднялась трава такой высоты, что Муська в ней скрывалась, как в тростнике. На деревьях появились листики, похожие на крошечных зеленых букашек, и я смогла возобновить свои прогулки и купания. Почти каждую ночь на остров обрушивались ливни, воды в море прибавилось, но горячие и прохладные струи долго еще не смешивались и заставляли тело ежиться и блаженно замирать.

## VIII

Муська иногда удалялась куда-то по своим кошачьим делам, но к вечеру всегда возвращалась. Каждую ночь я засыпала под ее сладкое мурлыканье. И вот однажды она ушла и пропала — за окном уже стемнело, а ее все не было. Я пыталась убедить себя, что волноваться глупо, что она скорее всего празднует весну, может быть даже, повстречала кавалера, но в полночь не выдержала и отправилась искать ее.

Пройдя пустое здание насквозь, я спустилась в холл и вышла наружу. Ночь была лунная. Я брела, раздвигая травы, заглядывая за выступы лестниц, вызывая «кис-кис-кис, Муська, Муська!», и вдруг нечаянно подняла голову. В одном из окон горел свет.

Я почувствовала, как у меня заколотилось сердце.

Потом я сообразила, что свет в окне объясняется очень просто — Муська зашла в какую-то комнату, и в честь ее присутствия зажглось электричество. Я считала этажи — дважды, чтобы не ошибиться, — и потащилась вверх. Как видно, от долгого безделья и неподвижности я здорово ослабела. Уже на седьмом этаже мне пришлось немного постоять, чтобы перевести дух, а на шестнадцатом я опустилась на ступеньку и просидела минут десять. В этом чертовом доме наверняка имелись лифты, но мне как-то не пришлось на них натолкнуться. Я отдыхала еще три или четыре раза, прежде чем достигла наконец нужного мне восемьдесят седьмого этажа. За первой же дверью меня ожидало невероятное открытие. Комната была гораздо просторней той, в которой я все время жила, настоящий зал, а не комната. И по-

среди этого зала за низеньким столиком сидело трое мужчин.

В ту минуту я забыла про все на свете — даже про Муську.

Нельзя сказать, что мое появление вызвало у присутствующих особое волнение или тем более радость. Все трое подняли на секунду голову, но тут же снова уставились в лежавшие перед ними бумаги.

— Ну вот, — пробурчал старший раздраженно (у него была пышная седая шевелюра и тщательно выбритые розовые щеки), — только этого не доставало. Почему не закрыли двери?

— Двери-то закрыты, — откликнулся другой, плотный брюнет с длинными волосами, перехваченными на затылке голубым шнурком.

— Более того, — прибавил третий, самый молодой, — они даже заперты.

— Так надо было их задрать! — закричал старичок. — Замуровать, законопатить!

— Да? — возразил средний не без ехидства. — А как же прикажете ходить?

— Никак! — буркнул старик.

— Всего не законопатишь, — вздохнул молодой, очаровательный смуглый красавец. — Какая-нибудь щелка всегда да останется.

У него были удивительные глаза, такие громадные, что края их напоздали на виски.

— Вы хотите уверить меня, что эта особа просочилась в щелку? — просипел старик.

— Другого объяснения нет.

— Скажите еще, что она проникла сюда по частям!

Молодой усмехнулся, а средний произнес с умным видом:

— Известны случаи, когда часть вещи превосходит ее целое.

Я сделала несколько шагов по направлению к столику и вдруг разрыдалась.

— Принесите даме воды, — буркнул старик. — Начинается...

— Придется принести, — отозвался средний, но молодой опередил его, пружинисто поднялся и через минуту вернулся с высоким бокалом в руках.

Меня напоили каким-то кисленьким шипучим напитком и усадили в кресло. После этого мужчины сочли

возможным вернуться к своим бумагам. Не знаю, был ли какой-то смысл в изучении бесконечных сходящихся и расходящихся, пересекающихся и разбегающихся линий, но все трое погрузились в это занятие с головой. Время от времени они бормотали нечто неразборчивое себе под нос и дополняли чертеж каким-нибудь новым тончайшим штрихом. Разглядывая их лица, я подумала, что все трое, как видно, чуточку не в себе. А может быть, даже не чуточку, а порядочно не в себе. Впрочем, в этом не было ничего странного — попробуй поживи в этом идиотском доме.

Прошло часа два, если не больше, прежде чем они вспомнили обо мне.

— Откуда прибыли, если не секрет? — спросил старик строго.

— Из Москвы, — сказала я.

— А, вот как, — протянул он.

Среднего упоминание о Москве тотчас вдохновило на цитаты.

— Москва — столица нашей родины! — прочитал он, точно добросовестный педагог, и тут же уточнил: — Вашей родины. Москва, Москва, ты сердцу дорога. Москва — как много в этом звуке. Да, и так далее.

— Ну почему, почему, — застонал старик, хватаясь обеими руками за голову и раскачиваясь из стороны в сторону, — почему барышни из Москвы не спят по ночам?!

Его правое запястье украшал широкий бронзовый браслет.

— У меня пропала кошка, — попыталась я объяснить.

— Кошка? — повторил старик. — Как, еще и кошка имеется? А мыши? Мыши тоже есть? — Он уронил руки на колени и замер с видом полнейшего отчаянья.

— Ладно, Берш, не будем преждевременно расстраиваться, — сказал брюнет. — Как говорится, факты — упрямая вещь, но вместе с тем, если я правильно понимаю, можно с ними и поспорить. Во всяком случае, ничего ужасного пока не случилось.

— Как знать, — возразил старик капризно.

Все эти препирательства наконец показали мне слишком уж обидными.

— Если я так уж мешаю, я могу уйти, — сказала я, подымаясь с кресла и стараясь не смотреть на них.

— Вы слышали — она может уйти! — Старик не то засмеялся, не то всхлипнул. — Куда же вы, к примеру, уйдете?

— К себе в комнату.

— Не слишком далеко.

— Если вам хочется, чтобы я ушла подальше, помогите мне вернуться домой.

— Домой? — переспросил старик. — Это куда же? В Москву?

Все трое как-то странно переглянулись и покачали головами.

— Я полагаю, на сегодня хватит, — сказал старик.

— Справедливо замечено, — согласился брюнет. — К тому же, есть мнение, господа, что гостья наша утомились и желают баиньки. Вы позволите, дорогая, проводить вас?

Эта дурацкая учтивость смутила меня не меньше, чем прежняя всеобщая суровость. Я ничего не ответила.

— Она пойдет со мной, — заявил вдруг молодой и одалжил меня улыбкой — такой нежной и печальной, такой задумчивой и благосклонной, такой трепетной и лучезарной, что я тотчас поняла: конечно, я пойду с ним — куда угодно, хоть на край света.

— Меня зовут Анхо, — представился он, когда мы остались наедине.

— Анхо, — повторила я. — Какое милое имя.

Не зная здешних обычаев и правил, я решила поступать в соответствии со своими собственными представлениями.

— Зайдешь? — спросила я, когда мы остановились перед дверью моей комнаты.

— Нет-нет, уже поздно, — поспешно отказался он.

Я не стала настаивать.

За окном светало. Муська как ни в чем не бывало ждала меня, свернувшись клубочком в уголке дивана.

## IX

Вскоре я узнала, что в этом мире помимо нашего острова существуют еще и другие земли. Мак — так звали брюнета — проговорился об этом словно бы нечаянно. «Пожалуй, не следовало вам об этом говорить», — пробурчал он, но тут же пригласил меня на «небольшую экскурсию». Я поблагодарила и отказалась.



Мы с Анхо встречались почти каждый день. Он был мил и терпелив и в меру своих сил и моего разума старался разъяснить назначение тех или иных предметов и полезных приспособлений, с которыми я по темноте своей не была знакома. Как я и догадывалась, в здании существовал лифт, но, повинувшись не то собственному капризу, не то странной прихоти заказчика, архитектор запрятал его в самый дальний угол, в глухой аппендикс своего нелепого строения. Без помощи Анхо я бы, конечно, никакого лифта не обнаружила.

— Как это могло случиться,—спросила я однажды,—что я так долго никого из вас не встретила?

— Долго? — повторил он с сомнением. — Ну что ж, ничего удивительного, такое громадное здание.

— Действительно, громадное,—согласилась я,—только зачем оно? Можно подумать, что тут живут тысячи людей.

— Даже тысячи тысяч. Только не живут, а жили. Но дело не в этом. Ты ведь знаешь, видимая часть должна соответствовать скрытой.

Я этого не знала и вообще плохо понимала, о чем он говорит. К тому же в данный момент меня интересовало другое.

— Где же они сейчас, все эти люди?

— Сейчас? Кто где. Можно сказать, что они в отъезде.

— А здесь есть куда ездить?

— О, да,—сказал он,—конечно.

Я намекнула, что в таком случае тоже не отказалась бы попутешествовать.

— Ну что ж,—согласился он,—я полагаю, что это удастся устроить.

Мы не договаривались о встречах, но, отправляясь по вечерам купаться, я почти всегда находила его на пляже. Он замечательно плавал. Я старалась не отставать и однажды чуть не утонула из-за своего упрямства.

Мы были уже на порядочном расстоянии от берега, когда я вдруг почувствовала, что у меня нет сил плыть дальше и тем более нет сил вернуться обратно. Я решила немного отдышаться, перевернувшись на спину, но тут совсем небольшая волна накрыла меня с головой, и я пошла ко дну.

Очнувшись я на теплом песке, но это был не наш остров, а какой-то неведомый мне чудесный берег, зарос-

ший пышными кустами и травами. Цветущие ветви склонялись к самому моему лицу. Грозди розовато-сиреневых колокольчиков светились в лучах заходящего солнца нежными фонариками.

— Хорошо здесь, — сказала я, приподымаясь на локте и оглядываясь по сторонам. — Анхо, как я сюда попала?

— Мне показалось, что ты устала, — пробормотал он несколько смущенно. — Я решил, что тебе лучше отдохнуть.

— Нет, я имею в виду весь этот мир вообще.

— Не знаю, — сказал он. — Ты думаешь, что мне известны ответы на все вопросы?

— А почему я никогда раньше не видела этого острова?

— Ты тут многого еще не видела.

— И ты не знаешь, как я сюда попала?

— Я же сказал, что не знаю.

— Правда?

Он не ответил и вздохнул не то обиженно, не то утомленно.

— Что ни говори, это странный мир.

— Странный? — повторил он. — Я полагаю, он в точности такой, каким его хотели видеть.

— Кто хотел видеть?

— Люди.

— А ты давно здесь?

— Что значит — давно? — Он усмехнулся. — Сколько я себя помню, я всегда здесь.

— А где твои родители?

— Родители? — пробормотал он неуверенно. — Я их не помню.

— Но хоть что-нибудь тебе о них известно?

— Да нет, откуда... Уехали, наверно.

— И ты не знаешь, куда?

— Очевидно, туда же, куда и все остальные.

— Почему же они не взяли тебя с собой?

— Слушай, — проговорил он со вздохом, — ты спрашиваешь такие вещи... Откуда мне знать? Наверно, была какая-то причина.

Он был так красив и светлая рубаша с широким воротом так шла к его смуглому лицу, что мне захотелось задавать вопросы. Тем более, что от них было мало проку. Мне захотелось обнять его за шею, прижаться щекой к его груди, вдохнуть запах его кожи. Но

ничего такого я не сделала, поскольку уже вышла из возраста Татьяны Лариной, сочинявшей письмо Онегину.

— Почему они не взяли меня с собой, я не знаю,— продолжал он рассуждать,— но одно мне ясно: кто-то должен был здесь остаться. Все это...— Он обвел широким жестом видимое пространство,— нуждается... ну, скажем, в присмотре. Кто-то ведь должен охранять границу.

— Границу? — переспросила я в изумлении.— Тут что же, есть враждебные государства?

Он покачал головой.

— Чудачка! Границу времени.

— Какого времени?

— Любого. Времени вообще.

Я почувствовала, что передо мной вот-вот приоткроется завеса некой тайны, но вместо этого раздвинулись ветви кустов и на полянку выступил Мак.

— Прошу прощения,— сказал он, сопровождая свои слова театральным поклоном и сладкой улыбкой,— я не посмел бы мешать столь милой беседе, но (многозначительная пауза) — Берш желает видеть Анхо.

На берегу нас поджидала рыбацкая лодка. Я попросилась сесть на весла, но Мак не позволил.

— Не обижайтесь, дорогая, как-нибудь в другой раз — сейчас мы вынуждены поторопиться. Знаете, народная мудрость гласит, что лежащий камень и вода не точит.

Мы действительно поторопились и необычайно быстро достигли берега. Мак и Анхо отправились беседовать с раздражительным Бершем, а я вернулась к себе в комнату и, чтобы как-то убить то самое время, которое они хранили, занялась своими туалетами.

В последние дни я проводила перед зеркалом гораздо больше времени, чем прежде. Шкаф предлагал весьма богатый выбор костюмов, платьев, туник, жакетов, юбок, блузок, джинсов, шортов и всяких прочих облачений, но я уже сделалась не та. Я стала намного капризнее и разборчивее, чем была в те далекие первые дни, когда меня восхищала и радовала любая новая тряпка. Если бы у меня были иголки и нитки, я бы распотрошила несколько роскошных нарядов и привела их в соответствие со своими собственными представлениями о моде, красоте и приличиях, но, к сожалению, ни иголок, ни ниток не

существовало в природе небоскреба. И посему, выходя из своей комнаты, я часто вынуждена была откладывать в сторону все шелка и бархат и надевать какой-нибудь скромненький ситцевый сарафанчик в мелкий горошек. Я собиралась при случае пожаловаться Анхо на бестолковость хозяйственников, составлявших список личного имущества квартирантов, но все не находила подходящего момента для подобной беседы.

А потом Анхо вдруг пропал. Я не видела его целых три недели, вернее, двадцать два дня. Мак попытался было скрасить и рассеять мое одиночество, но я послала его ко всем чертям. Вежливо, разумеется. На мои осторожные вопросы об Анхо Мак и Берш отвечали нечто туманное и невразумительное. Я пыталась заставить себя не думать о столь невежливо исчезнувшем кавалере, но это было не так-то просто. Мне припоминались наши встречи и разговоры, и я перебирала фразу за фразой в надежде разгадать нечто такое, на что мой прекрасный принц словно бы намекал, но чего никогда не договаривал до конца. Чем больше я думала, тем отчетливей понимала, что я всего-навсего маленький глупенький ребенок, силящийся прочесть взрослую умную книгу, — строчки скачут перед глазами и распадаются на длинные и ужасно непонятные слова. Оставалось лишь надеяться, что Анхо в конце концов вернется и будущее каким-то чудесным образом прояснит смутное настоящее.

В один из таких дней, прогуливаясь в одиночестве по берегу, я вдруг наткнулась на легонькую лодочку, брошенную кем-то на песке. Находка ужасно обрадовала меня: лодочка в точности напоминала ту байдарку, на которой я когда-то училась грести в спортивном клубе «Динамо». Занятия мне нравились, но ездить приходилось далеко, на Речной вокзал, а метро в те времена там еще не построили. От остановки 12-го троллейбуса до пристани нужно было идти через бесконечный пустынный и темный парк. На ногах у меня были черные мальчишеские ботинки с железными крючками для скорейшей шнуровки и черные же в резиночку чулки. Надо полагать, я очень мало напоминала гипсовую пловчиху с веслом, украшавшую вход в парк. Сухие листья, во множестве покрывавшие аллею, шуршали и потрескивали у меня под ногами. Я уверяла маму, что после занятий хожу к остановке вместе с другими девочками,

но это была неправда, другие девочки — все старше меня — никогда не торопились покинуть раздевалку. Со временем мне даже стало казаться, что они специально дожидаются, чтобы я исчезла. Чем ближе надвигалась зима, тем сильнее тянуло ледяным ветром от канала и тем длиннее казалась пустынная аллея. Как-то раз мне почудилось, что за деревьями крадется и прячется чья-то мрачная фигура. После этого я уступила маме, не устававшей повторять, что она не желает получить разрыв сердца из-за какой-то дурацкой гребли, и оставила секцию.

И вот теперь мне представлялась замечательная возможность продолжить занятия. Тренера здесь, правда, не было, зато никто не ограничивал часы тренировок. Никто. Усаживаясь в лодку, я подумала о том, что непременно разыщу островок, на котором мы побывали с Анхо. Возможно, мне следовало быть немножко умнее и осторожнее, но меня охватила жажда приключений. Уже потом, после всего, что мне пришлось пережить в тот день, я кое-что обдумала и заподозрила, что лодчонка была брошена на берегу не совсем случайно.

Поначалу все шло хорошо, и я была почти счастлива. Дул легкий ветерок, лодка неслась по волнам, небоскреб отодвигался прочь, и вскоре на горизонте остался торчать один только шпиль. Но тут налетел девятый вал и едва не перевернул мое хрупкое суденышко. Ничего страшного не произошло, однако я поняла, что плавать по морю — это не то же самое, что бороздить недвижные воды Химкинского водохранилища или канала имени Москвы. Остров скрылся из виду, солнце палило все сильнее, и только тут я спохватилась, что по глупости и легкомыслию даже не захватила с собой воды. Сколько я ни налегала на весла, берег не обнаруживался. По солнцу можно было определить север и юг, но толку от этого было мало. Утомившись в конце концов и отчаявшись, я вытащила весла из воды и отдалась на волю зловредной стихии.

Я лежала на дне лодки, страдала от жары и от жажды и уже не надеялась когда-нибудь снова увидеть мою милую Муську. Под вечер я, кажется, задремала. Громадные черные птицы кружили надо мной, но я даже не старалась угадать, происходит это во сне или наяву. В какой-то момент я, надо полагать, приподнялась в лодке, потому что вдруг заметила мчащийся мне наперерез парусник. А потом я увидела Анхо. Не знаю, как он

обнаружил мою лодочку в морских просторах. Наверно, это было не легче, чем отыскать иголку в стоге сена.

— Кстати, об иголке,— пробормотала я, с трудом ворочая распухшим языком.— Я как раз собиралась попросить тебя... У меня нет иголки...

— Это то, что тебя в данный момент больше всего волнует?— спросил он, прикладывая свою прохладную ладонь к моему пылающему лбу.

Я попыталась что-то объяснить, но он не стал слушать и перетащил меня на парусник.

— А лодка?— заволновалась я.

— Про лодку забудь. С лодкой покончено раз и навсегда.

— Ну почему же?— пролепетала я.— Ничего особенного не случилось...— Но тут силы окончательно меня покинули.

Очнулась я возле большого камня, из-под которого выбивался игривый ручеек. Вода оказалась прохладной и чуть сладковатой, я с великим наслаждением пила ее, потом умыла лицо и руки и понемножку пришла в себя.

— Жалко,— сказала я,— что тут нет какой-нибудь бутылки— такая вкусная вода, можно было бы набрать.

Анхо надавил на одну из многочисленных кнопочек на своих часах, и на камне возле наших ног тотчас возникла серебряная фляга, изукрашенная чеканкой и даже инкрустированная чем-то вроде топазов или изумрудов. Он вытащил из фляги пробку, понюхал, поморщился и принялся полоскать посудину в ручье.

— Знаешь, кому она принадлежала?— спросил он.

— Какому-нибудь разбойнику. Или пирату.

— Пират— тоже разбойник, только морской,— уточнил мой спаситель.— Но в общем, ты угадала, эта фляга— подарок королевы Элизабет Френсису Дрейку.

— Ишь ты!— сказала я.— Насколько мне помнится, Дрейк не остался в долгу перед Ее величеством и привез ей из плаванья кой-какие сувениры.

— Возможно,— согласился Анхо.— Но скажи, пожалуйста, откуда ты узнала, что фляга принадлежала пирату?

— Угадала по запаху рома.

Он бросил на меня неодобрительный взгляд.

— Вы что же, тоже имели обыкновение тянуть эту гадость?

— Изредка,— успокоила я.— Анхо, откуда вы извлекаете все эти вещи?

— Как откуда? — Наивность моего вопроса явно изумила его.— Из памяти.

— Какой памяти?

— Главного хранителя.

— Это что же, что-то вроде компьютера?

— Приблизительно.

— Ты хочешь сказать, что компьютер преобразует свою память в материальные предметы?

— Ну, разумеется. Что тут странного? Пространство наполнено энергией. А всякую энергию можно превратить в массу. В памяти главного хранителя имеются характеристики всех вещей, какие когда-либо существовали на свете. Почти всех. Достаточно набрать код, и соответствующий предмет будет воплощен. Появится та вещь, которую нам вздумалось заказать. Если же она более не требуется, нажимаем кнопку «убрать», и происходит обратное превращение — массы в энергию.

— Превращать массу в энергию мы тоже умели,— сказала я.— Но не столь элегантно. Для того, чтобы получить небольшое количество энергии, нам приходилось сжигать массу разной материи. Дров, нефти, угля или еще чего-нибудь в этом роде.

— Ты жила очень давно,— произнес он, как мне показалось, с некоторым сочувствием.

— И ты можешь объяснить мне, как энергия превращается в материю?

— Могу, но не теперь,— сказал он, передавая мне флагу с водой.— Мы должны возвращаться.

— А самого Дрейка тоже можно извлечь из памяти? — поинтересовалась я.

Анхо, кажется, даже испугался, услышав такое предположение,

— Что ты! Во-первых, слишком мало данных, то есть почти никаких, а во-вторых, человек — создание сложное. Какое-нибудь ничтожное отклонение, и получится совершенно иная личность, да еще неизвестно, какая. Боюсь, что это даже в принципе невыполнимая задача.

— Значит, я появилась здесь не с помощью вашего удивительного хранителя?

— Не знаю, как и с какой целью ты здесь появилась,— он бросил на меня укоряющий взгляд,— но могу заверить, что я тут ни при чем. И прошу к этой теме больше не возвращаться. Договорились? — Однако после

некоторого раздумья смягчился и прибавил: — Я думаю, в данном случае имело место перемещение в параллельное пространство. При некоторых параметрах это становится возможным. Не исключено также, что ты прибыла на обыкновенной машине времени.

— Обыкновенной машине времени? — Я рассмеялась. — У вас есть обыкновенная машина времени?

— Была, — уточнил Анхо. — Но после того, как ею стали пользоваться слишком часто и безответственно, Берш решил ее уничтожить.

— Что значит — уничтожить?

— Уничтожить ее характеристику, — пояснил он спокойно.

— Но как же он посмел? Кто ему дал право?

— Никто ему не давал такого права, но он посмел. Полагаю, он все как следует взвесил, прежде чем решился на этот шаг.

— Да он просто бандит, ваш Берш, — сказала я. — Хуже всякого Дрейка.

Мой спутник нахмурился, но промолчал.

— Но если вы ее уничтожили, то это означает, что я уже никогда не смогу вернуться обратно?

— Боюсь, что нет, — сказал он и посмотрел на меня как-то странно. — А ты хочешь вернуться?

Я не ответила. Он помог мне забраться на парусник. Взглянув на берег, который мы только что покинули, я увидела узкую полоску сероватого песка да одинокий тощий куст — ни камня, ни ручейка, ни нежной зелененькой травки не было в помине.

## Ж

На следующий день после этого происшествия Анхо предложил мне поехать к Питенам.

— Каким Питенам? — поинтересовалась я.

— Есть тут одно семейство, — объяснил он, — очень милые люди. Я думаю, они тебе понравятся. Мне так или иначе нужно побывать у них.

— Я и не знала, что кроме вас троих тут проживает кто-то еще.

— Да, кое-кто проживает, — ответил он вполне равнодушно.

Я не имела оснований отказываться от нового знакомства.



Небольшой катерок поджидал нас на берегу, и через каких-нибудь полчаса мы пристали к острову Питенов. Небоскребов здесь не было, а стоял скромный деревянный домик дачного вида. К дому примыкал большой двор, заставленный всякими баками, корытами, ведрами и прочими вместилищами, из которых кормилось и поилось довольно странное зверье.

— Познакомьтесь, пожалуйста,— сказал Анхо, представляя меня хозяевам,— это Ивин, а это...— Тут он, видимо, впервые спохватился, что не знает моего имени, и слегка сконфузился.

Я выручила его:

— Елена.

— Царица Елена!— радостно подхватил хозяин, сухопарый шатен с рыженькими колючими усиками.— Меня лично зовут Тул, Тул Питен. Ваше появление, Елена,— большая честь для нас с супругой.

Он хотел прибавить еще что-то, но его перебили.

— Тул! Он упадет!— завопила Ивин, указывая куда-то в глубь двора.— Я тебе говорила, что тут нужно поставить изгородь!

Тул кинулся выручать из беды какое-то непонятное создание, а я принялась разглядывать черноволосую Ивин. Ее вполне можно было бы назвать красавицей, если бы не пепельно-серый цвет лица. Она заговорила с Анхо, между делом приглубила какую-то козочку с отвислым выменем, отдала новое указание мужу, снова обратилась к Анхо и во все это время не забывала приветливо мне улыбаться.

Я с опаской покосилась на громадного слонопотама, с хрюканьем вылизывавшего остатки какого-то силоса из каменного и несомненно очень древнего саркофага.

— Не бойтесь,— воскликнула Ивин, видимо угадав мои мысли,— они все смирные. Здесь никто никого не ест,— прибавила она с многозначительной улыбкой.

Приглядевшись к животным повнимательнее, я подумала, что для них самих было бы, пожалуй, лучше, если бы они проявили меньше смирения и понемножку друг друга скушали. Отвратительная туша с обвислым животом и лысым задом, хлопая огромными ушами, приблизилась к Анхо и ткнулась ему в плечо. Меня от этого дружелюбия передернуло, но Тул воскликнул радостно:

— Видишь, он тебя помнит! Только, пожалуйста, никаких гостинцев, он и так лопается от обжорства.

Два шарообразных леопарда неторопливо прогуливались невдалеке и блестя, как овечки, а какое-то не поддающееся классификации черное одноглазое чудище упорно раскачивало гигантскую финиковую пальму с пучком пожелтелых листьев на верхушке. Нас пригласили отобедать, но как только мы приблизились к столу, накрытому под навесом возле дома, откуда-то явились три урода с песьими головами и дополнительной парой ног, произраставшей прямо из-под ребер, и уставились на нас глазами, полными тоски и боли.

Хозяйка прикрикнула на них притворно строго и со вздохом пояснила:

— Павловские собаки.

Тул Питен принялся выговаривать Анхо за равнодушные и безразличные и пожаловался на несвоевременную доставку кормов и высокий процент соли в питьевой воде.

— Нужно же учитывать их состояние,— произнес он с некоторой, я бы сказала, торжественностью, но тут же вынужден был нагнуться, чтобы успеть выдернуть собственный шлепанец из пасти серой сороконожки размером со среднего крокодила.

— Если бы речь шла о нас самих,— поддержала Ивин мужа,— поверь, мы бы не подымали этого вопроса.

— Вы своей небрежностью и равнодушием сводите на нет все наши усилия,— кипятился Питен.— Для чего мы их лечим и выхаживаем, если они обречены погибать от жажды и голода!

— Ну, Тул, это уж ты хватил! — попытался защищаться Анхо.— Голод тут никому не грозит.

— А я говорю, грозит! — не унимался Тул.— Не оттого, что нет, а оттого, что всем на все наплевать.

— Мы делаем все, что от нас зависит,— промямлил Анхо.— И вообще, по-моему, они выглядят совсем неплохо.

— Да, но чего это нам стоит! — вздохнула Ивин.

— Я знаю, что вы делаете очень много,— поспешил признать Анхо.— Берш весьма ценит ваши усилия.

— Ценит! Ни разу не приехал хотя бы взглянуть.

— Между прочим, на прошлой неделе в течение двух часов вообще не было подачи энергии,— вспомнил Тул.— А когда Боза перегрелась на солнце, невозможно было связаться с амбулаторией.

— Я об этом не знал,— сказал Анхо.

— Действительно, откуда вам знать! — хмыкнула Ивин.

— Заперлись там в своей башне из слоновой кости и не высовываются.

— Не забывай, что нас мало, а дел пропасть,— вздохнул Анхо.

Мне вдруг показалось, что я сижу в своем издательстве на очередном совещании.

— Когда что-нибудь не ладится,— продолжала Ивин,— вы этого даже не замечаете. За все отдуваемся мы.

— Мы стараемся делать все, что в наших силах,— уверял Анхо.

— А вот взяли бы царицу в штат,— заметил Тул, кивая в мою сторону. Полушутливый-полуворчливый тон позволял счесть это предложение шуткой.— Если сами уж никак не справляетесь.

Анхо не ответил ему, но взглянул на меня так, словно и вправду прикидывал, смогу ли я сгодиться для какого-нибудь такого дела. Тут за стеной послышался писк, Ивин вскочила и бросилась в дом. Через минуту она выкатила под навес детскую коляску. Я ожидала увидеть в колясочке маленького Питена, но из-под тюлевой накидки выглянула обезьянка с перевязанной головкой.

— Дика проснулась,— запричитала Ивин нараспев,— Дикочка хочет кушать. Сейчас мамочка сделает Дикочке кашку.

Воспитанница не пожелала дожидаться кашки и, вспрыгнув на стол, стала лакомиться всем, что попадалось под руку. Отведав от всех блюд и немного поскакав между тарелок, она ухватила за вазочку с вареньем, повертела ее в передних лапках, понюхала, а потом — довольно ловко и неожиданно — запустила в меня.

— Дикочка! — воскликнула мадам Питен.— Это что такое? Разве можно так себя вести? Ей уже лучше,— прибавила она радостно.— Вчера она пластом лежала.

Анхо, видимо, почувствовал, что пора завершать наш визит. На прощанье супруги взяли с него обещание выполнить все обязательства и не исчезать надолго. Меня Питены тоже пригласили заглядывать при случае. Наконец мы с Анхо спустились к берегу. На катере я содрала с себя измазанное вареньем платье и швырнула его в воду. Анхо насупился.

— Напрасно ты злишься,— сказал он, приглушив тахтевший мотор.— В сущности, они делают очень важное дело.

— Не сомневаюсь,— ответила я.

— Между прочим, это они вылечили ту кошку, которую ты называешь Муськой.

— Мою Муську? А что с ней было?

— Не знаю, кажется, что-то с позвоночником. Во всяком случае, она выглядела весьма несчастной. Тебе холодно,— заметил он,— возьми плед.— Он указал на деревянный ящик, притороченный к стене каюты.

Я подняла крышку и увидела внутри спасательный круг.

— Здесь нет никакого пледа,— сказала я.

— Не может быть.— Он наклонился, пошарил в ящике рукой и вытащил клетчатый шерстяной плед.— Ты просто не умеешь искать.

— Слушай,— вздохнула я,— о каких это перебоях он говорил? Я думала, тут все налажено идеально.

— А, чепуха! Что-нибудь напутали в спешке, а сваливают на программу. Но я предпочитаю с ними не спорить. К тому же, мне кажется, трудности вдохновляют их на новые подвиги. Когда все идет легко и гладко, человек начинает хандрить, не так ли?

— Следует ли понимать это так, что вы умышленно создаете трудности?

— Ни в коем случае! Что ты, это было бы нечестно. И вообще, не думаю, чтобы мы оказались способны создавать трудности,— признался он после некоторого размышления,— трудности требуют программы более сложной, чем обычная.

## XI

После нашей не слишком увлекательной экскурсии в зоопарк Питенов потянулись совсем тоскливые дни. Анхо, правда, пару раз приглашал меня сопровождать его в поездках, цель которых так и осталась мне неизвестной, но был хмур и неразговорчив. Мы побывали на нескольких крошечных необитаемых островках, но вместо того, чтобы погулять по берегу или посидеть на травке, производили какие-то бесконечные замеры и таскались с места на место с рулеткой и мензулой. Временами мне начинало казаться, что Анхо попросту тяготится моим присутствием. При других обстоятельствах я бы, наверно, предпочла поставить все точки над «i», но тут не приходилось особенно привередничать. Спасибо и на том, что хоть иногда вспоминает про мое существование.

Берша я не видела вовсе, а Мак вел себя достаточно подозрительно. Он мало того, что был подчеркнуто любезен со мной, но еще начал вдруг следить за своей внешностью и одеваться, как истый денди. Штаны и куртка из грубого полотна, которые, надо заметить, не так уж плохо сидели на его приземистой и кряжистой фигуре, сменились брюками из темно-синей ткани с «искрой» и франтоватой белой рубашкой с кружевами на груди. Меня эта метаморфоза насторожила, и я старалась держаться подчеркнуто сухо.

Однажды я случайно увидела его поднимающимся по лестнице. На нем был светло-серый костюм из дорогой шерсти, и в руке он держал толстый черный портфель — ни дать ни взять крупный чиновник, поспешающий на прием к министру. Только длинные тощие патлы, перехваченные на затылке синим шнурком, как-то не соответствовали задуманному образу. Я стояла в глубине коридора, и он, судя по всему, меня не заметил. Когда он скрылся за поворотом площадки, я попробовала разведать, куда это и зачем он держит путь. Но он исчез, как в воду провалился — вестибюли по обе стороны лестницы оказались пусты и комнаты за ними тоже.

Я рассказала об этой встрече Анхо, но он лишь возмутился моим любопытством.

— Как хочется, так и одевается. Тебе-то что за дело?

— Действительно, какое мне дело до того, что тут происходит. Мое дело сидеть и никуда не соваться. Я для вас являюсь чем-то вроде подопечных Питена, мне ничего не полагается знать.

— А что тут может происходить? — отмахнулся он устало. — Ничего такого, о чем бы стоило говорить. И потом, учти — тебе не идет сердиться. Когда ты сердисься, ты становишься похожа на Бозу. Правда.

— Ну что же, тебе виднее, — сказала я, поклявшись в душе никогда больше не иметь с ним никаких дел.

Дня два он не показывался вовсе, а потом подкараулил меня возле лифта.

— Знаешь, что я хочу тебе сказать? — спросил он с той лучезарной улыбкой, против которой так трудно было устоять.

Я уже не удивлялась внезапным перепадам его настроения — то мрачное безмолвие, то нежное внимание — Признаться честно, — продолжал он, — я давно собирался поговорить об этом: не хочешь ли принять участие в нашей работе?

Это было неожиданное, но весьма заманчивое предложение.

— Какой именно? — спросила я.

— Видишь ли, это не так просто объяснить. Но я постараюсь постепенно ввести тебя в курс дела. Если ты не против, разумеется.

Я не знала, что ответить.

У тебя удивительные глаза, — проговорил он, воспользовавшись моим замешательством.

Я полагала, что у меня глаза как раз самые обыкновенные, а удивительные, наоборот, у него, но промолчала.

— Ты напоминаешь мне одну прекрасную даму. Хочешь покажу?

Из гордости я слегка помедлила, но потом все же последовала за ним. Мы вошли в лифт, но, к моему великому изумлению, вместо того, чтобы подниматься, стали опускаться вниз.

Оказалось, что это только на поверхности наш небоскреб необитаем и нелеп, его подземная часть была прекрасна и полна жизни — правда, жизни, канувшей в Лету. Анхо подвел меня к картине, которой мне никогда не довелось видеть в подлиннике, но которая наверняка занимает первое место в мире по числу репродукций. Я поблагодарила его за комплимент. Вокруг во все стороны тянулись бесчисленные залы, увешанные неподражаемыми шедеврами несравненных мастеров.

— Что же это такое? — проговорила я, совершенно потрясенная. — Выходит, я целую вечность провела в этом вашем чертовом царстве, даже не подозревая, какие тут скрыты сокровища! И ты мне ничего не сказал, не обмолвился ни единым словом!

— Ну уж, вечность! — возразил он спокойно. Ты провела тут только половину вечности, вторая половина у тебя еще впереди.

— Да что ты понимаешь! — возмутилась я. — Я едва не сошла с ума от безделья, едва не подохла от тоски...

Он рассмеялся.

— Во-первых, откуда я мог знать, что тебе неизвестно о существовании Музея, а во-вторых, как я мог догадаться, что он тебя интересует? А чем же, по-твоему, мы тут занимаемся?

— Откуда мне знать, чем вы занимаетесь! Вы никогда ничего мне не говорите!

— Мы собираем произведения искусства и ограждаем их от тлена. Между прочим, тут есть и библиотека, можем заглянуть.

Мы спустились еще на один этаж.

Книги в библиотеке располагались в хронологическом порядке. Первыми на громадных вращающихся стендах были представлены каменные плиты с выбитыми на них иероглифами, далее следовали плоскости с клинописью, потом бесчисленные глиняные таблицы, деревянные доски, папирусы, пергаменты, свитки, манускрипты, лицевые рукописи, летописи и фолианты, испещренные буквами и знаками всех видов и размеров. Часа через два мы добрались до изделий Иоганна Гутенберга, а в четырехста тридцать первом зале я наконец увидела знакомую кириллицу. Я весьма порадовалась, найдя пушкинские рукописи и еще кой-какие редкие книжки, а потом, из чистого любопытства, пожелала узнать, увидела ли свет та повесть, из-за которой так беспокоилась Ирина Константиновна. Да, повесть была опубликована, правда, с некоторыми сокращениями и изменениями (в сущности, незначительными), но что поразительно, тут же, в том же номере оказалась опубликованной и моя несчастная рецензия — несколько колонок мелким шрифтом. В глаза мне бросились знакомые дурацкие фразы: «С большим гражданским мужеством...», «Тонкое чутье истинного художника...» т. п. Но что было вовсе необъяснимо — даже опечатка оказалась на месте: «трудеников» вместо «тружеников».

— Как она сюда попала? — спросила я, чувствуя, что заливаюсь краской досады и стыда.

— А куда она должна была попасть? Все правильно: Россия, двадцатый век.

— При чем тут Россия! Это закрытая рецензия, вовсе не предназначавшаяся для печати и не имеющая ни малейшего отношения ни к какой литературе!

— Не знаю, — сказал он. — Я в этом не разбираюсь.

— Это просто глупо — хранить такую чушь.

— Какая разница? Мы храним все. Если бы мы начали проводить ревизию материалов, боюсь, что ни один из нас уже никогда отсюда не выбрался бы.

— Уверяю тебя, она не представляет интереса даже для специалистов!

Он пожал плечами.

— Ее нужно уничтожить!

— Это невозможно.

— Почему?

— Все, что здесь находится, подлежит хранению, а не уничтожению.

— Но ведь я же автор! Я имею право распоряжаться своим произведением.

— До известных предѐлов,— отвечал он столь же невозмутимо.— После того, как произведение было напечатано, оно становится достоянием общества.

— Я не давала своего согласия на публикацию! Это недоразумение.

— Боюсь, что теперь ты уже не сумеешь этого доказать. И потом, говоря откровенно, я не вижу ни малейшей причины для беспокойства. Чем она тебе мешает, эта рецензия?

— Всем! — сказала я. — Неужели ты не понимаешь?

Нет, он не понимал. А может, нарочно дразнил меня.

— Некоторые даже радуются, когда находят тут свои сочинения. Если эта рецензия тебе так противна, зачем же ты ее писала?

Я не стала объяснять ему этого.

Вернувшись в библиотеку поздно ночью и уже без провожатых, я вытащила проклятый журнал, выдрала листок с рецензией, изорвала ее в клочки и клочки утопила в море. Но как и следовало ожидать, поутру она возродилась на том же самом месте и в том же самом виде, как и была. Проклятый хранитель заметил недостачу и компенсировал ее. Более того, для верности он присовокупил к печатному тексту и машинописные листы. Бороться с ним следовало какими-то иными методами.

Я решила обратиться за помощью к Маку. Мне почему-то показалось, что именно в этом деле он с радостью мне поспособствует. Но я ошиблась.

— Зря переживаете, дорогая,— сказал он,— это такой пустяк. Клянусь вам, никто никогда в этот журнал не заглядывал и не заглянет. Идите на пляж, купайтесь,



плавайте, загорайте, наслаждайтесь морским прибоем и лунным светом и забудьте обо всех этих глупостях. Поверьте, я желаю вам одного только добра.

Мне пришлось последовать его совету, но все-таки большую часть времени я с этих пор проводила в библиотеке.

## ХП

Чтение книжек натолкнуло меня на некоторые размышления, которые, дабы не позабыть, требовалось записать. Проблему бумаги я решила просто: вытащила с полок несколько сборников кратко-звучных поэтов, что-то вроде:

Так уж, видно, пришлось,  
Так намстилось,  
Что одна ты двоим  
В жизни встретишься,

и стала писать на любезно не занятых полях. А ручку я выпросила у Анхо. Можно даже сказать, выманила хитростью. Поначалу он наотрез отказывался с нею расстаться и заявил, что писать тут не положено.

— Не положено? — сказала я. — Как же так — я собственными глазами видела, как вы пишете — и Мак, и ты, и Берш. А если не положено, то зачем тебе ручка? Или это только мне не положено?

Он неожиданно сдался.

— Хорошо, давай меняться.

— На что?

— На прядь твоих волос.

— Зачем тебе мои волосы?

— Ну, это уж мое дело. Только имей в виду, они больше не вырастут.

— Тем лучше, — сказала я, — легче будет причесываться.

Итак, сделка состоялась — он получил мой локон, а я вечное перо.

Но тут обнаружилось еще одно затруднение: на вид и на ощупь бумага в здешних книгах была самой обыкновенной, но ручка скользила по ней, как по стеклу. Однако счастливый случай помог справиться и с этим. Однажды я вытащила на пляж шестой том сочинений Алексея Толстого и как-то незаметно задремала за чтением «Хмурого утра». Книга провалялась некоторое время

на солнышке — сквозь сон я слышала, как легкий ветерок трепал страницы, — защитный слой, как видно, не выдержал воздушной ванны и растворился — писать меж строк стало легко и удобно. Ободренная этим подарком судьбы, я надумала заняться каким-нибудь серьезным исследованием, например, проследить, насколько советская газетная идеология и терминология повлияли на изыскную словесность.

Пишут Сталину письма колхозы  
О победе своей трудовой.

Ты революция моя.  
Ты совесть будишь.  
И ложно счастлив,  
Кто тобой не жил.

Да разве дореволюционным поэтам было доступно такое социальное постижение? Разве владели они столь передовой формой стихосложения?

И только дышат домны, как вулканы.

Много, много всего, и все одно другого замечательнее.

Собравшие крышу КамАЗа  
семьдесят национальностей,  
вы крепко наобнимались  
и крепко нацеловались там.

Там — БАМ, враз — КамАЗ. До чего ж душевная песня...

Мы биографию слагаем  
Не для себя.

Нам нипочем такие рифмы  
и разухабистость стиха.  
Во всем опередили их мы,  
и нам теперь на них начхать!

Когда поэзия смежается с декретом...

Обложившись печатной продукцией обоих указанных видов, я строчила страницу за страницей и даже натерла, как когда-то в детстве, мозоль на пальце. Анхо заглянул в библиотеку и с печальным удивлением понаблюдал за моими занятиями. Видимо, решив, что я слишком уж злоупотребляю доступностью и обилием источников, он предложил мне сделать перерыв и прогуляться. Я выдержала характер и не пошла, но, конечно, как только он удалился, пожалела о своей суровости.

А потом появился Мак. Не говоря ни слова, минут пять топтался у меня за спиной, пока я наконец не выдержала и не спросила:

— Мак, вы хотите мне что-то сказать?

— Да нет, так, смотрю, — вздохнул он. — Все пишем, пишем, а зачем — неизвестно.

— Мы пишем не «зачем», а «потому что», — сказала я.

— Не понимаю, — буркнул он.

— Пишем, потому что этого требует наша душа.

— Вот как! Ну что же. Это, видимо, слишком сложно для меня. Не смею препятствовать, но должен заметить: старания ваши абсолютно напрасны — что бы вы тут ни настроили, никто никогда этого не увидит и не прочтет.

— Все-то ты знаешь, Мак, — ответила я с некоторой досадой, но, обернувшись, еле удержалась от смеха — его плотненькую фигуру туго обтягивал василькового цвета спортивный костюмчик. — А вдруг ты как раз ошибаешься, вдруг мои сочинения получают мировую известность?

— Исключено, — заявил он решительно.

— Теоретически — не исключено.

— Даже теоретически исключено.

— Чем же ты предлагаешь мне заняться?

— Лучше всего ничем. Но если вашей душе так уж необходимо парить над изящными искусствами, что ж, извольте, поизучайте себе на здоровье экспонаты, представленные в этих залах: амфоры всякие, арфы, короны, шкатулки, задравные кубки и прочие творения человеческого прилежания. Кстати, вы видели это собрание — дары персидского шаха его любимой наложнице? Нет? Много прелестных безделушек. Если пожелаете, можно снять копию. Ожерелья, диадемы... И наконец, почему бы нам не посмотреть какой-нибудь хорошенький фильмик? Как вы, например, относитесь к Бриджит Бардо? Не восхищает? Тогда Марчелло Мاستрояни? Тоже не годится? Может, предпочитаете отечественных артистов? Аркадий Райкин! Большой талант, потрясающий! И недостатки раскрывает. Что, опять не подходит? Вы, дорогая, твердый орешек. — Он подтащил к себе стул и со вздохом плюхнулся на него верхом. — Что еще? Каких еще изумрудов я перед вам не раскидывал? Каких товаров не раскладывал? Я знаю! — воскликнул он вдруг, радостно вскакивая. — Возьмем те же книжечки, но книжечки не простые, а золотые. Зачем нам себя ограничивать? Почему бы не заглянуть, к примеру, в грядущий двадцать первый век? Ну как, а?

— Тогда уж в конце двадцатого,— сказала я.

— Как угодно, как угодно! — Он даже запел от удовольствия. — Вперед, звезде навстречу! Можете все это оставить здесь,— он указал небрежным жестом на мои записи.

— Спасибо, но я думаю, предусмотрительнее будет взять их с собой.

— Как угодно,— буркнул он, устремляясь в боковой отсек зала.

Мы подошли к низенькой двери, кое-как, наспех и при явном недостатке краски, вымазанной в белый цвет. Из-под серых разводов проступал темный старинный лак. Мак извлек из кармана громадную связку ключей и принялся по очереди пихать их в скважину. Ни один из ключей не подходил к замку. Я понаблюдала минуту-другую за его возней, а потом высказала все, что думала по поводу этого вовсе не остроумного розыгрыша.

— Какие розыгрыши! — пропищал он гневно. — Кому тут интересно с вами разыгрываться! Это все из-за вашей проклятой писанины! Не понимаю, зачем Анхо ввел вас в библиотеку! Вас никуда нельзя допускать. За что бы вы ни взялись, все оборачивается одними сплошными неприятностями. Можно читать, можно штудировать, но зачем выписывать и комментировать? Произведения классиков, вы меня извините, не обойдутся без ваших толкований? Литературоведенье оскудеет без ваших открытий? Обернитесь, уважаемая, бросьте взгляд по сторонам — видите? — несметные сокровища духа, многопудье мыслей. И после этого всего вы надеетесь удивить кого-то своими жалкими рассуждениями?

— Минуточку, Мак, минуточку! — перебила я. — А кто недавно говорил, что каждая буква священна и неприкосновенна? Кто отказался уничтожить мою жалкую и никому не нужную рецензию?

Он почувствовал, что слегка запутался.

— Ну, это в некотором смысле не совсем то же самое... То, что было сделано до нас и без нас, нас не касается. Мы за это не отвечаем. Но если вы по-прежнему настаиваете, я согласен — согласен! Да, представьте себе, согласен. Я стираю из памяти хранителя и человечества вашу дрянную рецензию, а вы за это обязуетесь никогда больше не писать ни единой строки.

— Ну, нет, Мак, нетушки! Пускай уж дрянная рецензия остается.

— Нет, вы подумайте! — Он воздел руки вместе с ключами и в отчаянье потряс ими. Звон и дребезжание

разнеслись по залам.— Ну что за блажь, что за упрямство! В полном расцвете лет превратиться в архивную крысу! И что за радость, в конце концов, изучать и цитировать этих графоманов, этих Фединых и Фадеевых! Неужели они вам еще не надоели? Я думал, вы ими сыты по горло!

— Что поделаешь, Мак, каждому свое. И потом, кто вам сказал, что они графоманы? Они по-своему даже талантливы. Вот, послушайте. — Я вытащила из сумочки несколько листков.— «Тихое и смутное утро, когда воздух кажется как бы припудренным остатками еще не вполне развеянного тумана и свет еще словно не пересилил недавнюю мглу...»

— Ну, знаете,— воскликнул он,— сочинить две-три красивые фразы может любой!

— А вот еще: «Сильно пахли листья и травы...»

— Да что же это такое! — завопил он.— Не хватает только, чтобы она прочитала мне лекцию о советской литературе!

— Во всяком явлении следует разобраться,— заметила я назидательно.

— Там надо было разбираться, там, у себя! Там и тогда! Там, уважаемая, и писали бы, и изучали, и размышляли, и сравнивали. А здесь и теперь — извините!

— Там у меня не было соответствующих условий,— сказала я, убирая листы обратно в сумку,— а здесь я надеюсь хотя бы отчасти наверстать упущенное.

— Не надейтесь, ничего вы не наверстаете! — Он в сердцах топнул ножкой, а потом еще пнул для убедительности какой-то стенд.

— А чем вам, собственно, так уж мешает моя писанина?

— Чем мешает? Всем! И не одна только писанина! Все прочие выдумки тоже не менее хороши!

— Какие выдумки?

— Какие? Кто отодрал обложку с испанского платья? Кто проковырял дыры в семидесяти шести ракушках? Кто смастерил бумажного змея из произведений писателя Всеволода Кочетова? Кто разукрасил стену в коридоре мерзкими рожами?

— Рожи как рожи,— возразила я, стараясь не показывать своей обиды.— Из ракушек я сделала ожерелье. А платье пришлось укоротить, потому что оно путалось в ногах...

— У прошлой владелицы оно нигде не путалось!

Это было интересное замечание, но я пропустила его мимо ушей.

— К тому же, оборку я не выбросила,— заметила я в свое оправдание,— а использую в качестве ленты.

— Сказали бы, что вам нужна лента, вам предложили бы любую на выбор!

— Сказала бы! Да у вас обыкновенной иглы не допросишься!

— Это еще не причина портить вещи!

— Извини, Мак, но я не понимаю — откуда вдруг эта странная скупость? У вас тут этих испанских платяев — как собак нерезанных.

— Что за стиль, что за выражения.— Он брезгливо поморщился.— Дело, моя милая, вовсе не в скупости! Посмотрите, оглянитесь по сторонам — все раскидано, разбросано, в доме черт ногу сломит! А на пляже, а в ро-ще? Ступить некуда от изувеченных вами предметов — тут разбитая тарелка, там разорванная рубаша, везде клочки бумаг, мусор, грязь, в море плавают крышка от журнального столика!

— Ну, так прикажите вашему замечательному компьютеру организовать уборку.

— Если бы это можно было убрать, поверьте, мы давно убрали бы и без ваших советов. Вы, как видно, не понимаете, что своими дурацкими фокусами изменяете суть вещей! Компьютер их больше не узнает. Ключи не подходят к замкам, а ракушки к улиткам! Нужно составлять новые характеристики, а кто этим будет заниматься? Мы и так завалены работой по горло!

— Ну, Мак,— произнесла я миролюбиво.— Честное слово, я не знала, что это столь серьезно и сложно. Вы никогда ничего мне толком не объясняете. От этого все беды. Сказали бы раньше, я постаралась бы вести себя осторожней. Не расстраивайся, я обещаю исправиться.

— Исправиться! — фыркнул он.— У вас, дорогая, редкостный талант делать именно то, чего не требуется! Вам, видимо, и в голову не приходит, что нарушается статус-кво. Вам на это наплевать!

— Нет, почему же,— пробормотала я,— совсем не наплевать.

### ХІІІ

Он наконец удалился, но настроение у меня было испорчено и никакая работа не лезла больше в голову. Я покинула библиотеку и на следующий день с утра

взялась за уборку. По правде сказать, я сама не ожидала, что наберется такая гора мусора. Мак в общем-то был прав,— я порядочно засвинаячила дом и его окрестности. Теперь, видимо, имелся только один способ избавиться от всей этой дряни — разложить костер и сжечь то, что могло гореть. А негорючие материалы закопать в песок. Спичек в этом сверхцивилизованном мире, конечно, не было, но я нашла выход из положения: разбила флакон с духами и осколок использовала в качестве лупы. Пригодился-таки былой туристский опыт! Пришлось, конечно, изрядно помучиться, прежде чем солнечные лучи сфокусировались как надо на жгутике, скрученном из туалетной бумаги, но, как любила говорить моя мама,— терпение и труд все перетрут. В конце концов бумажный трут занялся крошечным трепетным огоньком. Дабы избежать всяких неожиданностей и непредвиденных осложнений, я разложила свой костер на пляже, почти у самой воды.

Мне казалось, что я приняла все необходимые меры предосторожности. Огонь никоим образом не мог перекинуться отсюда ни к дому, ни в рошу. Для пущей безопасности я даже соорудила вокруг груды предназначенного к ликвидации барахла песчаный валик. Поначалу все шло хорошо — пламя разгорелось, и я с удовольствием наблюдала за его веселым трепетом. Но дальше начало твориться нечто странное: песок возле костра вдруг стал темнеть и потрескивать. Я постаралась убедить себя, что это всего-навсего сажа, но невольно засомневалась — откуда же такое количество сажи?.. Неужели это какой-то горючий песок? Через секунду песчаный валик украсился сиреневым венцом огня, костер вспыхнул неестественно ярко и в следующее мгновение с треском провалился куда-то в тар-тарары — ухнул в глубь открывшейся под ним пропасти. Я заглянула в образовавшееся отверстие — пламя рассыпалось широким пылающим веером и, рассыпаясь (так мне во всяком случае почудилось), сложилось в два отчетливых слова: «Красный уголок».

— Что за чушь!.. — пробормотала я, в испуге отступая от края пропасти.

Буквы побледнели и истончились на лету. От костра ничего не осталось, только в желтой полосе берега чернел теперь узкий кратер — вход в непроглядную и неудобную

тьму. Выглядело это так, будто кто-то проткнул пляж насквозь гигантской палкой.

— Аварийное состояние! — провизжал надо мной чей-то голос, не то Берша, не то Мака. — Сократить радиус!

Я глянула по сторонам, но никого не увидела.

— Удалить продукты распада! — командовал голос, срываясь и дребезжа. — Задраить края отверстия!

Дырка начала потихоньку затягиваться и наконец сомкнулась.

— Где она? — спросил другой голос, показавшийся мне совершенно незнакомым.

— В квадрате двадцать шесть — девять, — ответил первый голос.

— Чтоб ей пусто было вместе со всеми ее начинаниями! — Теперь это точно был Берш.

— Я не виновата, — пробормотала я, отряхиваясь от пепла и сажи. — Это все оттого, что вы никогда ничего не желаете объяснить по-человечески. Откуда я могла знать?

Расстроенная и несчастная, я поплелась к небоскребу и вдруг заметила, что он как будто сделался ниже и уже. «Видимая часть должна соответствовать скрытой», — вспомнила я слова Анхо и не на шутку испугалась. Но моя комната не пострадала, все вещи находились на своих местах, и Муська по-прежнему валялась на одеяле. Я взяла ее на руки и принялась жаловаться на свою злосчастную судьбу.

— Как ты думаешь, что они теперь со мной сделают?

Она замурлыкала в ответ.

«Ладно, — подумала я. — Чему быть, того не миновать. Может, еще как-нибудь обойдется».

Под вечер меня навестил Анхо. От него пахло гарью, и выглядел он сумрачно. Усевшись в кресло, он долго молчал.

— Может, выпьем чего-нибудь? — предложила я, пытаясь завязать разговор.

— Зачем?

— Ну как, зачем? Для поднятия настроения. Ну, в самом деле, Анхо, кончай злиться. Я тут совершенно ни при чем. У меня были благие намеренья. Мак потребовал, чтобы я навела порядок в имении, именно это я и пыта-



лась сделать. Откуда мне было знать? Я думала, тут все как у людей... Так я, во всяком случае, поняла из ваших слов. Поди догадайся, что это всего-навсего какая-то легко воспламеняющаяся декорация.

— Послушай,— проговорил он негромко.— Не хочешь ли ты вернуться обратно?

— Обратно? Что значит — обратно?

— Обратно в свое время.

— Но ты сам говорил, что это невозможно...

— Допустим, мы найдем способ.

— Нет, это все равно невозможно!

— Почему же?

— Ты полагаешь, что после всего, что я тут узнала и увидела, я могу как ни в чем не бывало вернуться в свое издательство?

— Никто ничего не заметит,— заверил он.— Ты появишься там в тот же самый день. Вернее, в ту же самую ночь.

— Дело не в этом...

— А в чем же?

— Неужели это нужно объяснять?..

— По-моему, одно время ты даже мечтала вернуться.

— Может быть. Не исключено, что в какой-то момент и мечтала. Но это была минутная слабость. И вообще, с тех пор многое изменилось.

— Что именно?

— Ты сам знаешь... Мне там нечего делать.

— Нечего делать? Почему? Там, что же, не осталось ничего милого и любезного твоему сердцу?

Милого и любезного моему сердцу?.. Милого и любезного...

#### XIV

Я увидела наш дом и двор, «калитку, сломанный забор...», школу, милых моих подружек, даже некоторых учителей, например, Ивана Федоровича Котяткова, который, кипятясь и стеля, доказывал Вальке Карповой, что нельзя писать: «Татьяна вышла за генерала, потому что Онегин ее не взял». Зачем врать — много было любезного... Каток, кинотеатр «Динамо» — серое бетонное помещение под трибунами стадиона, билет — десять копеек. Иногда удавалось пробраться в зал и вовсе без билета. Фруктовое мороженое за семь копеек. Бутылка красного

вина — это несколько позже, классе в седьмом-восьмом — семьдесят три копейки. Вино мы покупали не столько для себя, сколько для нашего одноклассника и Тамаркиного соседа Юрки Озерцова.

Наши матери работали и не слишком докучали нам своей опекой, поэтому я целыми днями пропадала у Тамары. Юрка пел под гитару. Гитара осталась от отца, летчика, участника Испанских событий. Мы видели его фотографию — она была взята в рамочку под стекло и висела в комнате над буфетом. Юрка был похож на отца — такой же широколицый и глазастый. Но в летчики его не приняли бы. «Не жди меня, мама, хороше́го сына, а жди хулига́на, вора!» Старший Юркин брат, Рудик, кончал строительный техникум, младший, Алик, тихий мальчик и хороший ученик, помогал маме по хозяйству, ходил в магазин и мыл посуду, а Юрка только и делал, что валял дурака да пел песни. Учился он плохо, умудрялся всадить двадцать шесть ошибок в один диктант и даже не подозревал, что кибернетика и генетика — суть буржуазные лженауки, пытающиеся с помощью мухи дрозофилы подорвать передовое мичуринское естествознание. Речи товарища Жданова на съезде писателей Юрка тоже не читал, но, услышав «полумонашка, полублудница», усмехнулся. Помимо «полублудницы-полумонашки» в речи было про обезьяну, и это нам всем понравилось. Иван Федорович, пройдоха, воспользовался предложением и прочел несколько рассказов Зощенко, чтобы мы сами убедились, какая это кошмарная клевета на нашу советскую действительность. Мы проявили несознательность и смеялись.

Юрка то и дело прогуливал уроки. В те часы, когда мать была на работе, старший брат в техникуме, а младший в школе, он запирался в комнате и пел. «Да не сиди с Егоркой до полночи, не то подлец обнять тебя захочет, а как обнимет, куда будешь деваться, пусекай пришлет, подлец, хоть пачку папирос». Мы с Тamarой слушали, расположившись под дверью. Иногда нам удавалось выманить Юрку на кухню. Бутылка вина при этом очень помогала.

Однажды мы тоже прогуляли школу и вместо уроков поехали в Серебряный бор. Какой-то островок, весь заросший кустами и травами, показался нам необитаемым, и мы решили на нем устроиться. Но когда мы пристали к берегу — лодка была взята напрокат, — то увидели Юрку. Он сидел, привалившись спиной к стволу ели, и что-то вырезал перочинным ножиком. «А, это вы!.. — произ-

нес он совершенно равнодушно, нисколько не удивившись нашему внезапному появлению.— Давайте валите отсюда». Во дворе Юрку звали Испанец — но только за глаза, он этого слова не переносил и не желал слышать. «Когда на приiske меня увидите, не называйте прозвище мое!» А Иван Федорович тем временем вел свою подрывную деятельность — читал нам давно не публикуемых поэтов и после каждого стихотворения объяснял, что это, разумеется, плохие стихи. «Разве бывают фиолетовые руки? Кто же строит эмалевые стены? Подумайте только: «На кашалотье туше судьбы — мускул полета, бега, борьбы». Чушь, бред!

Иван Федорович знал много стихов...

Что говорить, у нас было счастливое детство. Но оно постепенно кончилось. В девятнадцать лет, так и не закончив школы и так и не узнав, что Печорин убил на дуэли Грушницкого, Юрка женился на Лариске Галашиной, стукачке и комсомольской активистке из параллельного класса «А». Мы горько оплакивали его глупость, но он верил, что Лариска выведет его на правильную дорогу. С тех пор мы, можно сказать, и не встречались. Наши домики пошли на снос, и все мы получили *жилплощадь*, но в разных районах Москвы. Тамару с матерью переселили в другую коммуналку, тоже в старом, но уже шестнадцатиэтажном доме из красного кирпича. Дом со всех сторон был обвешан железными трубами разных диаметров. Нам с мамой больше повезло — мы получили однокомнатную квартиру в новостройке.

— Отчего же, — откликнулась я не сразу, — много было любезного. Только ведь не осталось ничего. Так что некуда, в общем-то, возвращаться. Это было бы не возвращение, а переселение — неизвестно куда и неизвестно зачем.

— Здесь тебе тоже нечего делать, — произнес он сурово.

— Почему же? — сказала я. — Здесь много интересного...

— Это еще не причина.

— Есть и еще причина. — Я попыталась заглянуть ему в глаза, но он упрямо уставился в пол. — Мне кажется, я люблю тебя... Жаль, что ты предпочитаешь не замечать этого.

— Не говори глупостей,— пресек он мое объяснение.  
— Какие же это глупости...  
— Полюбишь кого-нибудь там, у себя.  
— Кого же, например? Славу Аникина?  
— Не обязательно. У вас там народу полно. Три миллиарда, если не ошибаюсь.  
— Народу много,— согласилась я.— Только все какой-то неподходящий народец...  
— Не говори глупостей,— повторил он в явном раздражении и, помолчав немного, добавил: — Ты уже была однажды замужем.  
— Действительно,— призналась я, подивившись его осведомленности.— Это как-то вылетело у меня из головы.

## XV

Мой муж был симпатичный парень, эдакий славный верзила, похожий на большого лохматого пса. Мы познакомились в туристском походе. Его раскатистый бас донесся вдруг из-за деревьев, вплеся в треск хвороста, отозвался стуком молотка и заставил нас всех обернуться. Дальше мы шли уже вместе. Непослушная рыжая шевелюра, пропахшая хвоей и дымом костра — любовь с первого взгляда. Маршруты и судьбы. Пламя закатов и песни до утра. Нам обоим было по девятнадцать лет. Я перешла на третий курс, а он на второй. Он изучал в своем институте математику и механику. Вернувшись в Москву, мы тут же поженились. Я оставила маму одну в новенькой, чистенькой, еще не очень обжитой квартире, а сама перебралась к мужу.

У них была чудесная громадная комната в большом и красивом старинном доме, такая большая комната, что с помощью шкафа, ширм и занавесок ее разделили на четыре отдельных помещения — светлую уютную столовую; довольно просторную спальню родителей; нашу спальню — темный закуток за шкафом, где помещалась никелированная полуторная кровать и тумбочка, — и прихожую, одновременно являвшуюся и кухонькой, — на общей кухне, длинной, холодной и мрачной, мать моего мужа старалась появляться как можно реже. Я так никогда и не узнала, сколько у нас было соседей. Много, но мы с ними почти не общались. Мы жили замечательно дружно и весело. Моя свекровь была очаровательная

и полная энергии женщина. Она рисовала веселые солнечные картины — букеты полевых цветов или лесные лужайки, которые охотно приобретали клубы и кинотеатры. Иногда она оформляла книжки. У нее была масса знакомых и приятелей, она таскала нас на выставки и объясняла нам разницу между импрессионистами и постимпрессионистами. Свекр, флегматичный лысеющий и полнеющий мужчина, не принимал участия в наших экскурсиях, зато вечерком любил перекинуться в картишки. Мне нравился их образ жизни — нравилось посещение выставок, нравились застольные игры в семейном кругу, нравилась та беззаботность, с которой свекровь выплескивала в раковину вполне еще съедобный суп или делала мне нечаянные подарки: тебе пойдет этот цвет. Я догадывалась, что она зарабатывает чуточку больше, чем, скажем, моя мама, но все-таки не могла не ценить ее щедрости. Про свекра мне было сказано, что он офицер. Я, правда, никогда не видела его в военной форме, но задумываться над подобными пустяками мне было ни к чему. Целых два года я была безмерно и беззаботно счастлива. Но потом блаженное благополучие как-то омрачилось. В случайном разговоре с приятельницей свекрови мне вдруг открылось, что боевые операции, в которых принимает участие мой благодущный свекр, ведутся в печальной славы доме на площади Дзержинского. Я не подала виду, но сообщение смутило, можно даже сказать, ошарашило меня и заставило по-иному взглянуть на колбасу-сервелат и севрюгу, попадавшие к нам на стол из закрытого распределителя. Радостная оживленность свекрови стала казаться мне несколько неприличной и не совсем естественной. А тут еще выяснилось, что моего шумного и общественно-активного супруга собираются отчислить из института за неуспеваемость. Правда, с этой неприятностью свекрови удалось сладить — она побеседовала с деканом и преподнесла студенческому клубу одну из своих радужных картин. В результате моего лопухого мужа не выгнали окончательно, а лишь перевели на вечернее отделение. Мы продолжали быть славной парой, однако что-то уже потускнело и надломилось.

А потом внезапно заболела моя мама. То есть ей давно нездоровилось, но она уверяла, что всему виной усталость и давление. Ей дали месткомовскую путевку в санаторий, но отдых и лечение мало помогли. Забежав однажды домой, я увидела неметенный пол, грязную

посуду в раковине и остатки давнишнего обеда на столе. Я поняла, что дело плохо. Врачи, правда, не спешили произнести окончательный диагноз, оставляя нам слабую надежду, но тем не менее мама слегла и почти не вставала. Я вынуждена была переселиться к ней и позабыла и про выставки, и про картины, и про голубые мундиры. Мой муж, естественно, остался у своих родителей. Изредка он появлялся, но его удручала моя печаль и запах лекарств. Понемногу он еще пытался вытаскивать меня из дому — хоть ненадолго, — но потом оставил в покое. Свекровь, надо отдать ей должное, заезжала регулярно дважды в неделю — как раз в это время у нее появился новенький «москвич» — и привозила продукты, которые некому было съесть. Из вежливости она задерживалась на четверть часа и спрашивала, как у нас идут дела. Но, поскольку дела шли все хуже и хуже, ей с каждым разом становилось все труднее произносить одни и те же слова ободрения. Нет, она не бросила меня в беде. Она устроила маму в больницу, причем очень хорошую. И не ее вина, что больница не помогла. Как сказала одна из маминых соседок по палате — одна из подруг по несчастью, — больница была хорошая, да болезнь плохая. Через пять недель маму выписали в безнадежном состоянии. И это состояние длилось еще четыре безнадежных месяца. Однажды, примерно в середине этого срока, вдруг появился мой муж и, не пожелав зайти в комнату, где лежала мама, увлек меня на кухню.

— Нужно поговорить, — пророкотал он, хмурясь и вздыхая. — Понимаешь, неожиданные обстоятельства: одна девочка, понимаешь... — Он пытался помочь своему нелегкому рассказу красноречивой мимикой, но я отчего-то сделала до ужаса недогадливой. — Понимаешь, все дело в том, что ей еще нет восемнадцати. Родители — сволочи. Отец полковник. Хочет устроить скандал. А мой отец, ты понимаешь... — Он сделал паузу и мотнул лохматой рыжей головой. — Если бы ты согласилась на развод...

Я тут же согласилась. Он даже удивился, что я так быстро и легко сдаю позиции.

— Правда? Ты не против? Только ты не обижайся, ладно? — прибавил он дружески.

Потом он попятился к дверям и удалился. Я посмотрела в окно — он шагал вприпрыжку, бодрый, счастливый и вполне довольный тем, что все так здорово устроилось. Я выскочила на лестницу и помчалась за ним вдогонку. Не может быть, я ошиблась! Я не поняла. Тут

что-то не так. Он не такой. Я пересекла пустырь и успела нагнать его у самого входа в метро. Прохожие с любопытством и неодобрением прислушивались к нашему объяснению. Кто-то даже отпустил злобное замечание, что-то вроде: «Нашли место». Мне хотелось провалиться сквозь землю, и все-таки я продолжала цепляться за него. Я требовала, чтобы он сказал, что это неправда. Он был в отчаянье, умолял меня успокоиться, но не сдавался.

Я поняла, что должна убить его. Убить, растерзать, изничтожить подлое предательство, притаившееся в этом громадном и бестолковом теле. Мне не удалось осуществить это намеренье, но вся сцена сделалась еще ужаснее и безобразнее. К сожалению, в наше время не придавали никакого значения сексуальному воспитанию детей, все свои представления о любви мы черпали исключительно из художественной литературы. У нас перед глазами не было даже примера старшего поколения — наши отцы погибли на фронте, а матери в тридцать лет считали себя старухами. Мы были беспредельно наивны и глупы.

— Кто это был? — спросила мама, когда я наконец вернулась домой. — Алеша? Хотя бы зашел поздороваться...

— Я все знаю, — сказала мне свекровь, когда мы с ней снова увиделись. — Ну что же, если ты считаешь, что так для тебя будет лучше...

Она выглядела расстроенной, и я была ей за это благодарна. Я подумала, что она, видимо, знает не совсем все, но уточнять не стала. Кстати, несмотря ни на что, она помогла мне в дальнейшем устроиться на работу.

— Но потом у тебя были и другие мужчины! — сказал Анхо. Черные молнии полыхали в его янтарных глазах. — Ты что же, хочешь сказать, что ни одного из них не любила?

Я не нашлась, что на это ответить, и отошла к окну. В море покачивалась лодочка, парус трепетал на ветру и клонился на бок.

В самом деле, подумала я, неужели я никогда никого не любила? Как странно...

В лодке, как видно, не было ни души — волны швыря-

ли ее из стороны в сторону, пока наконец не опрокинули совсем.

Я обернулась, собираясь что-то сказать, но комната оказалась пуста.

## XVI

Бывшие соседки заезжали навестить маму, однажды приехала тетя Люда, Тамирина мать, привезла гостинцы — два апельсина и баночку меда, посидела и поговорила о том, о сем, а уходя, вздохнула в прихожей:

— Со снегом отойдет...

Так и вышло — мама умерла в апреле.

А в августе того же года хоронили Тамару.

Гроб был обит красным и полон цветов, из-под цветов виднелось желтое лицо — Тамирино и не Тамирино, — раздувшиеся щеки, обвисший сизый рот. Можно было подумать, что у нее нет сил удерживать губы на месте, и поэтому они оползают и растекаются. Она как будто улыбалась, но нехорошей, неприятной улыбкой. Мертвые лица совсем не похожи на прежние, живые. Так было и с мамой. Сходство, конечно, остается, но лучше бы его не было вовсе.

Без всякой связи со смертью и похоронами, я вдруг увидела плотину — с одной стороны была высокая, недвижная и какая-то удивительно чистая вода, а с другой — сухое глинистое русло с тонюсеньким, почти незаметным ручейком на дне. На том берегу темнел лес. Была ли в Серебряном бору плотина? Скорее всего, нет. Наверно, это было какое-то другое место, далекое и чужое, однажды промелькнувшее перед глазами и тут же позабытое. Возможно, я видела когда-нибудь подобную плотину на картине. Конечно, я бы не отказалась пройти по ней на другой берег, в сторону леса.

Как только наступала весна, мы отправлялись в Серебряный бор. Серебряный бор — чудный, заповедный край... В будние дни там было тихо и безлюдно. Если удавалось раздобыть немного денег, мы брали напрокат лодку. Лодочная станция помещалась рядом с пляжем, и до нее нужно было добираться на пароме, но платить за переезд нам казалось обидным, поэтому мы придумали, что я буду пересекать реку вплавь, а Тамара будет



сидеть и ждать, пока я не вернусь с лодкой. Я плыла, засунув за щеку часы — залог. Без залога лодок не давали. Мы проделывали этот маневр множество раз, но однажды — это было в девятом классе, как раз перед экзаменом по геометрии — на середине реки я вдруг почувствовала ужасную слабость. Я пыталась заставить свои руки и ноги двигаться, но они не слушались. Я еще держалась на воде, но к берегу нисколько не приближалась. И крикнуть я тоже не могла — за щекой у меня были часы. Да если бы и могла, вряд ли кто-нибудь услышал бы мой крик — река была широка и пустынна. Я чувствовала, что вот-вот пойду ко дну. И тут я услышала Юркин голос.

— Держись за плечо, — сказал он.

С великим трудом я вытащила левую руку из воды и ухватила за его плечо. Не знаю, откуда он взялся, но он доставил меня на берег, усадил на песочке и тут же покинул. Я сочла своим долгом предложить ему покататься на лодке, но он только махнул рукой и зашагал прочь. Я посмотрела ему вслед — у него было красивое тело: загорелое и мускулистое.

Вечером мама пощупала мой лоб и определила, что у меня жар. Градусник показал почти сорок, и тогда я догадалась, отчего мне было так тяжело плыть. Врач-старичок из поликлиники осмотрел меня и объявил, что у меня тиф. Но никакого тифа на самом деле не было, я даже пошла назавтра на экзамен и вполне благополучно сдала его.

А потом, в начале осени, судили Алика, Юркиного брата. Как ни странно, районный суд располагался тут же, в нашем дворе. Все, что требуется людям для жизни, каким-то чудесным образом размещалось рядом с нашим домом: галантерейный магазин, школа, ремесленное училище, городская больница, завод, каток, кино, гастроном, парикмахерская, суд и даже загс, в котором можно было зарегистрировать брак или смерть. Алика вместе с двумя одноклассниками — соучастниками преступления — привезли на суд в милицейской машине. Все трое почему-то были в зимних ватных ушанках, хотя на улице было совсем тепло. Преступление было квалифицировано как ограбление со взломом. Трое приятелей от нечего делать взяли да и разбили витрину парикмахерской — находившейся здесь же, в соседнем доме. Возможно, они

даже не имели такого умысла — разбить витрину, но так уж вышло, что она разбилась и все сокровища парикмахерской — бигуди, щетки, флаконы с лаком и одеколоном — оказались у них под носом. На следующий день они бежали по двору и опрыскивали девчонок одеколоном — до тех пор, пока кто-то из старших и более опытных братьев не отнял флакон и не употребил оставшийся одеколон внутрь. Наши мальчики в то время одеколона еще не пили. Потом Алика вместе с обоими друзьями арестовали и несколько месяцев держали в тюрьме, а затем привезли в родной двор судить. Когда после суда их вели обратно к милицейской машине, мы с Тamarой сумели утвердиться на загородке сквера и через головы собравшихся разглядели бледные худые лица и тонкие шеи правонарушителей. Все трое брели молча, не подымая глаз и не узнавая соседей. И так, не глянув ни на друзей, ни на родных, понурясь и сторбившись, они втиснулись в поджидавший их воронок и укатили к месту отбытия наказания. Все получили одинаково — по три года. Люди знающие говорили, что вся беда в том, что им уже исполнилось шестнадцать — если бы не было шестнадцати, то и вовсе не судили бы. Всем казалось странным, что сел тихий и вежливый Алик, а не отбившийся от материнских рук Юрка. Впрочем, Юрка тоже не избежал своей участи, но прежде, чем отправиться в места отдаленные, он успел еще немного погулять на свободе, поиграть на гитаре и даже жениться на Лариске Галашиной. Самое смешное, что и Лариска в конечном счете угодила в лагерь. Во время кампании укрепления торговой сети комсомольскими кадрами ее сделали заведующей бакалейного магазинчика, и она сумела там так отчаянно провороваться, что получила десять лет. Но к тому времени мы все уже покинули наш двор, разлетелись в разные стороны и почти не виделись.

Один раз, правда, я встретила Юрку. Дело было зимой, в сильный мороз. Он шагал куда-то, но, как видно, без ясной цели — поминутно останавливаясь и озираясь. На нем была серая больничная пижама и тапочки-шлепанцы на босу ногу. Завидев меня, он страшно обрадовался.

— Дай рубль! — потребовал он, не тратя времени на приветствия.

— Зачем? — спросила я, стараясь не выказать невольного испуга: он плохо выглядел, лицо посерело, прорезалось морщинами, во рту не хватало зубов. Можно было

подумать, что ему не двадцать шесть лет, а все пятьдесят. — Зачем тебе рубль?

— На бутылку, — ответил он бодро.

— Разве бутылка стоит рубль?

— Политура. Банка — и с закусочкой.

Я спросила, где он живет и чем занимается.

— Лечусь, — отвечал он. — После инфаркта.

— Ты знаешь, что Тамара умерла? — спросила я.

Он, видимо, не знал, но сообщение не сильно взволновало его.

— Все там будем! Дай рубль — помяну.

Я могла бы дать ему и больше, но поняла, что не стоит. Получив рубль, он просиял и, забыв попрощаться, исчез.

Время от времени — чаще всего где-нибудь в центре, в ГУМе или Пассаже — я встречала какую-нибудь свою бывшую соседку или одноклассницу. Мы радостно приветствовали друг друга и обменивались новостями. Однажды я заметила возле касс кинотеатра «Метрополь» Нинку Федорову и тронула ее за плечо. Обернувшись, она всплеснула руками и даже слегка побледнела:

— Ой, мамочки! Это ты? А мне сказали, что ты умерла.

— Это не я умерла, это Тамара.

— А, ну понятно, — согласилась она. — Вас всегда путали. От чего же она умерла?

— От смерти, — сказала я, но, почувствовав, что такой ответ все равно не удовлетворит ее, прибавила: — Отравилась.

— Что ты говоришь! — воскликнула она. — Наложил на себя руки?

— Да нет, в цеху отравилась, от клея. Она ведь оклейщицей работала.

— Ой, бедная! Ой, бедная... Чего же она туда пошла? Не могла куда-нибудь в другое место устроиться?

Мне пришлось объяснить ей, что Тамара не решалась уйти с завода, потому что тогда ее выгнали бы из института, — она училась в заводском вечернем машиностроительном институте и обязана была работать именно на этом предприятии. Нинка вполне резонно заметила, что жизнь дороже института, и я была с ней согласна, но Тамара, видимо, думала иначе.

Как ни странно, наша последняя встреча с Тамарой тоже была случайной. Наш последний, самый последний разговор происходил возле станции метро. Вечер был теплый, какая-то тетка торговала ромашками, мы несколько раз прошли мимо нее, а потом уселись на лавочку. Мы не виделись до этого месяца два или три, а может, даже и больше. Конечно, можно сказать, что мы обе были заняты — учились, работали, но, очевидно, главная причина заключалась не в этом, а в том, что мы уже не особенно скучали друг без дружки. Встречаясь с Тамарой, я каждый раз с огорчением замечала, как мало общего осталось между нами. Я была счастлива со своим мужем, посещала музеи, читала Пастернака и Гумилева, знакомилась с творчеством Пикассо и Модильяни, а Тамара из-за каких-то пустяков рассталась с женихом — уже после того, как было подано заявление в загс, — и интересовалась теперь исключительно тем, что имело отношение к их цеху или заводу. И в тот раз — возле станции метро, она тоже моментально перешла к проблемам производственного плана и объявила, что план — это сплошное преступление. Я не посмела с ней согласиться.

— Как же без плана? — удивилась я.

— А как же раньше работали без всяких планов? — парировала она.

— Ну так и плохо было.

— Вранье! Что было плохо? Разве рабочих запирали на три дня в цехах — когда дома семьи, дети? Какой хозяин мог себе такое позволить? Ты знаешь, что ради этого подлого плана люди стоят у станков по двадцать часов в сутки, спят, как собаки, по два-три часа, на том тряпье, в которое заворачивают детали, — ворота заперты, выйти никто не смеет! А потом две недели будем слоняться без дела, потому что нет сырья, материалов, заготовок. Но уйти тоже нельзя. Сиди и плыви в потолок.

— Я думаю, ты преувеличиваешь.

Я старалась говорить как можно мягче и спокойнее, но она все равно взорвалась.

— Преувеличиваю? А то, что нам привозят недоброкачественный клей, а брак не засчитывают ни в какую норму? И нас же заставляют переделывать и еще лишают премии? Ты знаешь, что это такое — отдирать присохшую оклейку? Целая смена на это уходит, а оплачивать никто и не думает. А то, что мы работаем без вентиляции?

— Но вентиляция не имеет отношения к плану,— сказала я, пытаясь указать ей на некоторую нелогичность ее претензий.

— Ты так думаешь? А я думаю иначе. Если бы не план, который нужно выполнить любой ценой, так была бы вентиляция. Гонят план, а на людей начхать, люди пускай подышают.

Она замолчала на секунду, как бы давая мне время вставить слово, но я не воспользовалась этой возможностью.

— Я-то еще ничего,— продолжала она,— молодая, крепкая, а другие чуть не каждый день в обморок падают. Смирнова мертвого ребеночка скинула, думаешь, не жалко?

— Так уходите,— сказала я.— Уходите, не мучайтесь. До тех пор, пока вы будете терпеть, начальство будет считать, что положение терпимо.

— Уходить? Легко сказать. Я еще, допустим, могла бы уйти. А многие не могут. Прописка дается, пока работаешь, жилплощадь заводская, да и вообще— куда уйдешь? Везде одно и то же. Знаешь, как у нас в цеху говорят? Где власть—там и сила.

— Но ведь в принципе ты не против советской власти?—спросила я неосторожно.

— Я? Я—против,—ответила она так, словно это был вопрос давно взвешенный и решенный.

Я невольно оглянулась—не слушает ли кто?—а потом огорчилась—не за советскую власть, советской власти от наших разговоров не убудет, а за Тамару: что-то с ней творится неладное. Неужели это моя Тамара, моя милая подружка, которая всегда была моей тенью, всегда во всем со мной соглашалась и ловила каждое мое слово?

— Как же я могу быть не против?—продолжала она, не обращая внимания на мое смущение.—Ты ведь знаешь мою бабушку?

Конечно, я знала ее бабушку, приветливую и расудительную старуху, угощавшую нас в Сокольниках вареньем из собственного крыжовника.

— А ее историю ты знаешь? Я тебе расскажу. Бабушка пяти лет осталась без отца. Сирота, бесприданница. В шестнадцать лет ушла в Москву, нанялась в прислуги. Десять лет копила на приданое. Вернулась в деревню—никто не берет: перестарок. Вышла замуж за деда, он горбатенький был и безземельный, так ему уж выбирать не приходилось. На бабушкины деньги купили дом,

земли немного и потом всю жизнь работали, детей растили, откладывали по грошику, лошадь приобрели, корову. Заметь, — она сжала мою руку так сильно, что мне сделалось больно, но я не подала виду, — заметь, никого не эксплуатировали, все работы своими руками работали. И дети, конечно, с малых лет трудились. Если хочешь знать, их еще и сегодня добрым словом в деревне поминают — бабушку и дедушку. А потом — как у Шолохова, да только не совсем — коллективизация, за свою же кровную лошадь объявили кулаками, враз все отняли и в Сибирь сослали. Дед по дороге умер, не выдержал, двое младших детей уже на месте от голода умерли, трое потом на фронте погибли. Осталась одна тетя Ксюша, да и та — безмужняя, никому не нужная. Изломали жизнь, погубили семью, хороших людей замучили, затравили — за что? Зачем? — Она отпустила наконец мою руку, уронила лицо в ладони и зарыдала так громко, что бабка с колокольчиками с любопытством уставилась на нас. — Зачем, для чего?..

Я поняла, что она нездорова. Нормальный человек не станет так убиваться по дедушке, которого раскулачили тридцать лет назад. Я догадывалась, что Тамару подкосил ее неудачный роман. Что-то там было не в порядке с самого начала. То есть, в самом начале ее избранник казался ей исполненным всех достоинств, но потом вдруг выяснилось — уже после того, как они подали заявление в загс, — что он разведен, что где-то в Новосибирске имеется покинутая жена с ребенком. Я советовала не решать сгоряча — мало ли что в жизни бывает, но Тамара заявила, что ни за что не выйдет за человека, который подло обманул другую женщину и пытался обмануть ее. Возможно, уже и тогда она была не совсем здорова. Я вспомнила ее тогдашнее безмерное отчаянье — не только из-за бывшей жены, но и из-за того, что, как выяснилось, у возлюбленного не хватало мизинца на левой ноге.

— Как ты не понимаешь! — восклицала она в ответ на мои уверения, что мизинец — это пустяк. — Дело не в мизинце! Да я бы не отказалась от него, даже если бы у него не хватало целой ноги. Но он пытался меня обмануть — почему ты не хочешь понять!

— Может быть, он просто стеснялся сказать, — предположила я.

У меня, конечно, не было никакой причины защищать неудачливого жениха, но мне тяжело было видеть, как Тамара из-за него убивается.

— Он не стеснялся, он ничего не стесняется, он просто обыкновенная сволочь, — настаивала она.

Я, помнится, даже решила поговорить с тетей Людой, сказать ей, что нельзя пускать это дело на самотек, нужно что-то предпринять, как-то бороться с таким настроением, но, поразмыслив хорошенько, поняла, что разговор этот будет матери неприятен и все равно ничему не поможет — ничего тут не переменишь и ничего не поделаешь, если у человека такой характер.

Потом заболела моя мама. А потом я увидела тетю Люду уже на Тамариных похоронах. Лицо у нее было серое, будто посыпанное пеплом, а губы совсем черные. Мне случалось читать в книжках: почернел от горя, но я не знала, что это правда так бывает.

У свежей могилы выступал представитель не то местного, не то администрации.

— Дорогая Тамара Евсеевна, — говорил он, заглядывая в бумажку — наверно, боялся перепутать отчество, — дорогая Тамара Евсеевна, мы помним тебя как ценного, добросовестного работника и как чуткого товарища. Мы помним тебя как человека честного и принципиального.

— Она-то честная была, — подтвердила сквозь слезы какая-то тетка. Все женщины рыдали, и многие в голос. — А ты — холуй, пес директорский.

Представитель не поддался на провокацию, сделал вид, что не расслышал, и продолжал читать:

— Ты навсегда останешься в наших сердцах...

— Полно врать-то, — всхлипнула женщина. — Откуда у тебя сердце? Ты его давно за рубль продал.

Тут представитель не выдержал и метнул грозный взгляд на встревавшую:

— Ты, Сидорова, попридержи язык-то.

— Ты читай, читай, — не испугалась женщина. — Ты читай, а я после скажу, что она за человек была, наша Тамара.

Представитель и вправду попытался читать дальше, но тут его перебил другой голос, громкий и взвинченный:

— Может, теперь хоть вентиляцию сделаете?

— Вентиляция тут ни при чем, — заявил представитель твердо. — Вскрытие показало пищевое отравление.

— Полно вам ругаться, — вмешалась какая-то трудящаяся. — Покойницы посовеститесь.

— Мать хоть уважьте, — поддержала ее другая.

Я снова взглянула на тетю Люду, она стояла неподвижно и, кажется, не слышала ни речей, ни препирательств. Я потихоньку отодвинулась от могилы и от группы провожающих и побрела по кладбищенской дорожке. Я, конечно, тоже была не в себе в тот день, потому что, когда пошел дождь — вскоре пошел дождь, крупные тяжелые капли стали шлепаться на дорожку, — мне вдруг почудилось, что это чьи-то слезы. Чьи именно, я не пыталась понять. Дождь и в самом деле был какой-то необычный — когда капли высохли, у меня на руках и на одежде остались белые следы, будто от извести или от соли.

И опять — словно сквозь дрему — я увидела плотину. Мы подплывали к ней на лодке: я, Тамара и Юрка. Юрка сидел на веслах, а мы с Тамарой устроились рядышком на корм. Отчего это я решила, что в Серебряном бору не было плотины? Конечно, была, только не ~~у~~ самого пляжа, а дальше, километрах в трех или четырех от лодочной станции. А еще дальше, на мелководье, за излучиной, в широкой заводи росли кувшинки, великое множество желтых кувшинок. И в нашей лодке теперь тоже были кувшинки, нежные солнечные кувшинки. Они прорастали сквозь днище и покачивались в тяжелой, недвижимой воде, заполнившей лодку.

Юрка опустил весла, откинулся на спину и стал глядеть в небо.

— Я прочту стихи, — сказала вдруг Тамара. — «Кто-то среди развалин бродит, вороша листву запрошлогоднюю. То ветер, как блудный сын, вернулся в отчий дом....»

Я обняла ее за плечи и заплакала от счастья.

Несколько дней я вообще никуда не выходила, а потом решила заглянуть в библиотеку. По дороге я передумала и вместо библиотеки отправилась на пляж. Синенькое море поблескивало на солнышке, волны шлепались о ступени лестницы и обдавали ноги солеными брызгами. Я двинулась вдоль берега в сторону утеса и вдруг увидела Анхо. Он сбегал с вершины, подпрыгивая на камнях. Я остановилась. Он подбежал ко мне, посмотрел так, будто собирался что-то сказать, но ничего не сказал, а присел передо мной на корточки — а



может, опустился на колени — и припал щекой к моему бедру.

— Что я делаю? — простонал он. — Что мы делаем...

Действительно, он вел себя странно. И вот что удивительно: солнце, которое только что стояло высоко над горизонтом, вдруг скрылось, и ровная густая тьма окутала весь остров.

## XVII

Вернувшись в свою комнату, я застала там Мака. При моем появлении он обернулся — не вставая с кресла и небрежно задвигая левой рукой ящик моего письменного стола. Ничего особенно ценного я в столе не держала, но такая бесцеремонность показалась мне чрезмерной. Я остановилась на пороге в ожидании объяснений.

— Заходите, моя милая, не стесняйтесь, — проговорил он благодушно-любезным тоном. — Садитесь и чувствуйте себя, как дома.

Я не села и довольно злобно осведомилась, по какому праву и с какой целью он забрался в мое отсутствие в мое жилище и роется в моем столе.

— Вы уверены, что это ваше жилище? — Он вздохнул и принялся разглядывать меня так, будто только сейчас впервые увидел. — Впрочем, не будем ссориться. Я ждал вас, да, довольно долго ждал, часа два, а может, и больше, а вы, моя милая, все не шли. Ну, и представьте, мне сделалось скучновато. Я не спрашиваю, где вы были, но я спрашиваю: вы что же, хотели, чтобы я три часа подряд стоял под дверью? Не вижу ничего дурного или, скажем, предосудительного в том, что я зашел и присел. Точно так же не вижу ничего дурного в том, что от нечего делать я стал разглядывать эти фотографии — не сердитесь, дорогая, честное слово, они мне очень понравились. Правда, очень приятные лица. Наверно, какие-нибудь ваши родственники?

— Мак, перестаньте прикидываться, — вздохнула я. — Вы прекрасно знаете, что у меня нет никаких родственников.

— Ну, что значит нет! — возразил он. — Сегодня нет, а завтра есть. Не исключено, что это потомки, с которыми вы в спешке не успели познакомиться: какие-нибудь внуки и правнуки. Не забывайте, дорогая, ваше время по отношению к здешнему — далекое прошлое. С течением

лет, а может, и столетий — кто знает? — могла возникнуть куча потомков.

— Только не у меня.

— Почему же? Странно слышать столь категорические заявления.

— Хотя бы потому, что у меня не было детей.

— Ах, вот как — не было детей! Да, действительно, это усложняет дело. Кто же они такие, эти граждане?

— Понятия не имею. Не думаю, чтобы они имели ко мне какое-то отношение, — их фотографии лежат во всех комнатах, куда мне только случалось заходить.

— Куда *вам* случалось заходить, — уточнил он с нежно-крокодильской улыбкой.

— Да, и к тому же они находились здесь еще до моего появления.

— Святая простота! Я вижу, даже опыты жизни нас ничему не научили. Как вы можете, дорогая, знать, что тут находилось и чего не находилось до вашего появления?

— Когда я впервые открыла этот ящик, они уже лежали там.

— Вот именно — когда вы впервые открыли этот ящик. Теперь вы выразились точнее.

Мне надоели эти препирательства.

— Послушайте, Мак, — сказала я, — неужели вы ждали меня битых три часа ради этого разговора?

— Не только. Не только... — Он поднялся наконец с кресла и прошелся по комнате. На этот раз на нем были ковбойские штаны и клетчатая рубашка, а на короткой тучной шее был повязан красненький платочек — ни дать ни взять, пожилой шериф. — У меня к вам есть одно дельце. Вернее, у меня есть для вас один добрый совет.

— Я слушаю, — откликнулась я без особого энтузиазма.

— Не пугайтесь, ничего особенного. Так, в сущности пустяки. Вы можете даже ответить, что меня это не касается, и будете правы. Но я все-таки позволю себе заметить — как старший друг и товарищ. Видите ли, ваши отношения с Анхо в их нынешнем варианте... Я бы сказал, нежелательны и недопустимы. Я говорю об этом, потому что знаю, что вы правильно меня поймете.

— Нет, Мак, я пойму тебя неправильно.

— Тем не менее, я надеюсь, вы меня послушаетесь.

— Не надейся.

Ну что ж, ну что ж!.. Однако же считаю своим долгом предупредить: вы об этом еще пожалеете, моя радость.

— Это что же, угроза? — спросила я.

— Боже упаси! Ни в коем случае. Как я могу угрожать вам? Смешно! Я бы даже сказал, что дело обстоит как раз наоборот — это вы, моя прелесть, постоянно угрожаете нашему спокойствию и благополучию. Я же со своей стороны лишь пытаюсь предотвратить худшее. А потому и извещаю — как уже делал это неоднократно в прошлом — о надвигающейся опасности. Хотя, конечно, не ободряюсь относительно результатов. К сожалению, это так: человеку говорят вполне определенно и недвусмысленно: не делай того-то и того-то, не выходи, допустим, на улицу, сиди дома, а не то попадешь в историю. И что же? Как об стенку горох! В лучшем варианте сообщает жене, что у него тяжелое предчувствие. Жена отвечает: это оттого, что ты поел на ночь котлет. И все — этого оказывается достаточно, чтобы пренебречь всеми здравыми соображениями и отправиться на колхозный рынок за картошкой или в поликлинику мерить давление.

— Мак, я должна тебя успокоить, — сказала я. — У меня нет никаких дурных предчувствий. У меня, как раз наоборот, очень славные предчувствия. Пожелай мне, чтобы они сбылась.

— Как вам будет угодно, — просипел он. — Да, кстати, чуть не забыл: постарайтесь следить за вашей кошкой, она постоянно гадит в коридоре, я сегодня, извиняюсь, вляпался.

Засим он удалился, позволив мне в одиночестве поразмыслить над вопросом, зачем и чего ради он рылся в моем столе. Видимо, надеялся что-то там обнаружить... А может, и обнаружил, кто его знает...

## ХVIII

Я ни словом не обмолвилась Анхо об этом визите, но не исключено, что Мак и с ним проводил дружеские беседы. Как бы там ни было, я вдруг заметила, что мой рыцарь сделался печален. Я как могла пыталась рассеять его тоску, но, кажется, не слишком в этом преуспела. На все мои вопросы он отвечал уныло и рассеянно:

— Нет, так, ничего...

Однажды, катаясь по морю на паруснике, мы посетили наш островок. Те же дивные кусты свешивали свои раскидистые ветви до самой земли, но розовые колокольчики уже слегка пожухли и поредели. Голубенькое небо просвечивало сквозь кружево листьев. Не помню, о чем мы говорили, кажется, я попыталась выяснить, как это Анхо умудряется отыскивать все эти милые уголки. Почему же мне никогда не удастся их обнаружить?

— Это очень просто,— объяснил он.— Нужно только знать координаты.

— Я тоже хочу знать координаты.

— Постепенно узнаешь, не торопись.— Он откинулся на спину и закрыл глаза.

Я молча любовалась им, потом осторожно погладила его руку и как-то нечаянно коснулась заветных часов, с которыми он ни на секунду не расставался ни днем, ни ночью. Но тут он отчего-то утратил бдительность. Я подсунула большой палец под браслет и слегка надавила на корпус. К моему удивлению, браслет тут же раскрылся, и часы шлепнулись мне на ладонь. Я, разумеется, не помышляла о том, чтобы завладеть ими. Мне просто захотелось слегка напугать и подразнить Анхо. «Догадайся, что я нашла на дне ручейка. Какое я получу вознаграждение?» Пока что я положила драгоценную игрушку к себе в лифчик и стала дожидаться, когда же он хватится пропажи. Но он ничего не заметил. Приподнявшись на локте, он потряс головой, потер лоб, словно отгоняя дрему, и огляделся по сторонам в каком-то странном недоумении. Я уже подумала, не следует ли намекнуть ему, что, дескать, не мешало бы ему проверить, все ли у него на месте, но потом испугалась, что он рассердится, и решила попридержаться язык. Признаться честно, мне ужасно хотелось выяснить, на что способны удивительные часики. Наверно, подумала я, большой беды не случится, если я испробую несколько кнопочек.

Дальнейшее развитие событий заставило меня позабыть про все эти глупости. Анхо словно через силу поднялся на ноги и с видимым удивлением огляделся по сторонам. Можно было подумать, что он впервые видит островок.

— Мне что-то нездоровится сегодня,— пробормотал он, опираясь на мою руку,— пойдем отсюда.

Мы сделали несколько шагов, он остановился, постоял секунду, а потом пошатнулся и грохнулся замертво на прибрежный песок.

Я принялась трясти его, брызгать ему в лицо водой — ничто не помогало, он оставался недвижим и бездыханен. Я закричала, взывая о помощи, но никто меня не слышал. Тогда в полном отчаянье я выхватила у себя из-за пазухи злополучные часы и нажала верхнюю кнопку.

И тотчас очутилась в холле небоскреба. Анхо со мной не было. Я принялась звать Берша и Мака, кинулась вверх по лестнице и вдруг, глянув в окошко, увидела Анхо на газоне перед домом. Он недвижно распластался на траве, а Берш и Мак пытались привести его в чувство, но, кажется, безуспешно.

Я бросилась туда.

— Что с ним? Что вы с ним сделали?! — завопила я, подбегая.

— Что **вы** с ним сделали! — ответил Берш грозно.

— Немедленно верните часы! — сорвавшимся голосом потребовал Мак.

«Часы, — подумала я, — да, но где же они? Я, наверно, где-то обронила их».

Но оказалось, что не обронила, а каким-то непонятным образом — совершенно того не заметив — надела себе на руку. Мак рванул браслет, но он не так-то легко поддался — замочек был крепкий. Наконец часы вновь оказались на запястье у Анхо, он судорожно вздохнул, приоткрыл глаза и ожил.

«Э, — подумала я, — это весьма опасная штука».

В память об этом неприятном происшествии на руке у меня долго еще красовалась багрово-красная полоска. Можно было подумать, что за несколько минут браслет успел срастись с кожей.

Анхо постепенно поправился, но все еще был слаб и задумчив.

— Как ты полагаешь, — спросил он однажды (мы с ним сидели в рощице возле дома), — не отправиться ли нам в путешествие?

Я глянула на него с удивлением.

— Давай переберемся в какое-нибудь тихое и спокойное время, — продолжал он, — знаешь, куда-нибудь в глухую-глухую старину — до изобретения паровоза и телеграфа.

— А также компьютера, — подсказала я. — Это, конечно, было бы чудесно, только как же это осуществить?

Ты, помнится, уверял, что машины времени больше не существует.

— Скорее всего, не существует.— Он вздохнул. Но пометать-то во всяком случае дозволено.

— Разумеется,—согласилась я. Куда же мы направляемся?

— Не знаю, куда-нибудь в средневековье. В какое-нибудь сугубо патриархальное столетие. Без всяких потрясений, эпидемий, войн и революций.

— Разве такое когда-нибудь бывало?

— Не уверен, но стоит, я думаю, поискать. В нашем распоряжении многие эпохи. Знаешь, когда я занимался сбором материалов для Музея, я побывал в разных интересных местах.

— Вот как? Я думала, ты никогда не покидал своего небоскреба.

— Это... как бы тебе сказать? Как будто понарошку.

— Да? — сказала я.— И что же мы там будем делать — в этом спокойном и милом времени?

— Ну, просто будем жить.

— Как же мы будем жить, если мы ничего не умеем делать?

— Это ты-то ничего не умеешь делать? Не сказал бы... Судя по тому, что ты тут натворила... Только не обижайся, пожалуйста. Я, между прочим, тоже надеюсь чему-нибудь выучиться. Освоить какую-нибудь профессию. Например, фокусника. Или канатоходца. Можно заняться чем-нибудь таким таинственным — ворожить, гадать, предсказывать будущее. Давай устроимся придворными прорицателями, а? К какому-нибудь фараону? Или станет дурачить доверчивых обывателей. За это они будут нас кормить и поить.

Я подивилась его неожиданной практичности и осведомленности в делах минувших дней.

— Можно будет завести лошадь с повозкой, продолжал он.— Будем бродить по дорогам, ночевать на постоянных дворах или просто в лесу. Представь себе: густой-густой и темный-темный лес, громадные, до самого неба, деревья, ночь, и филин кричит: ух! ух!

— Анхо,—не выдержала я,—откуда у тебя все эти сведения?

— В последние дни я много читал,—похвастался он.

— Дурные примеры заразительны,—произнес рядом чрезвычайно знакомый и мало приятный голос.

Я вздрогнула от неожиданности.

— Нет, это уже слишком! — воскликнула я, вскакивая на ноги. — Да что же это такое, в конце концов! Мак, от вас нигде невозможно укрыться! У вас ни стыда ни совести! Врываюсь без всякого предупреждения, подслушиваете чужие разговоры!

Он засопел обиженно.

— Скажите еще, дорогая, что я подкрадываюсь, как тать в ночи! Должен заметить, моя милая, что вы не правы по всем пунктам: во-первых, я не подкрадываюсь и не врываюсь, а *присутствую*, согласитесь, это не одно и то же, во-вторых, я не подслушиваю, а *слышу*. Таково свойство моей натуры, и я не нахожу в этом ничего зазорного, а в-третьих, стыдно пусть будет тому, кто использует свои природные данные во зло ближнему, я же пекусь исключительно о вашем благе и желаю вам одной только пользы.

— Мак, я требую, чтобы вы избавили нас от своего надзора!

— Не горячитесь, дорогая. Давайте успокоимся и здраво обсудим сложившееся положение. Поскольку мы все так или иначе здесь собрались и поскольку я являюсь невольным свидетелем развития событий, я намерен кое-что предложить. Если не ошибаюсь, Анхо только что упомянул тот плодотворный период своей жизни, когда он собирал материалы для Музея. Почему бы, подумалось мне, им не продолжить этой полезной деятельности вместе? Если уж им так хочется быть вместе, то пусть будут, но пусть, по крайней мере, это в какой-то мере отвечает общественным интересам. Как вам такая идея? Некоторые эпохи, подумалось мне, и поныне представлены у нас в Музее недостаточно исчерпывающе. Так почему бы этой славной влюбленной паре не заполнить досадный пробел?

— Не думаю, — отвечал Анхо довольно равнодушно, — чтобы Берш одобрил твой проект.

— А мы пойдем и спросим! Зачем гадать, когда можно спросить!

Мы направились к зданию, но, сделав несколько шагов, увидели Ивин.

— Вот вы где! — воскликнула она радостно. — А мы вас везде ищем!

Все вместе мы поднялись в холл, где Тул, удобно и вольготно развалившись в кресле, беседовал с Бершем.

Надо заметить, что Берш не так уж часто баловал Питенов своим вниманием, и его присутствие наверняка свидетельствовало о важности встречи.

Мак тут же завладел разговором, но вместо того, чтобы изложить Бершу свой план, с полчаса поразглагольствовал о пользе науки и о приятности искусств, а также о таинственной способности дельфинов угадывать человеческие мысли. Берш позевывал, слушая эти благоглупости, и время от времени склонялся к ушку сидевшей рядом с ним Ивин. Та от его слов веселела и лукаво поглядывала на мужа. Потом Мак сообщил, что обожает приключения барона Мюнхгаузена. Он, кажется, даже собирался поведать нам некоторые из высказываний своего любимого героя, но тут Берш вдруг посерьезнел, отодвинулся от Ивин и попросил всеобщего внимания.

— Сегодня, господа,— заговорил он негромко и торжественно,— у нас особенный день. Наша гостья,— тут он бросил на меня не слишком приветливый взгляд,— вступает сегодня в ряды полноправных и полноценных слушающих Музея.

Я изумилась. Как же так? Мы ни о чем таком не договаривались, даже не успели толком обсудить этого вопроса... Я посмотрела на Анхо, он сидел насупившись и, кажется, не одобрял столь поспешных решений.

— Мак, я думаю, ты лучше нас всех сумеешь растолковать суть предстоящей метаморфозы,— закончил Берш свою краткую речь, предоставляя все дальнейшие объяснения помощнику.

— Да, вот именно — суть.— Мак откашлялся и приосанился.— Суть заключается в том, что мы, уважаемая наша госпожа Елена, долго размышляли, чем бы занять вашу драгоценную натуру таким образом, чтобы от этого было как можно больше прибыли и как можно меньше вреда.

— Мак! — воскликнула Ивин.— Это неделикатно!

— Чего уж там,— сказал Мак,— тут все свои, и барышень ниже восемнадцати не имеется. Не стану распространяться касательно нанесенного ущерба, что было, то было, кто прошлое помянет, тому и карты в руки, и так далее, но как ни крути, без труда не вытащишь и пробки из горла. Труд — дело чести и порядочности. Трудиться полезно и увлекательно. Мы очень надеемся, что должность посланца придется Елене впору. И если никто не против, то я предлагаю единодушно и единогласно зачис-



лить нового члена в наш спяянный коллектив — согласно параграфу сорок восьмому Уложения о хранениях и извлечениях. Разумеется, если вы, уважаемая, согласны, — он сделал жест в мою сторону.

— Она согласна, — тотчас ответила за меня Ивин, заглядывая мне в глаза и лучезарно улыбаясь.

— Минуточку, минуточку, я протестую, — вмешался Тул. — Эдак вы напугаете нашу милую Елену. Нельзя же так с кондачка. Нужно все объяснить толком и по порядку: каковы функции и обязанности посланца, а главное, каков оклад.

— Оклад серебряный с позолотой, — подал голос Анхо и отчего-то вздохнул.

— Обязанности несложные, — заверил Мак. — Проникновение в соответствующую эпоху и снятие с оригинала идентичной копии.

— Позвольте, — удивилась я. — Как же туда проникают, в эту идентичную эпоху?

— Об этом не беспокойтесь. Это мы обеспечим в лучшем виде. Должен, однако, предупредить, что данная миссия связана с некоторой... — Он замялся. — Некоторой, я бы сказал...

— Опасностью, — подсказала я.

— Ни в коем случае! Опасности как раз ни малейшей. Я замечаю, что вы ужасного о нас мнения, дорогая! Неужели бы мы позволили себе рисковать вашим благополучием? Никогда и ни при каких обстоятельствах! Я имел в виду — некоторой потерей времени. Но вас, я полагаю, это не должно смущать — влюбленные часов не отмечают. — Он хохотнул, но под неодобрительным взглядом Берша тут же стих. — К тому же я сегодня невольно подслушал некоторые милые мечтания, и, если я правильно понял, — вас весьма прельщают всяческие путешествия. А деятельность посланца как раз связана с проникновением и неограниченным перемещением в пределах условного времени.

— Что это еще за условное время? — поинтересовалась я.

— По ходу дела разясним, — заверил он.

Я снова взглянула на Анхо, ожидая какого-нибудь знака с его стороны, но он по-прежнему хранил угрюмое молчание.

— Итак, дорогая, — Мак выждал секунду для пушей торжественности, — ввиду отсутствия возражений с чьей-либо стороны общее собрание назначает вас вечной

жрицей искусства с правом использования условного времени. А теперь, что же, позвольте поздравить и вручить вам небольшой подарок.

И он протянул мне часы — точно такие, как у Анхо.

— Часы, которые нельзя снимать?

— В общем, нежелательно, — признал он несколько неохотно. — Мы уже указывали, что деятельность посланца связана с некоторой потерей времени и что это время желательно каким-то образом компенсировать.

Я попыталась возразить — он упоминал только о потере, но ни словом не обмолвился ни о какой компенсации. Но смутить его или заставить признаться в плутовстве не представлялось возможным.

— Именно поэтому и приходится носить часы, — отвечал он как ни в чем не бывало. — Но, смею уверить, владелец подобных часов получает огромные преимущества. Во-первых, к его услугам все фонды главного хранителя. Кроме того, конструкция часов чрезвычайно удачна — они компактны и абсолютно бесшумны. И наконец, помимо своей основной функции, они по совместительству выполняют роль смесителя и копировальщика. Короче говоря, без них как без рук.

— Как известно, не бывает роз без шипов, — дополнил Берш невнятные объяснения Мака. — Кто хочет все иметь, должен чем-то и поступиться. Считайте, что это с вашей стороны жертва на алтарь искусства.

— И любви, — проворковала Ивин. — Не бойся, Елена, мы все их носим, и видишь, с нами до сих пор ничего не случилось.

— Дорогая! — воскликнул Мак. — О чем разговор! Я уверен, что с вашей помощью и при вашем участии мы добьемся того положения, что наша коллекция окажется поистине непревзойденной по широте охвата.

— Ура! — воскликнул Тул.

— Подожди ты со своим ура, — одернула его Ивин. — Мы еще не закончили обряда посвящения.

— Это формальность, — отмахнулся Тул.

— Пускай формальность, но она должна быть выполнена. — И она вытащила откуда-то из-под манжета иголку с длиннющей ниткой.

— Ага! — сказала я. — Вот чего мне все время не хватало! Честно говоря, я уже не надеялась разжиться тут иглой.

— Глупости! — сказала Ивин. — Ты разживешься всем, чего твоя душенька пожелает! Но погоди, прежде

чем вручить тебе эту иголку, я должна сделать несколько стежков. Повернись, пожалуйста.

— Как,— засмушалась я,— разве мой туалет не в порядке?

— Все в порядке, но неужели ты не знаешь — чтобы защитить память, нужно сделать по крайней мере семь стежков.

— А зачем зашивать память?

— Это только так говорится,— засмеялась Ивин.

— На самом деле память ничуть не страдает,— заверил Берш,— напротив, она делается обширнее и крепче.

— Не беспокойтесь, закон Ома и таблица умножения постоянно будут у вас под рукой,— сообщил Мак.— А если ненароком забудете какую-нибудь чепуховину, то, я полагаю, об этом сокрушаться не стоит.

— Хорошо, будь по-вашему,— согласилась я, не желая портить компании хорошего настроения.— Ну как, готово? Можно получить иголку? Благодарю.

— Иголку и часы,— напомнил Мак не без торжественности.

— Часы оставьте себе,— сказала я, поднимаясь с кресла.

— То есть как??? — воскликнули все в один голос.

— Часы я не надену.

— Вы что, издеваетесь над нами? — прорычал Берш.

— Почему же? Мне кажется, это дело добровольное.

Все присутствующие переглянулись.

— Не вынуждайте нас к крайним мерам,— предупредил Мак.

— Я не вынуждаю,— пробормотала я не слишком весело.

— А я-то надеялся! — воскликнул Мак.— А я-то верил, что отныне на нашем острове наконец воцарится мир и благоденствие!

— Погодите! — сказала Ивин.— Не надо кипятиться и не надо ничего решать впопыхах. Пускай Елена обдумает все спокойно. К чему тут спешка? Ведь говорят же, что утро вечера мудреней.

— Согласен целиком и полностью! — подхватил Мак.— Но сейчас мы имеем не вечер и не утро, а самый что ни на есть белый день!

— Ну что ж, пускай обдумает,— сказал Берш и при этом достаточно выразительно взглянул на Анхо.

Но тот сделал вид, что ничего не заметил.

— А теперь я вынужден извиниться и покинуть милое общество,— заявил Берш, поднимаясь.

После его ухода милое общество почувствовало себя свободнее — Тул очень похоже изобразил, как скребется и чешется обезьяна, и все рассмеялись, охотно позабыв про мою строптивость. Мак тоже повеселел и рассказал анекдот про собаку, которая раньше была крокодилом. Даже Анхо приободрился и принялся подтрунивать над Ивин, уверяя, что моя Муська гораздо красивее и умнее ее Дики. Мак подсел к Ивин, стал подлизываться и убеждать ее, что она не права, наотрез отказываясь принять его предложение.

— Слушай, Питен, — произнесла Ивин громко, призывая мужа обратить на нее внимание, — по-моему, нам пора отправляться домой — этот старый греховодник пытается соблазнить меня.

— А в чем дело? — спросил Тул подчеркнуто строго. — Чего он добивается?

— Он подбивает меня на измену.

— Ну? — воскликнул Тул по возможности грозно.

— Да. Он уговаривает меня перекалфицироваться на чертежницу.

— Дудки! — сказал Тул. — Объясни ему, что все его чертежи не стоят мизинца наших слонопотамчиков.

— Ну, раз так, я что же? Я пас. — Мак развел руками и театрально вздохнул.

Питены стали прощаться, и мы все вышли их проводить.

Я несколько удивилась, узнав, что на крыше небоскреба Питенов поджидает славенький, похожий на прозрачную стрекозку, вертолетик. Издали он был совершенно не замечен, да и в двух шагах можно было пройти мимо, не обратив на него внимания. Я выразила свое восхищение машиной, и Тул тут же радушно предложил:

— В чем же дело, Елена? Желаете прокатиться? Пожалуйста! Управление — проще пареной репы. На велосипеде когда-нибудь катались? В таком случае справитесь. Вот руль, а вот тормоз. Скорости переключать не требуется. Хотите подняться — тянете руль вверх, опуститься — вниз. Соответственно вправо и влево.

Я, честно говоря, не предполагала, что он так запросто предоставит столь замечательный вертолет в мое распоряжение, но отказываться, разумеется, не собиралась. Анхо, правда, усомнился в правильности подобного начинания.

— По-моему, — сказал он, — это чистое безумие. Она свалится.

— Не будь тираном,— сказала Ивин,— если женщины чего-нибудь хочется, уступи.

Я влезла в кабину.

— В случае чего, вызывайте нас по радиии! — крикнул Тул.

— Желаю успеха! — заорал Мак. — Держитесь правильного курса!

Следует признать, что Анхо оказался прав — я свалилась, причем очень скоро. Хотя я старательно тянула руль вверх, машина сразу же устремилась вниз. Через мгновение я увидела, что неотвратимо приближаюсь к стене здания. Очевидно, управление вертолетом все-таки требовало больших навыков, чем езда на велосипеде. Я что было силы рванула руль на себя, описала в воздухе мертвую петлю и рухнула в море.

— Какое счастье, что не на землю,— сказала Ивин.

Должна, однако, заметить, что и на воде удар оказался весьма чувствительным.

— Потрясающе! — воскликнул Тул, когда меня вытащили из морской пучины и уложили на песочке. — Великолепная реакция! Несколько предварительных уроков с инструктором, конечно, не помешали бы, но в общем первую попытку можно считать вполне удовлетворительной.

У меня страшно болело плечо и отнялась правая рука. Ивин и Тул тотчас приступили к врачеванию. Больше всего их почему-то занимала шишка у меня на лбу. Я заподозрила, что Тул не без задней мысли загнал меня в эту стрекозу, наверно, им с Ивин не терпелось явить свое искусство айболитов. Впрочем, они и вправду очень ловко сложили все мои кости и перевязали раны.

Дальнейшие события слегка смешались у меня в памяти. Очевидно, на какое-то время я потеряла сознание. Очнулась я у себя в комнате на диване. Рядом сидел Мак.

— Чрезвычайно нелепая история,— пробормотал он, протяжно вздыхая.

Сама я, честно говоря, не слишком жалела о случившемся — падение, конечно, оказалось не особенно приятным, зато мгновения полета были восхитительны.

— Вы знаете,— продолжал Мак,— чем больше я об этом думаю, тем лучше осознаю, насколько это было с нашей стороны легкомысленно — позволить вам забавляться этим аппаратом. Но кто же мог подумать, что вы впервые в жизни подымаетесь в воздух! Мне такое просто

не пришло в голову. Я был уверен, что вы знакомы с принципом управления. Ивин, кстати, отлично с этим справляется.

— Я тоже научусь,— пообещала я. \*

— Если бы я знал, что это ваш первый полет! — продолжал он сокрушаться. — Но поди ж ты! Вы проявили такую самоуверенность — как выяснилось, абсолютно ни на чем не основанную. У вас, моя милая, вы уж меня извините, элементарно недостает здравого смысла. Забраться в вертолет, не имея ни малейшего опыта в вопросах воздухоплавания! Не укладывается ни в какие ворота!

— Ну почему же, Мак? — возразила я наконец, устав от его причитаний. — Почему — не имея опыта? Почему — впервые? Мне, если хочешь знать, случалось летать и прежде, и даже не раз.

— Вы это серьезно говорите? — усомнился он.

— Конечно, серьезно.

— Какие же машины вы водили?

— Ну, водить не водила, водил летчик. Я была пассажиром.

Тут он принялся дотошно расспрашивать о внешнем виде тех самолетов, на которых я летала, об их габаритах, мощности и прочих неведомых мне характеристиках.

Я могла сообщить ему только то, что самолеты назывались «Ту»: «Ту-104» и «Ту-144»:

— Если мне память не изменяет... А один раз это был трехместный кукурузник, принадлежавший санитарной авиации. Я писала о них очерк.

— Странно, очень странно, — сказал он.

— Что же тут странного? — удивилась я.

— Странно то, что рядовая гражданка, вроде вас, моя радость, в столь небогатом, я бы сказал, государстве неоднократно летает на таких мощных и дорогостоящих машинах.

— Не вижу я, Мак, в этом ничего странного. Даже рядовые граждане должны иметь возможность передвигаться по своей стране. А Советский Союз — очень большая страна — не то, что ваш остров, — на телеге его не объедешь.

— И тем не менее. Если я не ошибаюсь, вы однажды рассказывали, что вам отключили электричество за перерасход энергии. Но разве можно сравнить количество энергии, потребляемое десятком электрических лампо-

чек, с количеством горючего, потребляемого воздушным лайнером?

Я не могла припомнить никакого отключения электричества. Да и вообще, с какой стати я стала бы рассказывать про это Маку?

— Ты что-то пугаешь,— сказала я.— И вообще, я устала.

— Виноват, виноват, действительно не учел,— забормотал он.— Но должен признаться, вы меня заинтриговали вашим сообщением. Значит, ничего такого не припоминаете... Ну, что ж... Да, порой бывает весьма любопытно проникнуть в эпоху, составить кой-какое представление...

— Почитай книжки,— посоветовала я.

— Книжки! Вы шутите, дорогая. Во-первых, ни минуты свободного времени, а во-вторых, ваши книжки врут.

— Не все и не всегда.

— Вы что же, хотите, чтобы я взялся отличать в них правду от лжи? Никаких веков не хватит! Не забывайте, моя милая, что нас тоже поджимают сроки. Итак, парадокс самолета и электрической лампочки остается неразрешенным.

— Пускай остается,— вздохнула я, закрывая глаза.

— Поразительно! — не унимался он.— С одной стороны, людям недоступен обыкновенный электрический уют, а с другой — такое расточительство: путешествия по воздуху! Необъяснимо!

Я решила не продолжать этого разговора и отвернулась к стенке. Он наконец догадался, что пора оставить меня в покое.

Сквозь сон я слышала, как возле меня переговариваются потихоньку какие-то голоса.

— Мы забыли дать имя нашей вновь обращенной,— произнес женский голос.— Без имени нельзя.

— Какое же имя будет достойно несравненной нашей подруги? — бодро подхватил мужской голос.

— Помпадур! — предложил третий, тоже мужской.

— Нет-нет! — запротестовала женщина.

— Может быть, Баттерфляй?

— Ну нет, только не Баттерфляй!

— Тогда Дифракция.

— Это вообще не имя!

- Офелия?
- Это уже было.
- Может, Аркадия?
- В таком случае уж лучше Собина.
- Протестую, не согласен!

И тут к ним присоединился еще один голос — неживой и скрипучий.

— Дифракция, диффамация, дифтерия, дифтонг, — принялся он перечислять, — диссидент, диссонанс, дистрофия, диффузия, диффамация...

— Это я, водопроводчик! — вклинился вдруг Мак. — Пришел кран починить. Ха-ха, вот так история!

Но бесстрастный голос вытеснил его:

— Дифтонг, дифирамб, дислокация, плюмаж, Помпадур, аберрация... Абзац, авансцена, авгур, авиация... Дифтонг, диффамация... Прогресс, промульгация, мадам Помпадур, медитация... Альков, алогизм, аберрация...

— Давайте назовем ее Альма, — предложила женщина.

Все внезапно согласилось.

— Альма и Анхо, — прошептала, скорее даже пропела Ивин, склонившись к самому моему лицу. — Помоему, звучит чудесно.

— Пора бы ей уже прийти в себя, — сказал Тул.

Я открыла глаза. Рядом сидел Анхо. Он улыбнулся и пожал мне руку. Я увидела у себя на запястье его часы. После некоторого усилия я припомнила нашу прогулку на островок, цветущие кусты и свою неосторожную проделку.

— Анхо, я пошутила, — пробормотала я. — Я не собиралась их присвоить.

— Не волнуйся, пожалуйста, все в порядке, — ответил он, — это тебе подарок от нас.

## XIX

Через неделю я — к всеобщей радости — поднялась на ноги.

— Слышали анекдот? — спросил Мак, изловив нас с Анхо в коридоре. — Попугай говорит: «Это я, водопроводчик, пришел кран починить», а водопроводчик ему из-за двери: «Кто там?» Попугай: «Это я, водопроводчик, пришел кран починить», а тот опять: «Кто там?»



— Действительно забавно, — сказал Анхо. — Парадоксальное положение: водопроводчик наверняка не станет чинить кран, поскольку более не считает себя водопроводчиком, а попугай при всем желании не способен справиться с починкой.

— Мы тут имеем проблему соотношения желания и возможности, — подхватил Мак, — или, выражаясь конкретнее, соотношения намеренья и способности. Попугай изначально не способен починить кран, поэтому его намеренье стать водопроводчиком...

— Извини меня, — сказал Анхо, — но заявление попугая нельзя рассматривать всерьез. У него нет истинного намеренья стать водопроводчиком. Его утверждение: «Я — водопроводчик» — неосмысленно. С тем же успехом он мог употребить любой иной термин. В его сознании профессия водопроводчика вовсе не связывается с починкой крана.

— Стало быть, у него отсутствует не только возможность починить кран, но также и намеренье заняться данной деятельностью.

— Логично! — согласился Анхо. — В рассматриваемом случае мы имеем дело лишь с потерей некоего качества — водопроводчик перестает быть водопроводчиком — без какой-либо компенсации упомянутого качества со стороны попугая. Несмотря на видимость замены, в действительности таковой не происходит.

— Полагаю, что так, — подытожил Мак солидно.

— Ваша задача, милая Альма, — сказал мне Берш, — будет заключаться в копирование различных произведений искусства и литературных памятников. К сожалению, наши методы не вполне совершенны. — Он с трогательной улыбкой развел руками. — Чтобы получить копию, необходимо войти в визуальный контакт с объектом. Но и этого еще недостаточно — по-настоящему качественная копия требует полной статичности окружающего пространства. А достичь подобной статичности удастся только при условии полной остановки времени.

Итак, вот вам первое задание: вы прибудете в церковь Святого Георгия. Позднее, в шестнадцатом веке, там будут по всем стенам развешены иконы, но иконы нас не интересуют, поскольку уже имеются в нашем собрании. Нас интересуют фрески — седьмого века. Теперь слушайте меня внимательно: допустим, вы попали в некий момент прошлого.

— Почему именно прошлого? — спросила я.

— Потому что по отношению к нам любое время — прошлое, — объяснил он с терпеливым вздохом.

— В таком случае, — сказала я, — если я правильно понимаю, момент, в котором мы здесь находимся, является кульминационным пунктом всей человеческой истории.

— Вы правильно понимаете, но я бы назвал его не столько кульминационным, сколько итоговым.

— Но тогда, простите, не совсем понятно, к чему вообще вся эта собирательская деятельность. Если впереди ничего нет, то для кого все эти экспозиции?

— Не для кого, а для чего, — разъяснил он. — Наша задача — подбить итоги. Подвести черту.

— Представить наиболее полно плоды трудов и вдохновений, — вставил свое слово Мак.

— Но зачем?

— А это уж, дорогая, не нашего ума дело. Мы сборщики, и не более того. Не исключено, что потребитель пребывает вне сада.

— Послушай, Мак, не философствуй, пожалуйста, о том, в чем ни черта не смыслишь! — оборвал его Берш. — Итак, — продолжал он, обращаясь ко мне, — вы попали в некий пункт пространства и времени. Что вы делаете? Прежде всего нажимаете вот эту красную кнопку и тем самым останавливаете время. Затем снимаете желаемую копию на этот вот диск. Ваши часики укажут вам расстояние до объекта и наиболее удачный угол съемки. Копия автоматически передается в память главного хранителя, так что тут вам беспокоиться не о чем. Но главное, не забудьте потом снова нажать красную кнопку, дабы вернуть времени его способность двигаться.

— После чего с чувством выполненного долга возвращайтесь сюда, — заключил Мак. — Мы будем вам искренне рады. Для верности, я считаю, не повредит немного потренироваться.

— Но помните, — прибавил Берш, — остановка более трех минут нежелательна.

— Не то произойдут всякие неприятности, — пояснил Мак.

Я хотела спросить, как я попаду в церковь Святого Георгия, но тут же увидела себя на дворе, вымощенном широкими белыми каменными плитами. Церковь — если это действительно была церковь, — оказалась плоским

продолговатым зданием, прилепившимся к отвесной скале. Внизу по ущелью неся поток — бурный и мутный от ила. Какие-то ползучие растения оплетали ограду и радовали глаз пышным весенним цветением. Каменный мостик, перекинутый через ущелье, являл собой чудо архитектурного искусства. В узкой полоске тени под оградой пасся ослик. Несколько крестьян вышли из церкви и двинулись мне навстречу. Я испугалась, что они заметят меня и станут интересоваться, как и зачем я тут очутилась, но ничего такого не случилось: мужчины прошли мимо, не обратив на меня ни малейшего внимания. Я вздохнула с облегчением и поняла, что для здешних обитателей бесплотна и незрима.

Фрески я увидела сразу, как только вошла внутрь здания. Все остальное заняло не больше минуты: остановка времени, установка диска в нужной позиции и снятие копии. Можно было с чистой совестью возвращаться назад, но я залюбовалась пейзажем. Остановленное время превратило все окружающее в дивную картину: ничто вокруг не шевелилось, вода не текла, осел не жевал, крестьяне застыли на полпути к мостику, а вся экспозиция в целом была залита ярким весенним солнцем и окутана неземной тишиной. Наконец я очнулась и не без некоторого сожаления нажала красную кнопку. Живая изгородь затрепетала, осел отщипнул пук травы, ручей зарокотал в ущелье, и мужчины продолжили свой путь.

Берш остался доволен мной.

— Неплохо, совсем неплохо, — сказал он. — Только в следующий раз постарайтесь, пожалуйста, сократить временную паузу.

От всего пережитого я чувствовала легкую слабость и странное головокружение, но, возможно, это объяснялось тем, что я еще не до конца оправилась после падения в вертолете.

## XX

Путешествовать во времени мне понравилось. Было даже несколько смешных случаев и забавных сценок. Однажды, например, в каком-то гигантском помещении, похожем не то на ангар, не то на подземный атомный завод, я наткнулась на длинную процессию грузчиков

в одинаковых синих комбинезонах. Каждый тащил на плече ящик, и, хотя все ящики украшала крупная и отчетливая надпись «осторожно, верх», все без исключения *верха* были повернуты либо вбок, либо вниз.

Запомнились мне две девушки на дачной веранде. Одна, тощая и блеклая, сидела в плетеном кресле, а другая, более даже чем упитанная, стояла на голове, упершись пятками в стену. На худой не было ничего, кроме крошечного бикини, а толстую обтягивало блестящее трико лимонного цвета. Обе молчали и были столь недвижны, что я даже засомневалась, нужно ли в данном случае останавливать время. Но тут в проеме двери, ведущей в комнату, показалась пожилая дама с пышной прической над властным и в то же время обиженным лицом.

— Если вы хотите, чтобы я шила вам платье, — произнесла дама, — потрудитесь по крайней мере не растаскивать иголки.

Толстая девица перевернулась с головы на ноги и подняла с полу иглу.

— Вот, тетя, вам ваша иголка, — проговорила она нарочито покорным тоном и тотчас вернулась в прежнее положение.

— Тебе тоже не мешало бы кое о чем позаботиться, — обратилась дама к худой, но та не шелохнулась.

Дама минуту постояла, тщательно ожидая ответа, а затем повернулась и удалилась. Ее надменно-скорбное лицо показалось мне странно знакомым, но я так и не припомнила, где могла ее видеть.

Были замечательные встречи. В каком-то соборе, у свежих лесов, я увидела одного из самых знаменитых мастеров Возрождения. Художник сидел и жевал куриную ногу, а в это время на лесах безропотно и вдохновенно трудился ученик. Он выписывал фигуру Богоматери в полный рост. Время от времени мастер бросал удовлетворенный взгляд на его работу и поощрял репликой:

— Продолжай, продолжай. Эта рука у тебя вышла просто великолепно. Ты знаешь, что я тебе скажу? Ты бы вполне мог работать самостоятельно, если бы не был столь робок. Единственно, чего тебе не хватает, это уверенности в своем таланте.

— Боюсь, что мне не хватает как раз таланта, — отвечал скромный ученик.

— Чепуха! — сказал мастер. — Ты знаешь, что я сделаю? Я не прикоснусь к этой фигуре, ты закончишь ее сам. А потом послушаем, найдется ли в ней какой-либо изъян. И догадается ли хоть один из этих болванов, чьей кисти принадлежит работа.

— Это весьма великодушно с вашей стороны, учитель, но боюсь, я не справлюсь, — возражал ученик.

— Справишься! — заверил художник, отбрасывая обглоданную кость. — Еще как справишься. Увидишь, они обалдеют от восхищения. Такие же дураки, как и ты сам, — прибавил он вполголоса.

Случались и менее приятные встречи. Однажды в одном музее я столкнулась с двумя ворами. Я явилась туда с целью снятия копии с одного симпатичного натюрморта, но именно этот натюрморт и именно в то же самое время похитители снимали со стены. Не долго думая, я остановила время, и оба жулика обратились в оригинальную скульптурную группу — застыли на месте преступления с вещественным доказательством в руках. В сущности, все это меня не касалось, я могла бы сделать свое дело и удалиться, но во мне, видимо, заговорили чувства профессионального коллекционера: я решила во что бы то ни стало воспрепятствовать краже. Трудность этой задачи заключалась в том, что вызвать полицию я не могла, поскольку, проникая в иное временное пространство, делалась бесплотной и совершенно неспособной к физическому контакту с местной материальной субстанцией. Но позволить этим прохвостам смыться я тоже не хотела. Требовалось скоренько что-то придумать, каким-то образом отделить воров от похищаемого ими произведения искусства. Я вспомнила, что существует разница между живой и неживой материей. Аяхо сказал, что человека невозможно создать с помощью компьютера. Стало быть, его невозможно и ликвидировать этим путем. Что же касается картины... Но прежде всего нужно было скопировать ее. Прodelав все, что полагалось, и убедившись, что послание принято главным хранителем, я позволила времени двигаться своим путем. Воры дрогнули и вышли из столбняка. Я набрала код только что заприходованного экспоната, и рядом с одной картиной возникла другая, неотличимая от первой. Нужно было видеть лица бедных жуликов — кстати, они выглядели достаточно интеллигентными и смыслеными. Сначала они

установились на раздвоившуюся картину, затем друг на друга.

— Это что же, — спросил один, — подделка?

— Может, у нас двоится в глазах? — предположил другой.

— Дубина! — неожиданно возликовал первый. — Это у нас в кармане двоится! Берем обе, я уже знаю, кому мы загоним вторую.

— А может, хватит одной? — засомневался более осторожный.

Тут я нажала кнопку «убрать», причем дважды. Обе картины, и подлинник и копия, растаяли у них в руках. Бедняги остолбенели — можно было подумать, что снова остановилось время. Затем оба, не произнеся ни слова, кинулись вон. Видя, что они уже не собираются возвращаться, я снова набрала соответствующий код, и картина возникла опять. Но поскольку я не могла повесить ее на место, она осталась лежать на полу.

Я не поленилась и на следующий день разыскала в нашей библиотеке газетную подшивку за соответствующий год. В номере за двадцать седьмое июля была помещена заметка под заголовком: «Не везет так не везет!»

Оказывается, покидая в спешке музей, неудачливые похитители наткнулись на сигнализацию и были задержаны полицией. Но, прежде чем предать себя в руки стражей порядка, они еще успели свалиться с лестницы и угодить в жестянку с какой-то известкой, приготовленной для побелки. Впрочем, полностью этому сообщению не приходилось доверять, поскольку корреспондент утверждал, что первоначальной причиной неудачи явилось неожиданное появление кошки, неизвестно каким образом проникшей той ночью в музей. Кошка, дескать, нервировала преступников своим мяуканьем, они попытались ее изловить и неосторожно задели сигнализацию. Но я-то знала, что никакой кошки там не было и в помине.

Кстати, именно после инцидента с ворами на нашем острове внезапно разразилась странная буря. Я никогда раньше не видела таких волн. Они возникли как-то совсем неожиданно, при полном безветрии и стали груз-

но и напористо подыматься одна за другой, оттесняя нас с Анхо все дальше от пляжа. Мы пятились по ступеням до тех пор, пока не оказались прижатыми к стене здания. Соленные брызги обдавали нас с головы до ног, вернее, с ног до головы. Мне разгул стихии чрезвычайно понравился, но, взглянув на Анхо, я увидела, что он не на шутку напуган.

— Что ты? — спросила я. — Погляди, как здорово! Потрясающее зрелище!

— Перестань дурачиться! — сказал он. — Это слишком серьезно.

Мак потом объяснил нам, что на острове имел место какой-то непредвиденный взрыв. Берш сказал, что это было землетрясение морского дна. К сожалению, все довольно быстро окончилось, волны опали, и воды вошли в свои берега.

Путешествия во времени сопровождались разными происшествиями, порой и весьма неприятными. Однажды в одном частном доме я должна была скопировать картину неизвестного художника. Дом был достаточно велик, я как следует поплутала по всяким залам и коридорам, прежде чем обнаружила то, что искала. Комната, где висела картина, располагалась на самом верхнем этаже и, несмотря на ночное время, оказалась полна народу. Двенадцать женщин и один мужчина сидели за широким круглым столом, положив на него руки и прикасаясь друг к другу мизинцами. При моем появлении они переглянулись и радостно заволновались.

— Кто ты? — произнес мужчина торжественно. — Назови нам свое имя.

Женщины заворожено молчали. Полнейшая тишина установилась в комнате, только слегка потрескивали свечи в массивном серебряном подсвечнике.

— Дух, кто ты? — повторил мужчина, не дождавшись ниоткуда никакого ответа. — Назови свое имя.

— Ты кого спрашиваешь? — откликнулась я шутки ради, прекрасно зная, что он не может ни видеть, ни слышать меня.

— Тебя, дух, — отвечивал мужчина.

Женщины затрепетали. Сомнений не оставалось — он адресовался ко мне.

— Во-первых, вы ошибаетесь — я не дух, — сказала я. — А во-вторых, если хотите познакомиться, прежде назовитесь сами.

Замешательство и восторг отразились на лицах собравшихся.

— Мы члены высокого братства Единого духа,— провозгласил мужчина.— Мы вопрошаем и ждем ответа оттуда.

— Ну что ж, дело хорошее,— одобрила я.— Только, боюсь, мне придется на минуточку прервать вашу деятельность.

— Какая наглость,— произнесла одна из женщин несколько ошарашенно.

Но тут я остановила время, и ей пришлось умолкнуть.

Каюсь — вместо того чтобы заняться висевшей на стене картиной, я довольно долго разглядывала застывшие лица членов высокого братства. Мужчина был не особенно красив, но вполне благообразен, что же касается женщин, то тут оставалось лишь удивляться, как двенадцать подобных монстров смогли отыскать друг друга на просторах житейского моря. Каждая как бы предназначалась изначально в красавицы, но с каждой случилась какая-то беда: у одной были крошечные пороссячи глаза, у другой подбородок занимал ровно столько же места, сколько и все остальное лицо, у третьей были невероятно громадные уши, у четвертой рот располагался скорее вертикально, нежели горизонтально, и так далее, и так далее, вплоть до двенадцатой, у которой пол-лица и шея были залиты красным родимым пятном. Оторвавшись наконец от созерцания столь странного общества, я скопировала картину — признаться, тоже довольно странную. На ней были изображены едва ли не те же самые люди, что сидели теперь за столом, и тоже числом тринадцать, но только в пышных и громоздких костюмах каких-то прошлых веков. Те, что на картине, не заседали за столом, а стояли, склонившись не то над постелью больного, не то над телом покойника.

Я была уверена, что сняла копию в полнейшем соответствии с инструкцией — разве что несколько перерасходовала лимит времени, — однако Берш заявил, что экспонат не поступил в Музей, что я, видимо, допустила какую-то ошибку, и потребовал, чтобы я немедленно вернулась обратно и повторила съемку, не отвлекаясь на этот раз ни на какие глупости. Мне совсем не улыбалась перспектива возвращения в этот дом, но я не посмела отказаться.



Я вновь увидела перед собой то же самое здание, вновь поднялась по нескольким лестницам — вначале просторным и широким, а потом узким и крутым, вновь потянула за ручку той же самой двери, за которой происходило заседание, и остановилась на пороге. Хотя вне всякого сомнения я заказала тот же самый день той же самой эпохи, что и полчаса назад, но на этот раз комната предстала моим глазам в совершенно ином виде: никаких свечей на столе не горело и вообще ни единой живой души не было во всем помещении. Вначале это меня даже порадовало, но, приглядевшись получше, я вдруг с ужасом и омерзением заметила, что все стены и потолок увешаны какими-то тварями серого мышиного цвета. Некоторые из них заколыхались при моем появлении, приподняли головы и расправили крылья для полета. К счастью, я успела выскочить за дверь раньше, чем они вырвались наружу.

— Но картина была на месте? — спросил Берш, выслушав мой рассказ. — Мыши меня не интересуют, меня интересует картина.

— Если она так сильно вас интересует, — сказала я, — отправляйтесь за ней сами. Я туда больше не сунусь ни за какие коврижки.

Я не стала пугать Анхо рассказами про этих оборотней, зато поведала ему свой сон: в ночь после посещения странного дома мне снилось, что я стою у стеклянной двери и вижу за ней еще одну себя.

— Может, ты увидела себя в зеркале? — улыбнулся он.

— Да, это было как в зеркале — все то же самое: фигура, лицо, движения. Но я точно знала, что это не просто ожившее отражение, что все это началось гораздо раньше. Что мы с ней появились на свет когда-то давно — одновременно, но в разных местах — и жили, даже не догадываясь о существовании друг друга, а теперь вот случайно встретились.

— Ну и как, это была приятная встреча? — спросил он.

— Скорее тревожная.

— Я где-то прочел, — сказал он, — что наш мир, весь такой из себя положительный, не мог бы существовать, если бы не был уравновешен таким же точно, но отрицательным. Может быть, ты случайно заглянула в тот антимир?

— Ты думаешь, там все в точности, как у нас?

— Возможно.

— Значит, там тоже есть Альма и Анхо, которые сейчас так же смотрят друг на друга и говорят то же самое?

— Да, смотрят друг на друга и говорят про нас с тобой.

— А если с ними что-нибудь случится, это отразится и на нас тоже?

— Глупости! — сказал он. — С ними ничего не может случиться. Ни с ними, ни с нами.

— Хорошо, — сказала я, опуская голову ему на плечо.

— Только я не верю, — продолжал он, касаясь губами моего виска, — чтобы они были так же счастливы, как мы.

Уже тогда я подумала, что не стоило бы произносить таких вещей вслух.

## XXI.

— Ты увидишь там коридор, — объяснил Берш, отправляя меня в очередную командировку, куда-то в конец тридцатых годов, — и несколько дверей. Войдешь в третью дверь справа. Нас интересуют шкатулки. Большой художественной ценности они не представляют, но все же желательно было бы их раздобыть.

— Пренебрегать во всяком случае не стоит, — всунулся Мак.

— Деревянные шкатулки, украшены резьбой, — продолжал Берш. — На одной изображены Адам и Ева в раю, а на другой — три ангела, посетившие Авраама. Хозяин сам вырезал это все на досуге и преподнес в подарок жене.

— Супруге, — пояснил Мак.

— Не исключено, что хозяйка хранит в них какую-нибудь дребедень, вроде иголок и ниток. Но пусть это тебя не смущает.

— А как я их найду? Скорее всего, они спрятаны где-нибудь в шкафу.

— Для подобных случаев у нас предусмотрен растворитель препятствий.

— И шкаф действительно растворится?

— Не выдумывай. Он просто сделается прозрачным для твоего взгляда.

Я прошла сквозь дверь, третью справа, как мне было сказано, и увидела комнату: никелированная кровать, застеленная сереным хлопчатобумажным одеялом, потрепанный кожаный диван с зеркальцем в высокой спинке, узенький некрашенный шкаф, в углу у двери буфет, а посреди комнаты стол с тремя стульями. Окошко было задернуто белой полотняной занавеской с вышитыми на ней оленями.

Где же тут могут стоять шкатулки? — подумала я, обводя комнату взглядом.

За столом сидели мужчина и женщина и пили чай из симпатичных синеньких чашек. Женщина горестно вздохнула, и от этого вздоха я вздрогнула — мне вдруг показалось, что я уже видела когда-то эту женщину, может быть, даже хорошо ее знала и помнила этот вздох.

Я постаралась убедить себя, что это всего лишь игра воображения, но ощущение было настолько явственным, настолько острым, что мне сделалось не по себе. Я присела на свободный стул.

— Это не может так продолжаться, — сказала женщина. — Арнольд, я не выдержу этого. С утра я встаю и стараюсь ни о чем не думать, но к вечеру меня охватывает такой страх, что я уже не в силах побороть его. Видишь, я пугаюсь любого стука. Ты будешь смеяться, но мне сейчас показалось, что кто-то вошел в комнату.

— Это нервы, Лизочка, — откликнулся мужчина. — Ты постарайся не думать. Конечно, тяжелое время, что говорить, но что же делать — нужно держаться.

— Ты всегда так говоришь, — вздохнула женщина.

— И всегда оказываюсь прав. — Он положил свою руку на руку жены.

Та ничего не ответила, встала, подошла к буфету, вытащила откуда-то с нижней полки эмалированную миску, вернулась к столу, налила в миску остатки кипятка из чайника и стала мыть чашки.

— Я ни одной ночи не сплю.

— Я тоже, — откликнулся мужчина едва слышно.

— Так нельзя жить.

— Что же мы можем поделать? — Он тоже поднялся из-за стола и остановился, будто не зная, куда направиться.

Теперь, когда они оба стояли, стало видно, какая это смешная пара, — женщина была маленькая, кругленькая, а мужчина высокий и тощий.

— Арнольд! — Она вдруг оставила чашки, обхватила его обеими руками и прижалась к его боку. — Что я стану делать, если тебя заберут? Зачем мне тогда жить?!

Он испуганно глянул на дверь, точно не сомневался, что за ней подслушивают, и принялся уговаривать:

— Ну, что ты, Лизочка, что ты, Бог с тобой! К чему это? Может быть, ничего еще не случится...

— Как — не случится? — сказала женщина. — Как — не случится? Зачем себя обманывать? С тех пор, как взяли Николая, не осталось никакой надежды.

— Николай работал на химическом предприятии, — пробормотал мужчина.

— Какая разница, где он работал! — возразила женщина. — Разве в этом дело!

— Ну какой им с меня прок? — продолжал мужчина. — Зачем меня брать? Я такой маленький, незначительный человек. И пожилой к тому же.

— Ты же знаешь, тут нет никакой логики. Достаточно того, что ты немец.

— Но какой же я немец? Мой дед родился в России, мой прадед родился в России. А моя мать вообще была поляка.

— Неважно, неважно, — твердила женщина. — Для них ты немец.

— Но что же делать? Разве мы можем что-то изменить?

— Не знаю. Давай уедем в Таганрог к тете Вере. — Она жалобно взглянула на него снизу вверх.

— Ты шутишь, — сказал он.

— Ничуть. Уедем, и все.

— Но чем Таганрог лучше Москвы? Разве в Таганроге я перестану быть немцем?

В эту минуту раздался стук в дверь, не слишком громкий, но достаточно решительный. Мужчина и женщина отпрянули друг от друга и застыли в напряженном ожидании. И тут я узнала женщину: это была наша соседка Елизавета Брониславовна. Та самая Елизавета Брониславовна, которая сшила мне белое выпускное платье, помогала решать задачи и частенько, если мамы не было дома, зазывала к себе и угощала какой-нибудь котлеткой или кашей. Я принималась упрашивать ее почитать мне книжку или рассказать что-нибудь, а она вздыхала и говорила:

— Да что ж я тебе расскажу? Я ничего не знаю. Ну, ладно, слушай, расскажу тебе про Адама и Еву.

Это в самом деле была Елизавета Брониславовна, только теперь она выглядела лет на десять моложе, чем тогда, когда я ее знала. Она никогда не рассказывала о том, что у нее был муж,—мне, во всяком случае. И мама тоже никогда не касалась этой темы. Но как это могло случиться, что я не сразу узнала Елизавету Брониславовну? И как я могла не вспомнить этой комнаты? В ней ничего не изменилось: та же кровать, тот же диван... Шкатулки... Конечно, в шкафу должны стоять две шкатулки, в одной Елизавета Брониславовна держит нитки, а в другой—письма. Но та, в которой письма, всегда стоит на верхней полке, и мне не разрешается—не разрешалось—ее трогать. Зато шкатулку с нитками можно разглядывать сколько угодно и даже открывать—на ней изображены три ангела с крыльями и какой-то старик, и еще женщина, высунувшая глазастую голову из шатра. Шатер стоит под огромным раскидистым деревом, и ветви этого дерева обрамляют всю крышку, будто венок. Я никогда не догадывалась спросить, кто смастерил шкатулки, и Елизавета Брониславовна ни разу не обмолвилась об этом ни словом.

Я поднялась со стула, подошла к дивану и глянула в знакомое зеркальце, но не увидела своего отражения, зато заметила, что зеркало сделалось гораздо светлее, чем было впоследствии, а главное, сейчас оно было совершенно целым—во времена моего детства у него не хватало нижнего правого угла и оттуда торчала потемневшая и растрескавшаяся фанера.

Муж Елизаветы Брониславовны откликнулся на стук.

— Войдите,—произнес он торопливо, и в комнату протиснулись три женщины.

— Мы из дождя,—представилась одна, самая солидная.—Собираем подписи под обращением. Я думаю, вы будете рады подписаться.—Мне послышалась некая издевка в ее голосе.

Подобные голоса и в мое время звучали во многих учреждениях и конторах и вообще в разных местах, где один человек почему-либо зависел от другого. Обладательница официального голоса была мне незнакома. Зато двух других я сразу же признала—одна жила в нашей квартире, ее звали Любой, у нее был чугунный утюг, в который засыпались раскаленные угольки. Этим утюгом Люба почти каждый день гладила свою юбку и блуз-

ку. Зато готовить она почти ничего не готовила, и соседки за это относились к ней хорошо. Вторая женщина жила в квартире рядом, у нее был муж и сын Валерка, на год младше меня.

— Да, да, конечно, — поспешила отозваться Елизавета Брониславовна на предложение домкомши. — Где же ручка? — Она отыскала на подоконнике за занавеской чернильницу и ручку — на том же самом месте они помещались и десять лет спустя, — обмакнула перо и дрожащей рукой расписалась там, где ей указали.

— Это обращение к нашему родному советскому правительству с просьбой не щадить изменников и врагов народа, — величественно пояснила домкомовка. — Вы тоже подпишете? — Она пододвинула бумагу мужу Елизаветы Брониславовны, хотя, кажется, была не вполне уверена в том, что он достоин поставить свою подпись под столь торжественным документом.

— Да, да, разумеется, — сказал хозяин, склоняясь над бумагой. — Разумеется, подпишу... — Руки у него дрожали не меньше, чем у жены.

Домкомовка немного обождала, пока чернила просохнут, и удалилась вместе со своим эскортом.

— Боже мой, какой ужас, до чего мы дожили, — выдохнул мужчина, опускаясь на стул и отирая большим темным платком пот со лба. — Лизочка, ты права, надо бежать. Куда угодно, хоть в тот же Таганрог. Да, надо завтра же уехать отсюда.

— Не завтра, а сегодня, — ответила Елизавета Брониславовна неожиданно твердо. — Соберем самое необходимое — и на вокзал.

— Сегодня, наверно, уже нет поезда, — возразил он.

— Не важно, переночуем на вокзале. Какая разница, где не спать? Сядем на любой поезд южного направления, лишь бы выбраться из Москвы.

— Но это будет выглядеть подозрительно — такой внезапный отъезд.

— Ничего подозрительного. Скажем, что получили телеграмму от тети Веры, что она тяжело заболела и просит приехать.

— Нет, телеграмма — это не годится, — сказал он. — Телеграмму легко проверить.

— Тогда скажем, что приехала знакомая из Таганрога и сообщила.

— Соседи не подтвердят. Они же знают, что никто к нам не приезжал.

— Ах, подумаешь! — рассердилась Елизавета Брониславовна. — Я скажу, что встретила кого-то на улице. Пускай проверяют.

— Нужно назвать фамилию.

— Боже мой, о чем ты думаешь! Это все абсолютно не существенно. Если мы уедем, никто нас ни о чем не спросит.

— Ты знаешь, — сказал он, — это все-таки хороший знак — что они предложили нам подписать эту петицию. Значит, нам пока доверяют.

— Да, но я им не доверяю, — заметила Елизавета Брониславовна. — Много не будем брать, только самое необходимое. — Она открыла шкаф, окинула взглядом полки и обратилась к мужу: — Будь добр, сними чемодан.

— Нет-нет, — запротестовал он. — Только не чемодан. Чемодан — это слишком явно.

— Ты прав, — сказала она, — возьмем две сумки, и все.

Она уже начала упихивать какие-то вещи в коричневые клеенчатые кошелки, когда в дверь снова постучали — на этот раз гораздо деликатнее. Елизавета Брониславовна поспешно сунула кошелки под кровать.

— Да, да, войдите, — снова сказал Арнольд.

На пороге стояла та же Люба, но теперь с ученической тетрадкой в руках.

— Вы меня извините, пожалуйста, — сказала она. — Я вижу, вы еще не спите, а мне тут сочинение задали. Может, Арнольд Вильгельмович мне поможет, а то я ни черта в этих Собакевичах не разбираюсь.

— Да, да, конечно, Любочка, садитесь. Садитесь, посмотрим, что там у вас, — сказала Елизавета Брониславовна.

Арнольд Вильгельмович бросил на жену жалобный взгляд и опустился на стул.

Ее прислали, чтобы она помешала им уехать! — подумала я. Чтобы следила. Какая наглость — не дать людям даже в последний вечер побыть наедине.

Не придумав ничего лучшего, я решила повторить свой фокус с картиной. Только на этот раз объектом исчезновения должна была стать Любина тетрадка. Я, правда, опасалась, что компьютер не пожелает признать ее произведением искусства, но он оказался непривередлив. Люба несколько всполошилась, обнаружив пропажу, однако не торопилась покинуть комнату.

— Что же это такое? — говорила она, заглядывая под стол, под стул и даже под клеенку на столе. — Ведь я ее только что держала в руках!

— Удивительно, — поразились Елизавета Брониславовна. — Прямо чертовщина какая-то!

— Я в чертовщину не верю, — сказала Люба, — чертовщина — это поповские выдумки. Ее просто сдуло сквозняком. Наверно, улетела под диван. Или под кровать. — Она уже склонилась, чтобы взяться за поиски, но тут за окошком послышался звук мотора.

— Ой, — сказала она, подхватываясь. — Я вспомнила! Я, верно, забыла ее на кухне. Я там чайник ставила. — Она ринулась к двери, но я не позволила ей улизнуть.

Я остановила время, и она застыла в двух шагах от порога. Елизавета Брониславовна застыла, глядя на мужа, а по ту сторону двери застыли трое: один в синем драповом пальто с серым барашковым воротником и такой же барашковой шапке — на ногах у него почему-то были сапоги, — а двое других — в мешковатых и довольно потрепанных пиджаках. Я пнула ногой того, что в сапогах, но он, к сожалению, этого не почувствовал.

## XXII

— Где же шкатулки? — поинтересовался Берш, поднимая на меня свои голубые глаза.

— Нету никаких шкатулок, — сказала я. — Берш, вы должны помочь мне. Я должна их спасти.

— Что спасти? — спросил он в недоумении.

— Не что, а кого. Елизавету Брониславовну и ее мужа. — Я попыталась как можно быстрее и доходчивее описать ситуацию. — Мы должны что-то придумать.

— Да, неприятная история, — согласился он. — Это я виноват. Старый дурак... Как я не учел? Следовало предвидеть.

— Пожалуйста, Берш, — прервала я его угрызения, — нужно что-то предпринять. Немедленно!

— Послушайте, моя дорогая, — произнес Мак, возникшая откуда-то сбоку, — зачем вы все это ворошите? Поверьте, все эти истории уже приелись. В них нет ничего оригинального. Все так плоско, так стандартно. Я слушал и просто диву давался — вы же интеллигентный человек. Я вам прямо скажу — мне за вас неловко. Я подозревал в вас больше вкуса.



Берш почувствовал, что должен вмешаться.

— Дитя мое,— сказал он нежно,— я понимаю — вся эта сцена стоит у тебя перед глазами и тебе кажется, что это случилось минутой назад. Но ведь *на самом деле* — подумай — этот инцидент, так же как и многие другие неприятные происшествия, принадлежит прошлому. А прошлое не подлежит исправлению.

— В данный момент меня интересует только это происшествие, а не другие.

— Я понимаю тебя,— продолжал он столь же сочувственно,— понимаю твоё рвение, желание помочь, но подумай... Как бы тут точнее выразиться? Твоё вмешательство — несвоевременно. Пойми: этого Арнольда Вильгельмовича давным-давно нет в живых, так же как и тех, которые его забрали.

— Что значит — забрали? Они не могут его забрать!

— Почему же не могут?

— Потому что я остановила время!

— Что?! — завопил он, подскакивая на месте. — Я же, кажется, предупреждал! Ты знаешь, что ты натворила? Пока мы тут разглагольствуем... Ты что, рехнулась?

— Это вы тут рехнулись, коллекционеры проклятые! — ответила я. — Искусствоведы, компьютеры несчастные!

Но он не слушал меня, в ту же секунду он взвился и исчез.

Зато Мак продолжал разглагольствовать как ни в чём не бывало.

— Надеюсь, дорогая, что, успокоившись и обретя способность рассуждать здраво, вы признаете нелепость своего поведения. Что вы имеете в виду, утверждая, что вы остановили время? Неужели вы думаете, что остановили течение реального времени? Какая наивность! Время невозможно остановить, как невозможно остановить вращение Земли вокруг Солнца. Это не более, чем рабочий термин. Представьте себе поезд. Поезд мчится со скоростью, допустим, ста километров в час. Теперь представьте себе, что вы повисли над этим поездом в самолёте, который тоже летит со скоростью ста километров в час. Не правда ли, вам кажется, что поезд под вами неподвижен? То же самое происходит и в нашем случае. Когда мы говорим, что останавливаем время, мы на самом деле ничего не останавливаем. Реальное время

продолжает двигаться так, как ему и положено. Но вы, моя прелесть, зависаете над определенным моментом, над кратким мигом бытия. Ваша скорость в это время равна скорости времени, и поэтому оно представляется вам неподвижным. Но скажите, разве вы в силах каким-либо образом помешать развитию событий?

— Разумеется, — сказала я.

— Что разумеется? — опешил мой лектор-популяризатор.

— Разумеется, я могу помешать развитию событий.

— Никогда и ни при каких обстоятельствах! Иначе это была бы уже не история, а винегрет и крошка! События, моя дорогая, развиваются своим чередом. Только вы этого не замечаете.

— Полагаю, что ты ошибаешься, Мак. И у меня даже есть доказательства того, что ты ошибаешься.

— Чушь! — вскричал он. — Если вы мне докажете, что эфемерная оболочка, перемещенная в условное время, способна воздействовать на давно прошедшие события, я тут же возьму расчет — ибо это будет противоречить всем известным законам физики!

Берш своим появлением прервал его пылкую речь.

— Катастрофа! — сказал он, бросив на меня испепеляющий взгляд. — Оно не движется. Ни взад и ни вперед. Не знаю, что эта милая особа с ним утварила, но оно застопорилось и стоит на месте.

— Что стоит на месте? — спросил Мак.

— Время — что же еще!

— Знаете что? — Мак двинулся на меня с грозным видом. — Нам все это в конце концов надоело. Немедленно приведите вещи в порядок действий! Или как там говорится — верните действительный порядок вещей.

В этот момент у меня возникла некая идея. Не может быть, подумала я, чтобы карательные органы не оформляли свои действия соответствующими бумагами. А с бумажками я как-нибудь справлюсь.

Я застала непрошенных гостей на том же самом месте, где оставила, и проверила их полномочия. У них действительно имелся ордер на обыск и арест Арнольда Виль-

гельмовича Шольца. Я уничтожила ордер и заменила его фривольным рисуночком из собрания одного французского вельможи. Мне не терпелось увидеть проклятую сапожную рожу в тот момент, когда он предъявит сей документ собравшимся. Таких мерзавцев, подумала я, полезно ставить в дурацкое положение. Затем я отпустила время — не знаю, почему Берш не сумел этого сделать, у меня оно покатилося как по маслу.

Трое представителей власти ввалились в комнату Елизаветы Брониславовны и, не подумав даже предъявлять свои бумаги, принялись переворачивать все вверх дном.

— Требуйте у них документы! — подучивала я, но безуспешно. — Требуйте ордер на обыск!

Никто меня не слышал.

— Документы! Ордер!

И вдруг до Елизаветы Брониславовны как будто что-то дошло.

— А на каком, собственно, основании вы тут учиняете разгром? — спросила она отважно. — Извольте предъявить ордер на обыск.

— Извольте! — ухмыльнулась барашковая башка и выложила на стол мое подношение.

— Это что же такое? — возмутилась Елизавета Брониславовна. — Какой же это ордер? Это какая-то скабрёзность. Нет, вы подумайте — это просто издевательство!

— Это оскорбление! — подтвердил Арнольд Вильгельмович. — Вы не смеете демонстрировать подобные вещи в присутствии женщины!

Двое в пиджаках аж рты разинули. Барашковая шапка тоже слегка обалдела, но через секунду нашлась:

— При обыске были обнаружены порнографические открытки и рисунки!

— Что?! — взвыл Арнольд Вильгельмович. — Это гнусная ложь!

— Ничего, суд разберется, — заверил тот.

Арнольд Вильгельмович обратился за помощью к пиджакам:

— Вот эти товарищи все видели!

— Видели, — подтвердила шапка. — Понятное дело видели. Понятые, где мы обнаружили эту клубничку? В шкафу, не так ли?

Так точно, в шкафу, — согласился один, а вслед за ним и другой признал, хотя не слишком уверенно:

— Вроде бы, в шкафу.

— Это гнусная ложь! — повторил Арнольд Вильгельмович, бледнея. — Это... Я не знаю, как это назвать. — Он обвел комнату взглядом, словно надеясь обрести поддержку и опору в знакомых стенах.

— Остается выяснить, не вашей ли рукой воспроизведен рисуночек, — продолжала глумиться шапка, — и не ваша ли сожительница тут позировала.

— Негодяй, я тебя придушу! — сказал Арнольд Вильгельмович.

Елизавета Брониславовна повисла на его руке.

— Успокойся, Арнольд, успокойся! Умоляю тебя, успокойся!

— Видали мы вас, таких храбрых, — прошипела шапка, на всякий случай слегка отодвигаясь. — Не ты первый, не ты последний. Понятые, подпишите протокол обыска.

— Не обращай внимания, не обращай на него внимания, — твердила Елизавета Брониславовна. — Разве ты не видишь — это провокация.

Я давила на красную кнопку, но она, как видно, отказала: время не останавливалось, и сцена разворачивалась дальше.

— Я убью его, — повторял Арнольд Вильгельмович. — Я обязан убить эту сволочь!

— Угрозы! — взвизгнула шапка. — Понятые, вы свидетели!

— Арнольд, я тебя прошу: ради всего святого, пожалей меня, — плакала Елизавета Брониславовна.

Арнольд Вильгельмович вдруг сник, обмяк, опустился на стул и обхватил голову руками.

— Успокойся, Арнольд, успокойся, — говорила Елизавета Брониславовна, бросаясь налить ему воды, но графин как на грех был пуст и чайник тоже.

У меня зарябило в глазах. Комната со всеми действующими лицами вдруг стала крениться, отодвигаться и растекаться. Вещи и люди заколебались, как воздух над горячей плитой. Я еще расслышала какую-то фразу, что-то вроде: «Следует расценивать как признание...» — и провалилась во мрак.

## XXIII

Очнулась я в узкой и пустой комнате, похожей на больничную палату. Все мое тело было облеплено и опутано какими-то приборами и проводами. В вену на руке

была воткнута игла, а из носа торчала трубка, мучительно затруднявшая дыхание. Кто-то приблизился к моей койке. Я на всякий случай прикрыла веки.

— Я говорил, я предупреждал, что ее опасно привлекать к какой бы то ни было деятельности! — прошипел Мак. — Скажите еще спасибо...

— Не выдумывай, ничего ты не говорил!.. — перебил Берш. — Тогда нам всем это представлялось наилучшим выходом. В сущности, роль посланника абсолютно невинна, но у этой особы редкий талант на пакости. Кто мог подумать, что ей вздумается подправлять события?!

— Я это предчувствовал! — стоял Мак на своем. — Все время предчувствовал, что добром это не кончится!

— Поди догадайся, что она сумеет впутать в свои махинации главный хранитель!

— Нельзя было посвящать ее в принцип действия, вот что!

— Да кто же ее посвящал? Ей были даны лишь самые необходимые инструкции.

— И тем не менее!

— Тем не менее, — согласился Берш. — Разумеется, мы сами отчасти виноваты... Но давайте лучше подумаем, что следует предпринять.

— Что же теперь можно предпринять?

— Прежде всего — избавиться от нее.

— Это ясно, но как? Конкретно — что ты предлагаешь? Выбросить ее в окошко, отравить, утопить в море?

— Нужно искать. Не может быть, чтобы не существовало никакого выхода.

— А не опасно оставлять ее тут одну? — взволновался Мак.

— Она без сознания, — ответил Берш. — И надеюсь, пребудет в этом состоянии еще достаточно долго.

— В таком случае, — заключил Мак, — мы должны максимально плодотворно использовать предоставленную нам передышку.

Даже сквозь закрытые веки я чувствовала на себе их злобные взгляды.

Анхо с ними не было, но позднее появился и он. Я приоткрыла глаза.

— Ты меня слышишь? — спросил мой милый. — Не мешало бы тебе подумать теперь о собственном спасении. Твоя благотворительная деятельность завела тебя слишком далеко. И нас всех тоже.

О, каким менторским тоном это было сказано!

— Напрасно ты переживашь,— откликнулась я,— прошлое невозможно изменить, а будущего не существует.

— Зато существует настоящее! — заметил он раздраженно.

— Ты меня ненавидишь? — спросила я.

— Не говори глупостей, пробормотал он.

Мне вдруг сделалось страшно. Я подумала, что действительно должна что-то предпринять, но страшная слабость не позволяла шелохнуться.

— Лежи,— сказал Анхо, словно угадав мои мысли.— И постарайся при первой же возможности помириться с Бершем. Пока не поздно.

— Анхо,— попросила я жалобно,— не оставляй меня.

Но он, очевидно, не расслышал этой фразы и отодвинулся куда-то в сторону. Я снова провалилась во тьму.

— Батареи перегорели,— произнес где-то сбоку, очевидно, за стенкой, незнакомый мне голос.

Когда я опять открыла глаза, комната была пуста. Я собралась с силами и выдернула иглу, впившуюся мне в руку. Затем я потихоньку отодрала один за другим все клеммы и проводки, а под конец взялась за проклятую трубку, торчащую из носа. Вытаскивать ее оказалось невыносимо противно и больно, но отчаянье заставило меня превозмочь отвращение и муку. Освободившись от всех пут, я сползла с кровати и кое-как доковыляла до двери.

## XXIV

В коридоре меня ожидал немалый сюрприз: множество людей, в основном мужчин, деловито сновало взад-вперед по всему зданию. Никто из них не обратил на меня внимания. То есть нельзя сказать, чтобы они вовсе не замечали меня,—они попросту не интересовались мной, как прохожие в большом городе не интересуются друг другом. Коренастый и смуглый мужчина, нагруженный целым штабелем длинных и гибких досок, едва не задев меня, крикнул какое-то «берегись», но на совершенно непонятном для меня языке.

Надо же, подумала я, Анхо не соврал, когда сказал, что временами здесь бывает полно народу.

Придерживаясь за стенку и стараясь не попасть никому под ноги, я вышла из здания и спустилась на берег.

Тут тоже кипела работа — кто-то что-то стругал, рубил, паял, сколачивал, обмерял. На газоне было разбито несколько палаток, и возле них молодые грудастые женщины готовили пищу, стирали, шили и покрикивали на резвых детишек. Огибая кучки трудящихся, я добралась наконец до кромки воды и присела на ступеньку.

— Как, ты уже встала? — услышала я голос Ивин. — Тебе лучше?

— Представь себе, — сказала я и сама подивилась, насколько лучше мне стало с тех пор, как я выбралась за пределы небоскреба. — А кто эти люди?

— В том-то и дело, — проговорила она со вздохом, — что нам сие неведомо. Мак утверждает, что это ты привела их сюда.

— Я? Что за бред!

— Я так и думала, — протянула она. — Но он рвет и мечет.

— Да, теперь я понимаю, почему он хочет стереть меня в порошок.

— И не только он, — заметила она со вздохом.

— А кто еще?

— Все.

— Как, и ты тоже?

— Ну, я, может быть, и нет, — произнесла она, поразмыслив. — Но ты не должна ни на кого обижаться. Как-никак, это их остров, они его создали. А тут вдруг врывается какая-то бойкая народная масса и превращает их законные владения в проходной двор. Довольно неприятно.

— Да, но при чем тут я?

— Ты вроде бы ни при чем, однако то, что ты все время протаскиваешь сюда всякую недозволенную контрабанду...

Контрабанду?

— Ну, разные воспоминания... Я ведь пыталась тебя предупредить — ничего не поделаешь, таков закон: хочешь жить в этом мире, нужно отказаться от прошлого.

— Разве это зависит от нашего желания — вспоминать или нет?

— Конечно, зависит, — ответила она, разглаживая ладонью песок. — Ты что же, думаешь, что у меня или у Тула не было никакого прошлого? Просто мы с этим покончили. Что делать — чем-то приходится жертвовать.

— Вам больше повезло с памятью, — усмехнулась я.

— Ты так думаешь? — сказала она. — Напрасно ты так думаешь. Ты помнишь Алешино?

— Что? — Я оторопела.

— Пионерский лагерь в Алешино. Помнишь большой костер в конце смены?

Я взглядела в ее лицо и вспомнила: огромная пылающая ель, блики пламени, восторг и сияние во всех глазах, и вдруг какое-то недоразумение, ссора какая-то, что ли. Черноволосая девочка — немного постарше меня, из второго отряда, вдруг вскочила и закричала пионервожатому: «Какая подлость!» Вот, собственно, и все. Вскочила и убежала. Больше я ее не видела. Очевидно, родители забрали ее домой. А может, и не забрали, может, мы просто больше не встретились, нам всего-то оставалось жить в лагере день или два.

— Но что там, собственно, произошло? — спросила я.

— Как, ты разве не видела?

— Нет.

— Я думала, мы будем собирать хворост, всякие сухие ветви, которые только мешают расти траве, сложим из них костер. Но оказалось, что они намерены поджечь зеленую ель. Молодую прекрасную ель. Неужели ты не помнишь? Он притащил банку с бензином и стал поливать ветви. Я сказала: «Не смейте этого делать! Дерево тоже хочет жить». А он засмеялся и сказал, что в лесу деревьев много. И тогда я убежала. Не помнишь? Видишь, ты тоже не все помнишь...

— Но при чем тут подлость? Скорее уж следовало сказать: жестокость. Я думала, он чем-то обидел тебя.

— Так вырвалось... Подлость, жестокость — какая разница? Я не могла этого видеть. Я бежала тогда через лес, и мне казалось, что я слышу за спиной крик горящего дерева. Если хочешь знать, я и сейчас его слышу... — Она опустила голову. — Нет, я ни за что не согласилась бы жить в том мире. Ни за что! Хорошо, что со всем этим покончено. Видишь, — продолжала она, помолчав, — дело не в том, чтобы забыть, дело в том, чтобы не вспоминать.

— Но он, в общем-то, был неплохой парень, этот пионервожатый, — сказала я. — Помнишь, когда смена кончилась и надо было уезжать, вдруг пошли дожди. Дорогу так развезло, что ни грузовик, ни автобус не могли проехать. Отъезд отложили на день, потом еще на день, а потом сказали, что мы пойдем до станции



пешком — семнадцать километров. И каждый должен был нести свои вещи. Но у меня-то чемодан был легкий, я даже успевала по дороге лакомиться земляникой...

— Да, — сказала она, — там была пропасть всякой ягоды: и земляники и голубики...

— А у Наташки Хохловой — помнишь ее? — у нее был такой чемоданище, что она его еле от земли оторвала. Да и вообще она была толстая и неуклюжая. Через каждые два шага шлепалась в грязь и редела. И тогда пионервожатый сжалился над ней, взял у нее чемодан и волок его всю остальную дорогу.

— Это потому, что у нее папаша был заместитель начальника цеха, вот он и выслуживался.

— Тебе нравится плохо о нем думать.

— Не знаю, может быть. Все равно я не смогла бы там жить. — Она опять вздохнула. — А здесь я счастлива. Посмотри, у меня есть все: дом, муж, любимое дело, мои зверюхи.

— А помнишь, — спросила я, — какая там была речка? И васильки? Целые поля васильков...

— Да, во всяком случае, васильков там было больше, чем колосков.

— Мы ходили их рвать...

— Да, правда, — сказала она и вдруг тихонечко запела: — «Ой, васильки, васильки, много растет вас на поле...»

— «Много растет вас на поле», — подхватила и я.

— «Помню, у самой реки мы собирали для Оли...»

Я увидела, что по щекам у нее катятся слезы. Какая-то тетка прошла мимо с ведрами и с удивлением покосилась в нашу сторону.

— Оля, — сказала я, заглядывая ей в глаза и обхватывая ее за плечи, — ты ведь совсем не изменилась. Совсем! Как же я тебя не узнала?

— Не называй меня этим именем, — прошептала она, — я его забыла! Я не хочу ничего вспоминать! — Она освободилась из моих рук и стала стряхивать слезинки с платья, как стряхивают крошки.

— Постарайся их успокоить, — продолжала она после некоторого молчания. — Я знаю Берша и Мака — с ними можно поладить. Дай им понять, что ты готова прийти к соглашению.

— Боюсь, что я не сумею этого сделать.

— Хочешь, я тебе помогу?

— Нет, спасибо, не хочу,— сказала я и, не удержавшись, прибавила опять: — Ты совсем не изменилась. Правда, ни капельки...

— Не говори об этом! — Она поднялась и пошла, но вдруг оглянулась: — Подумай о том, что тебя ждет. Ты все потеряешь.

Я вздохнула, но промолчала.

## XXV

Под вечер я вернулась в здание. Остаться в своей комнате я не собиралась, хотя и плохо представляла, что буду делать дальше. Возьму, решила я, самые необходимые вещи и устроюсь на ночь где-нибудь на берегу — среди этих деловитых поселенцев.

Интерьер небоскреба существенно изменился за те несколько часов, что я отсутствовала. Весь холл и часть коридора были теперь заняты ладными, веселенькими, растущими на глазах домиками. Я подивилась, до чего ж строители продвинулись в своих трудах. Повсюду стоял запах свежеструганного дерева. Какие-то переходы и галереи лепились по стенам, и пробраться к лифту оказалось невозможным. Я стала подыматься по лестнице и вдруг на повороте услышала знакомый скрипучий голос.

— Вы подумайте! Это же бедствие, саранча какая-то! — восклицал Мак. — Еще немного — и они доберутся до Музея!

— Ты только не подавай идей! — одернул его Берш.

Я выглянула из-за угла и увидела всю троицу — Мака, Берша и Анхо, кое-как примостившихся на каких-то чурбаках в тесном закутке между окном и вновь возведенной бревенчатой башенкой.

Меня они, судя по всему, не заметили, и я предпочла не высовываться.

— Неужели никак невозможно вступить с ними в контакт? — спросил Анхо.

— Почему же, — отвечал Мак. — Сколько угодно! Я им говорю: граждане, это частные владения, вы не имеете права тут распоряжаться, а они мне в ответ...

— Можешь не повторять, — прервал Берш.

— Но я уверен, господа, я убежден, что они не являются самостоятельной субстанцией, — продолжал Мак. — Сами по себе они не долго просуществовали бы.

Они не автономное явление, а лишь производное от некой печально известной первопричины.

— Полагаю, что в данном случае ты прав, — поддержал его Берш. — Корень зла в нашей красавице. И если бы нам удалось этот корень каким-то образом выкорчевать, — он дополнил свои слова выразительным жестом, — то и крона — какой бы пышной и развесистой она сейчас не представлялась — завяла бы и отпала сама собой.

— Не сомневаюсь — это так, — подхватил Мак.

Анхо вздохнул и потупился, но ничего не возразил.

— Весь вопрос в том, как его выкорчевать, — продолжал Берш.

— Не знаю! — воскликнул Мак. — Но это стыд и позор! Что же это получается? Что мы при всем нашем, извините, интеллекте и многогранном опыте не можем справиться с одной паршивой бабенкой!

— Не забывай, мы стеснены в средствах, — пробурчал Берш.

— Так что же, сдаться?

— Нет, почему же... Сдаться никогда не поздно.

— Нужно забрать у нее часы, — сказал Анхо.

— Совершенно верно! — подхватил Мак. — Я еще тогда сказал: снимите с нее часы! Не понимаю, почему это не было сделано!

— О чем вы говорите! — огрызнулся Берш раздраженно. — Часы были испорчены!

— Видимо, не настолько, чтобы она не сумела их восстановить.

— А я тебе говорю — они были вконец испорчены!

— Не спорьте, пожалуйста, — вздохнул Анхо. — Нужно намстить реальные шаги.

— Действительно, — поддержал его Мак, — дорога каждая минута.

— Для того, чтобы снять с нее часы, — сказал Берш, — нужно как минимум разыскать ее.

— Предоставьте это мне, — сказал Анхо. — Меня она послушается.

Стена слегка качнулась у меня перед глазами, но я превозмогла себя и удержалась на ногах.

— Надеюсь, — фыркнул Мак.

Я выступила из своего укрытия.

— Можете не трудиться — вот вам ваши часы. — Я расстегнула браслет и швырнула им их поганый подарок. — Сожалею, что доставила столько хлопот, это не входило в мои намерения.

Все трое переглянулись — многозначительно, но и слегка сконфуженно. Берш поднял часы, повертел их в руках и заявил с удовлетворением:

— Видите, я был прав — они не действуют!

— Не сказал бы, что это меня так уж сильно радует, — промямлил Мак. — Это означает, что наша задача гораздо сложнее, чем мы думали.

Анхо сидел, обхватив голову руками и не подымая глаз.

— Вы переоцениваете мою роль в этой истории, — сказала я. — Причина ваших несчастий не во мне. Поверьте, я не имею ни малейшего отношения к тому, что здесь происходит. Боюсь, что даже при всем желании я не сумела бы вам сколько-нибудь повредить.

— Вы и без желания с этим прекрасно справляетесь, — прошипел Мак.

— Она даже не понимает, что она натворила! — воскликнул Берш.

— Зато я понимаю, что вы готовы на все, лишь бы от меня избавиться! — Губы у меня задрожали, и я умолкла, чтобы не расплакаться.

— Против вас лично, — произнес Мак вкрадчиво, — мы ничего не имеем. Но как бы там ни было — вольно или невольно — вы угрожаете нашему существованию. И, что не менее важно, нашему делу. Делу, которому мы отдали все свои силы и способности! Мы обязаны защищаться!

— Ну что ж, — сказала я, — защищайтесь. Смеею только напомнить, что я сюда не просилась. И идея посланничества тоже принадлежала не мне, а вам.

— От этого никому не легче!

— Почему ты не можешь сидеть тихо?! — заорал вдруг Анхо, весь побледнев. — Я тебя просил, умолял тебя — остановись, не толкай нас на крайности!

Я смотрела на него, не зная, что и подумать — в жизни между нами не было подобного разговора. То ли он прикидывался, то ли просто свихнулся.

— Меньше страсти, — заметил Мак схибно. — Страсти, мой мальчик, до добра не доводят.

Анхо бросил пылающий взгляд и на него.

— Вы, моя дорогая, не так уж глупы, — продолжал Мак. — Но вы упрямы и безрассудны! Вам представилась исключительная, небывалая возможность поучаствовать в великом деле, но вы этой возможностью пренебрегли. Скажите, для чего, по-вашему, существует жизнь?

— Жизнь? По-видимому, для этого самого и существует — для жизни.

— Ничего иного я от вас и не ожидал, — заключил он удовлетворенно. — А вам никогда не приходило в голову, что жизнь — это, так сказать, исходный материал, сырая глина, из которой искусство лепит свои бессмертные образы?

— Лепит не искусство, — возразила я, — лепит человек.

— Человек — лишь орудие, и никак не более того. К тому же, я полагаю, вашему Вильгельму Арнольдовичу было бы даже лестно узнать, что его труды не пропали даром и что плоды его вдохновения ограждены от тлена и забвения. Если бы вы, уважаемая, добросовестно отнеслись к возложенной на вас задаче и вместо того, чтобы вытворять инфантильные фокусы, доставили искомые шкатулочки сюда, в Музей, то ваш Вильгельм Арнольдович первый сказал бы вам спасибо.

— Тебе, Мак, с твоей электронной башкой этого не понять, — прервала я его речь. — Как я могу думать о каких-то дурацких шкатулках, когда на моих глазах погибает живой человек!

— Живой человек? — подхватил он радостно. — Прекрасно! Кого вы называете живым человеком? Ваш Арнольд Вильгельмович, смею заметить, родился в тысяча восемьсот восемьдесят четвертом году. Сколько же, по-вашему, он может числиться в живых? Согласитесь, моя милая, что не скончался даже он в тысяча девятьсот сорок третьем году от воспаления легких, рано или поздно ему все равно пришлось бы покинуть ту юдоль скорби, которую поэты называют жизнью. С нашей же точки зрения он в любом случае человек неживой. Но что знаменательно — те самые шкатулки, которые вы изволили определить как дурацкие, и доныне ни в коей мере не потеряли своей изначальной ценности. И именно в них пребывает то, что принято именовать душой художника, в них, а не в каком-то дрянном и ненадежном теле! — Тут коршун-коллекционер не выдержал собственного пафоса, вскочил и принялся кружить в тесном пространстве коридорчика. — Да и вообще, дорогая, подумайте, что это будет, если каждый, кому не лень, начнет подправлять прошлое в соответствии со своими понятиями добра и справедливости? От всех взлетов человеческого чувства — от любви и от жертвенности — останутся, извиняюсь, рожки да ножки! А сокровищницы

мировой культуры придется отдать под детские ясли! Жизнь только тем и ценна, моя прелесть, что она трагична и однозначна. Да, к вашему сведенью, трагичность — тот воздух, которым питается искусство. Кто бы стал живописать Жанну д'Арк, не будь девственница сожжена на костре, а?

— Прекрасно, Мак, — сказала я. — Очень убедительно, хотя и не слишком оригинально. Хотелось бы только понять, что заставляет вас — лично вас, так печься о высоком искусстве? Насколько я успела заметить, вы не интересуетесь ни живописью, ни архитектурой, ни музыкой, ни кино. И с книжкой в руках я вас тоже ни разу не заприметила. Остается предположить, что искусство имеет в ваших глазах какую-то иную, побочную ценность. По-моему, вы несравненно больше дорожите своей должностью музейного работника, нежели мировой культурой.

— Дорогая, вы прелесть! — воскликнул он бодро. — Я вас обожаю и принимаю ваш вызов. Но если уж мы перешли на личности, то позвольте и мне задать вам один вопросик. Что это за причуда — вставать на защиту какого-то Вильгельма Арнольдовича, которого вы отродясь не видели и с которым в жизни не перебросились ни единым словом, в то время, как вокруг вас — сплошь и рядом — погибают ваши друзья и близкие? Можно было бы еще усмотреть некий смысл в ваших поступках, если бы вы, например, попытались спасти родного отца, или, допустим, лучшую подругу, или того же одноклассника, который, как нам обоим известно, нелепо и бесславно погиб в лагере заключения. Тут еще можно было бы поговорить о вспышке чувств, об эмоциях, не управляемых рассудком. Но Арнольд Вильгельмович? Чужой и посторонний дядя? Чем, позвольте узнать, он вдруг сделался вам так дорог и любезен? Что же вы молчите? Вам нечего ответить? Вот уж воистину женская логика! Весь мир псу под хвост ради минуты случайной прихоти!

Берш весьма заинтересованно следил за нашей перепалкой и с одобрением поглядывал на Мака. Анхо сидел, опустив плечи и уставившись в пол. Я вспомнила, как впервые обнаружила их, эту дивную тройцу. Какими они тогда мне показались всемогущими и таинственными. Хотя, если честно признаться, они и тогда не изъявили ни малейшей радости по поводу моего появления и не скрывали своего желания избавиться от непрощеной

гости. По сути дела, мне на них обижаться не за что, они с самого начала были достаточно откровенны, это я не желала видеть очевидного.

— И если взглянуть на ту же проблему, но с другой стороны,— продолжал витийствовать Мак,— то и тут ваш Арнольд Вильгельмович далеко не первый клиент на сочувствие. Да. Встречались на памяти человечества, встречались, моя милая, и большие праведники, я уж не упомню их всех, да и ни к чему, много было всякого рода героев и мучеников, но все равно — мотив ваших действий остается для меня неразгаданным, а в широком масштабе — и непростительным.

— Ты знаешь, Мак,— сказала я,— подобным слогом выражался персонаж одного литературного произведения.

— Не интересуюсь,— хмыкнул он пренебрежительно.— Мы ведь, по вашему верному наблюдению, книг не читаем. Но что касается персонажей внелитературных, то эпизодик из жизни могу привести. В вашем вкусе, дорогая,— вы ведь любительница всяких экскурсов в отстойники минувших мгновений.

Анхо вдруг стремительно поднялся и покинул наше общество. Можно было подумать, что ему смертельно опротивел весь этот разговор.

— Представим себе, например,— продолжал Мак, проводив его неодобрительным взглядом,— некий скверик возле некой станции метро. Действующих лиц, так сказать, два: вы, моя прелесть, и ваша подружка по имени Тамара. Подруга ваша чем-то огорчена, возмущена, удручена, расстроена, словом, находится не в своей тарелке, вы же со своей стороны ее чувств не разделяете, а если и разделяете, то не до конца и не полностью. Как вы тогда выразились? «Разве можно так убиваться о том, что было тридцать лет назад?» Удивительно верное замечание! Я бы сам охотно под ним подписался. Но главное не в этом. Главное, какой прекрасный, умопомрачительный, ослепительный вечер ожидает вас впереди,— разумеется, после того, как вы отделаетесь от этой ревы! Вы, конечно, помните? Разумеется, помните — такие вещи не забываются. Чудо, восторг! Огни рампы — вернее, Дома кино. Демонстрация свежей картины, если не ошибаюсь, местного производства: Да, с одной стороны демонстрация, а с другой — подруга с ее сложными общественно-производственными отношениями. Подруга, разумеется, в такой вечер неуместна.

— Ты ошибаешься, Мак,— прервала я,— подруга не имела ни малейшего отношения к Дому кино, так же как и Дом кино не касался подруги,— это были два совершенно разных вечера.

— В самом деле? Удивительно! Два разных вечера... Ну что ж, допустим. Допустим, что я слегка перепутал даты. Случается. Нет, не подумайте — я нисколько вас не осуждаю. Честное слово. По-моему, вы уделите ей достаточно терпения и внимания. Вам не в чем себя упрекнуть. И даже если вы были несколько категоричны в своих выводах, тем не менее невозможно отказать вам в трезвом подходе к сложившимся обстоятельствам. В общем и целом мы не намерены фиксировать отдельные выражения, зачем? Кстати, кто он был, этот молодой человек? Нет, это разумеется, не существенно. Но очень, очень приятный мужчина. И его, помнится, в тот вечер так превозносили. Герой дня! Надо же, что из всех присутствующих дам, из всех, можно сказать, красавиц и артисток он выбрал вас. Именно с вами разделил восторг удачи. Чрезвычайно любезно с его стороны, не правда ли?

— Мак,— вздохнула я,— мне кажется, ты не просто путаешь даты — ты сознательно подтасовываешь факты.

— Не знаю, дорогая, не знаю. Может, и подтасовываю. Но согласитесь — волнующая коллизия. Вполне достойная пера драматурга.

— Скверного драматурга.

— Возможно, возможно. Но какие тосты, какие речи! Взгляды, сияние бокалов! Все-таки, что ни говорите, обольстительная публика эти киношники. Дорогая, я не собираюсь делать вам комплименты, но вы тоже были вполне на уровне, сй-Богу, ничуть не хуже всех прочих граций и обольстительниц. Жаль только, что именно в этот вечер ваша подруга Тамара, ваша лучшая и, можно сказать, единственная подруга...

— Замолчи! — сказала я.

— Как прикажете, уважаемая.— Он в притворном смирении склонил свою шарообразную голову набок и потупил взор.

— Мак, ты кудесник и чародей! — воскликнул Берш, ударяя в ладоши.— Маг и волшебник! Ты одолел врага его же оружием! Браво!

Кудесник и чародей расплылся в скромной улыбке.

— Я вас ненавижу,— сказала я.— Оборотни, вычислители проклятые!



— Нелогично,— заметил Берш.— Разве можно ненавидеть вычислитель?

— Да, дорогая, ничего не попишешь, у нас так,— продолжал Мак горделиво,— у нас дозволено все забыть и полностью перечеркнуть прошлое, но либо—либо. Если кому угодно помнить, так уж помнить, извините, все до конца. А коль скоро кто наших взглядов не разделяет, что ж—насильно мил не будешь, как говорится, скатертью дорога, ничего не поделаешь—не сошлись характерами.

— Высокие договаривающиеся стороны пришли к взаимному непониманию,— поддержал его Берш.

Торжество их, однако, продолжалось недолго. Вернулся Анхо и с трепетом в голосе сообщил, что мы все тут замурованы. Обстроены со всех сторон неодолимыми преградами.

— То есть как, со всех сторон? — пробормотал Берш, приподымаясь со своего места.

Все трое обернулись ко мне. Взоры их выражали одновременно и угрозу, и мольбу о помилованье. Но я решила не вдаваться в дальнейшие объяснения. Пускай попляшут, сволочи. Я прошла по тесному кривому проходу, оставшемуся от построек, и уперлась в дверь, сколоченную из четырех ладно пригнанных друг к другу досок. Потянула за ручку и перешагнула через порог. Анхо, надо полагать, не догадался этого сделать, поскольку не был знаком с принципом дверных петель. Жизненные навыки, подумала я, тоже имеют кой-какую ценность. Дверь неторопливо захлопнулась за моей спиной. Три мерзавца остались в ловушке.

Я добралась до своей комнаты и улеглась в постель, но уснуть не могла. Неужели они в самом деле собираются меня изничтожить? И Анхо? Анхо с ними заодно?! Значит, все что было, было обманом и притворством—все трепетные взгляды и томные улыбки, все нежные слова, все покровительственные жесты. Но разве это возможно—такое расчетливое лукавство, такое хитрое коварство? Не может быть, не может быть... Я что-то перепутала, чего-то не поняла.

В конце концов я поднялась и отправилась выручать пленников.

Я разыскала тот закуток, где происходил наш разговор, но нашла там одного Анхо. Мое появление как будто не удивило его.

— А где Берш и Мак? — спросила я, лишь бы начать разговор.

— Не знаю, — ответил он не сразу. — Зачем они тебе?

— Да нет, — сказала я, — они мне ни к чему. Просто я думала, вы все еще ищете выход.

— Ничего мы не ищем, — произнес он мрачно. — Никакого выхода нет.

Мне стало жаль его. Я присела на землю у его ног — правильное было бы сказать, на пол, поскольку мы находились в здании, но некогда блестящие прохладные каменные плиты ныне окончательно скрылись под толстым слоем песка и щебня.

— Не надо отчаиваться, может быть, все еще образуется.

Он метнул на меня гневный взгляд. Я сделала вид, что не замечаю его раздражения.

— Знаешь, что я подумала? А вдруг эти люди для того сюда и явились, чтобы стать посетителями вашего Музея? Обидно ведь — собрано столько сокровищ и даже поглядеть некому.

— Посетителями! — фыркнул он. — Да их, этих артельщиков, к Музею близко подпускать нельзя.

— Почему? Посмотри, какие они понаставили ладные домики. По-моему, им вовсе не чуждо понятие красоты.

— О да, не чуждо! Повесят у себя в горнице картину с корабликом или коврик с лебедями, а остальное употребят скотине на подстилку. А также в качестве топлива.

Я вспомнила письма трудящихся, обличавших «абстракционистов», и подумала, что он отчасти прав. «Разве у женщины бывает такая шея?»

— Но, может, — продолжала я тем не менее, — они не совсем безнадежны. Если их развитие получит должное направление... Ведь существует же преимущество культур.

— Преимущество культур! Оставь, пожалуйста. Да и вообще, дело не в них, не в этих трудягах. Разве ты не видишь — плотина дала течь и время затопляет наш остров, как дырявую шхуну? Все, что мы с таким трудом воздвигли и создали, все рушится. Идет прахом. Именно так — идет прахом, — повторил он с горечью. — В том

числе и мы сами. А когда нас не станет, не станет и Музея.

— Зачем такие мрачные прогнозы? — сказала я. — Вполне возможно, что в конечном счете все обернется совершенно иначе. Не исключено, что у вас еще найдутся преемники и последователи.

— Где же они найдутся? Среди этих дикарей?

— Ну, зачем же так? Они вовсе не дикари. Может, они не такие уж тонкие ценители искусства, но во всех остальных отношениях вполне цивилизованные люди.

— Если уж ты не смогла проникнуться сознанием важности нашей идеи, — сказал он, — то на них рассчитывать не приходится.

— Может, не они сами, может, их дети. К тому же не исключено, что ваши собственные дети и внуки пожелают продолжить ваше дело.

Он устало поморщился.

— О чем ты говоришь? Какие дети, какие внуки?

— Обыкновенные. Слышал выражение — отцы и дети? Вот ты, например, скоро будешь отцом.

— Я — отцом? Смешно.

— Что же тут смешного?

— Я даже не уверен, был ли я когда-нибудь сыном, а ты говоришь — отцом.

— Анхо, неужели ты в самом деле ничего не замечаешь?

— Чего я не замечаю? — вздохнул он устало.

— Того, что я беременна.

— Ты — беременна? — он взглянул на меня с сожалением. — Не выдумывай.

— Я не выдумываю.

— Ты что-то перепутала.

— Хочешь послушать, как у него бьется сердце?

— Оставь! Что за дурацкие шутки?!

— Да какие же это шутки? Дело вполне серьезное.

— Но это невероятно! (Он, кажется, начинал верить.) Этого не может быть!

— Почему же?

— Но ведь мы... — Он уставился на меня и замолк. — Нет, это полнейшая чепуха.

Я взяла его руку и приложила к своему животу.

Глаза его расширились, и в них отразился неподдельный ужас.

— Невозможно, невероятно, — пробормотал он, хватаясь за голову. — Как это могло произойти?

— Я тебя не понимаю,— сказала я.— Ты что, боишься, что я подам на алименты?

Он посмотрел на меня в сомнениях.

— Какие элементы? При чем тут элементы?

— Анхо,— я решила внести окончательную ясность в данный вопрос,— не волнуйся, у меня нет никаких претензий к тебе. Если не хочешь считать себя отцом, можешь не считать. Это будет мой ребенок, только мой.

— Твой ребенок? Ты не понимаешь, что ты говоришь. Если это правда, то я самый последний преступник! Негодяй, подонок, чудовище!

— Зачем же так драматизировать? — прервала я этот непонятный взрыв отчаянья.— Ситуация вполне банальная. И я действительно ничего от тебя не хочу и не требую. Мне приятно думать, что у меня будет ребенок.

Он принялся со стоном раскачиваться из стороны в сторону.

— Какой ужас, какой ужас! Это все равно что ударить калеку, все равно что изнасиловать младенца!..

— Во-первых, я не калека,— заметила я с некоторой обидой,— а во-вторых, давно уже совершеннолетняя.

— При чем тут ты! — простонал он.

— Ни при чем,— сказала я, подымаясь.— Знаешь, Анхо, мне надоели твои истерики! Разыгрывай эти сцены перед Бершем и Маком. А я как-нибудь обойдусь. Счастливого оставаться.

Тут он проворно вскочил на ноги и схватил меня за плечи.

— Берш знает об этом?

— Не думаю, чтобы он оказался внимательнее тебя.

— В таком случае, ничего не говори ему. Я попробую выяснить. Может быть, это еще поправимо.

— Не беспокойся, не скажу,— пообещала я, освобождаясь из-под его рук.

— Мы погибли, погибли,— продолжал он бормотать за моей спиной.— И во всем виноват я, один я...

## XXVI

На следующий день он появился в моей комнате — абсолютно спокойный и неподражаемо величавый. Но сказал он совсем не то, что мне хотелось бы услышать.

— Я думаю, ты сама понимаешь, что твое дальнейшее пребывание здесь немыслимо,— объявил он без обиняков.

— Догадываюсь,— сказала я.

— В таком случае для нас всех будет лучше, если ты как можно скорее вернешься к себе.

— Каким образом?

— На той же самой машине времени, на которой ты прибыла сюда.

— Ты говорил, что машина времени уничтожена,— напомнила я.

— Уничтожена ее характеристика,— пояснил он невозмутимо.— Но тот единственный экземпляр, как выяснилось, сохранился. Закатился под лестницу и преспокойно пролежал там до сего дня. Представь себе, его помогли обнаружить именно эти невыносимые пришельцы.

— Видишь, не было бы счастья, да несчастье помогло,— сказала я.

— Если не возражаешь...— Тут он слегка запнулся, возможно, подыскивая выражение поделикатней.— Мы могли бы сегодня же все закончить.

— Что закончить?— переспросила я как дурочка.

— Сегодня благоприятное расположение течений,— пояснил он.

— Нет, только не сегодня!— Я почувствовала, что ноги не держат меня, и присела на диван.

— Зачем откладывать?— Он пожал плечами, но все же смягчился:— Ну, хорошо, завтра.

— Завтра...— повторила я.

Он никогда не любил меня, подумала я. Это была часть программы по моему обезвреживанию. Они совместно с Бершем и Маком разработали весь план.

Я взглянула ему в глаза в надежде найти там опровержение этому неприятному предположению, но его прекрасное лицо не выражало ничего, кроме легкой досады.

— Ты очень изменился, с некоторых пор,— сказала я.

— Не я один.— Он усмехнулся.— Кстати, насчет твоей беременности. Берш мне все объяснил. Это довольно распространенное явление у женщин.

— Довольно распространенное,— подтвердила я.

Но оказалось, что он имеет в виду нечто иное.

— Своего рода навязчивая идея. Мнимое убеждение,

возникающее либо на почве страха перед возможной беременностью, либо, напротив, на почве бесплодия. У некоторых особ в результате длительного самовнушения даже начинает увеличиваться живот.

— Мой случай может служить примером чрезвычайной внушаемости, — вздохнула я.

— Так, значит, завтра, — произнес он, не заметив моей иронии.

Он удалился. Тяжесть и боль в голове и во всем теле заставили меня прилечь, но тут я подумала, что нужно же как-то подготовиться к отъезду. К переезду. Собрать какие-то вещи — для себя и для младенца. Ребенку потребуется куча всякого барахла, а на мою зарплату много не купишь.

Но несмотря на это здравое соображение, я продолжала лежать, пока вдруг не сообразила, что *завтра* уже превратилось в *сегодня*. Тьма за окном стала редеть, наступало утро. Белесое облачко, похожее на круглую плоскую рожицу, повисло по ту сторону стекла. Затем облачко взмахнуло громадными ушами и отчалило. В полном отчаяньи я сползла с дивана, подошла к шкафу и принялась выбрасывать вещи на пол. Что же взять? Разумеется, только самое необходимое. Но что именно? Испанское платье там будет ни к чему, и без норковой шубки тоже как-нибудь обойдусь. Пенюары и кимоно в сторону. Возьму несколько юбок и свитеров. Какой-нибудь халат. Две-три блузки. Лифчики. Лифчиков надо взять несколько штук. Лифчик никогда невозможно достать. И как можно больше чулок. Чулки — помимо всего прочего — прекрасный подарок знакомым на день рождения. Да, но самого главного — детских вещей — тут нет. То есть, может быть, где-то они и скрываются, в каких-то неведомых мне комбинациях кнопок, но поди отыщи теперь. Ну что ж, возьму фланелевые простыни — из них можно сделать пеленки. Несколько платьев — и зимних, и летних. Да, и, конечно, теплое пальто. А может, все-таки взять норковую шубу? Она легкая и такая славная. Что еще? Шарф, брюки, куртка. Хорошо бы захватить пуховое одеяло. Необходимо детское одеяльце... Ладно, возьму одно взрослое и разрежу пополам. С ума сойти, сколько человеку требуется всякого тряпья! А обувь? Чуть не забыла обувь! Две пары туфель обязательно. Босоножки, сапоги, меховые тапочки, простые та-

почки. Кеды какие-нибудь, пожалуй, тоже пригодятся — вдруг я еще надумаю ходить со своим отпрыском в походы. Не забыть всякие трусики и комбинашки. Хорошо бы взять лыжный костюм, только где он?

Я принялась заново перерывать сброшенное на пол добро и вдруг увидела серенькое байковое платьице. Мое милое платье! Откуда оно тут взялось? Елизавета Брониславовна сшила мне его, когда я была в третьем классе. Беленький круглый воротничок, на спине четыре обтянутые материей пуговички. Я вытянула платье из кучи вещей, уткнулась лицом в мягкую ткань и задумалась.

Должна ли я быть такой покладистой и послушной? Может, послать их ко всем чертям и остаться? Но, с другой стороны, как тут растить ребенка? Местечко, как ни крути, диковатое. Хорошо еще, что теперь появились какие-то люди... Нет, оставаться здесь невозможно. Но если ехать, то следует поторопиться со сборами. Вот-вот явится Анхо, а при нем будет не до упаковки чемоданов. Впрочем, никаких чемоданов и нету. Придется связать все барахло в узлы. Норковую шубу я, наверно, продам. Чтобы первый год посидеть с ребенком дома. Значит, нужно взять еще какое-то пальто для себя. Шуба, надо полагать, не вызовет больших осложнений — мало ли, может, она досталась мне в наследство от бабушки.

Я принялась связывать узел и вдруг остановилась. Что это со мной? Занимаюсь черт знает чем. Нет, я, как видно, окончательно свихнулась — думаю о каких-то лифчиках, шарфах, чулках. А книги? А рукописи? Куда я засунула свой несчастный дневник? Забросила и даже не потрудилась переписать начисто. Теперь придется тащить с собой рулоны туалетной бумаги. То-то Мак повеселится. Впрочем, шут с ним, с Маком.

Я стала выгребать из письменного стола свои бумаги и ужаснулась тому, как мало сделано. О господи! Вот это — итог всех трудов? Одна несчастная статья, да и та не закончена... Чем я тут занималась? На что тратила свои дни?

Я снова опустилась на диван и просидела еще с полчаса, то впадая в тоску и отчаянье, то с надеждой оглядываясь на дверь. Потом я все-таки заставила себя подняться. Схожу в библиотеку, отберу несколько книг. Будет хоть какая-то польза от моего пребывания здесь.

Я вышла в коридор и двинулась вдоль новостроек в сторону лифта, но вскоре заблудилась. Домишки каким-то таинственным образом потеснили каменные устои небоскреба. Перед каждым домиком теперь был разбит палисадник, на задворках высились штабеля дров и и хозяйственные постройки, а на подоконниках красовались клетки с птицами. Некоторые из нахохлившихся попугайчиков показались мне странно знакомыми — наверно, это были мои приятели из рощи. Я присела на перевернутый бочонок у какого-то плетня и стала следить за скачками плененной пичуги — с жердочки на жердочку, с жердочки на жердочку.

Потом, как-то незаметно позабыв о своем намеренье посетить библиотеку, я вернулась к себе в комнату и увидела там Мака.

— Пора, труба зовет, — просипел он сладчайшим голосом. — Ничего не поделаешь, дорогая, все имеет свой более-менее естественный предел, свой конец, что называется, в том числе и наше пребывание в том или ином пункте. Надеюсь, — он обвел рукой раскиданное по полу барахло, — вы не намерены тащить это с собой? Уверяю вас, не имеет ни малейшего смысла. Вещи, как это ни прискорбно, не выдерживают барьера времени. Можете не сомневаться — проверено неоднократно.

Я ничего не ответила. Он указал мне на дверь, и я шагнула в коридор. В эту минуту мне было совершенно безразлично — идти или стоять, ехать или оставаться, быть или не быть. Мы покинули здание и направились к морскому берегу. У подножья лестницы поблескивал на солнышке прозрачный куб высотой метра в два. Мак приоткрыл дверцу в одной из его стен и предложил мне войти. Затем он и сам протиснулся внутрь и принялся крутить какие-то рычажки и кнопки. Сверил свои часы с показаниями приборов, свесил голову набок и скорбно вздохнул:

— Ну что ж, как говорится, ехать так ехать.

До последней минуты я была уверена, что Анхо придет попрощаться. Но он не пришел. Видимо, счел излишним. Он, правда, показался на секунду на верхней площадке лестницы, — я вдруг поверила, что сейчас он сбежит козленком по всем ступеням и скажет, что все это глупое недоразумение, что я вовсе не должна никуда возвращаться, что мы с ним отправляемся на наш остров, а Мак пусть убирается ко всем чертям вместе со своей машиной времени, — но ничего такого он не сделал.



Глянул вниз и увидев, что я все еще тут, он слегка поколебался, потом повернулся и скрылся в дверях небоскреба.

— Ни о чем не волнуйтесь, — проверещал Мак у меня над ухом, — эта штучка наилучшим образом доставит вас на место, только заклинаю и умоляю — ни к чему не прикасайтесь и ничего не пытайтесь вертеть. Будьте умницей, и вы выйдете из нее в ту же самую минуту, как вошли. В тот же самый день и час. Никому и в голову не придет...

«Ну нет, — подумала я, — ни в час, ни в день, ни в столетие. Уж лучше куда-нибудь в район большого взрыва».

## XXVII

Мак наконец оставил меня в покое, и я тут же попыталась (в нарушение полученных наставлений) крутануть какой-то рычаг. Но ничего из этого не вышло — рычаг заупрямился и остался недвижим. Присмотревшись к нему получше, я увидела, что это вообще никакой не рычаг, а просто выступ, нарост на том, что должно было бы служить приборной панелью. Все остальные кнопки тоже были лишь бутафорией — как в детских игрушечных кассах, где вместо клавиш наклеены бутылочные пробки. Я стукнула по ним кулаком, но это, разумеется, никоим образом на них не подействовало.

Из своей стеклянной клетки я могла наблюдать происходящее снаружи. Мак пытаясь тащился по лестнице, на каждой площадке останавливаясь и отдуваясь. Достигнув все же верха, он приободрился и приветственно помахал кому-то ручкой. Мною он больше не интересовался. Поселенцы занимались своими обычными трудами, не обращая ни малейшего внимания на такую чепуху, как машина времени. Солнце клонилось к горизонту и уже почти коснулось воды. Волны не спеша ударялись в край последней ступеньки, за газонами темнела роща, а над всем небольшим вечерним мирком нависала туша небоскреба.

И вдруг все это поблекло и рассыпалось на тысячи осколков. Рассеялось как дым. На месте моря и солнца какое-то время еще стояло искрящееся облачко, но потом и оно погасло. Серые сумерки окутали все вокруг. Мне

показалось, что я повисла в пустоте. В некотором страхе я вытянула руку, стараясь нащупать прозрачную стену куба, но и стены не стало. Я была свободна.

Что-то, однако, удерживало меня на месте. Через какое-то время сцена осветилась вновь, но теперь на ней были совершенно иные декорации. Эта сволочь Мак и тут облапошил меня. А может,—кто его знает?—по свойственным ему халатности и разгильдяйству совершил непреднамеренную ошибку. Я увидела нашу комнату. Ту комнату, в которой мы с мамой и с Муськой прожили столько спокойных и счастливых лет, прежде чем наш дом пустили на слом. Вспомнив о Муське, я ужасно расстроилась—как я могла позабыть о ней и не взять ее с собой! Нужно было заявить Маку, что без кошки я никуда не двинусь.

Пока я мучилась угрызениями совести, дверь отворилась и в комнату вошла мама. Она была молодая и красивая, хоть и выглядела слегка утомленной.

— Верочка, ты не встречала случайно моей физики? — произнес голос отца.

И тут я увидела его самого — он был почти такой же, как в тот день, когда мы провожали его на фронт. Лампа освещала его лицо. Странно, что я не сразу его заметила.

— Нет, не видела, — ответила мама.

— Неужели я забыл ее в институте... — пробормотал отец.

— Скорее всего, — сказала мама и направилась в мою сторону.

Я испугалась предстоящей встречи. Что я скажу? Кто я такая и что делаю у них в комнате? Маму, однако, мое присутствие не смутило.

— Ну, как она, все еще спит? — спросила она, склоняясь надо мной. — Елизавета Брониславовна говорит, что нужно добавить в водичку немного сахара.

В следующую секунду я оказалась у нее на руках.

— Не трогай, пускай спит, — сказал отец.

— Она уже проснулась, — откликнулась мама, поправляя волосы у меня на лбу.

Я попыталась что-то сказать, но почему-то не сумела. Мама прижалась щекой к моему лицу, а потом стала расстегивать пуговички у себя на блузке. «Мак все

на свете перепутал,—подумала я.—Что же теперь будет?»

Еле слышный голос донесся откуда-то издалека.

— Плышет кораблик негасимый вдоль Александровского сада...— промолвил он в тоске и стих, но другой— пленительный и смелый— подхватил и поддержал:

— И чувств изнеженных отрада, и струй, и тополей прохлада, и сон, дневных трудов награда...

На стене затикали ходики. Я зажмурилась, прильнула к маминой груди и погрузилась в теплое и сладкое забытье.

1964, 1980

---

## СОДЕРЖАНИЕ

### РАССКАЗЫ

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Брат мой .....                                  | 5   |
| Аня .....                                       | 26  |
| Утро .....                                      | 37  |
| Мальчик .....                                   | 51  |
| В маленьком городе на берегу большой реки ..... | 54  |
| Сверчок-Бурачок .....                           | 65  |
| Голос .....                                     | 74  |
| Справка .....                                   | 75  |
| Остановка .....                                 | 93  |
| Ступени .....                                   | 117 |
| После .....                                     | 125 |
| Снег летучий .....                              | 131 |
| Состав .....                                    | 133 |
| Все обеты .....                                 | 138 |
| Ворота Милосердия .....                         | 160 |
| Голубые лилии .....                             | 161 |
| Убежище .....                                   | 165 |
| <b>ЗАВТРА. Повесть</b> .....                    | 209 |

Шенбрунн С.  
Ш 47   Декабрьские сны: Повесть и рассказы.— М.:  
Худож. лит., 1991.— 349с.

ISBN 5-280-02374-4

«Декабрьские сны» — первая книга Светланы Шенбрунн, изданная в Советском Союзе. Живущая сейчас за его пределами, писательница посвятила свое творчество жизни наших современников, анализу духовного становления человека, у которого любовь сочетается с ясным осознанием причин ее боли, бед и страданий. Автор этих произведений следует лучшим традициям русской литературы: здесь органичны глубокий психологизм и тонкая ирония, документальная точность и смелая фантазия, социальная направленность и подлинно философские обобщения.

Ш 4701000000-334 КБ-31-33-1991  
028(01)-91

ББК 84Р6

**Светлана Павловна  
ШЕНБРУНН  
ДЕКАБРЬСКИЕ СНЫ  
Повесть и рассказы**

Редактор *О. Я. Афанасьева*  
Художественный редактор *Ю. Л. Коннов*  
Технический редактор *А. Р. Кашафутдинова*  
Корректор *Н. Г. Усольцева*

ИБ № 6997

Сдано в набор 09.01.91. Подписано в печать 17.06.91. Формат 84 × 108 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская. Гарнитура «Баскервиль». Печать высокая. Усл. печ. л. 18,48. Усл. кр.-отт. 18,9. Уч.-изд. л. 18,68. Тираж 44 000 экз. Изд. № Х-4228. Заказ № 1999.  
Цена 3 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени  
издательство «Художественная литература»  
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО  
«Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати.  
113054, Москва, Валуевская, 28

Светлана Шенбрунн, прозаик и переводчик, родилась в Москве в семье писателя Павла Шенбрунна-Шебунина. Училась на Высших сценарных курсах, работала сценаристом на Московском телевидении, редактором в издательстве «Реклама». Опубликовала очерк и детские рассказы в журнале «Советская женщина» и в газете «Вечерняя Москва».

С 1975 года живет в Израиле. В течение ряда лет была редактором издательства «Библиотека-Алия», а затем журналов «Арик» и «Сабра». Переводит с иврита и английского. В ее переводе на русский язык вышли еврейские народные сказки.

В 1990 году иерусалимское издательство «Экспресс» выпустило в свет сборник рассказов Светланы Шенбрунн «Декабрьские сны». Творческому почерку писательницы, которая обращается к самым острым, а порой и «больным» темам нашей действительности, присущи самобытность и глубина художественного анализа. Повести и рассказы отличаются подлинным динамизмом, убедительностью мотивировок, уважением к человеку, часто именуемому простым.

